

Явдат Ильясов

ЗОЛОТОЙ ИСТУКАН

- Почему вы копаетесь в седой древности, кому это нужно? - Такой вопрос нередко задают Явдату Ильясову и устно, и со страниц печатных органов, в критических замечаниях. Между тем, на подобный вопрос давно и хорошо ответил Ф. Энгельс в своей книге «Анти-Дюринг»:

«Седая древность» при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всею позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием - преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям».

Этим емким и точным определением и руководствовался писатель Я. Ильясов, влюбленный в историю нашей страны, при работе над «Золотым истуканом» и предыдущими книгами - «Тропой гнева», «Согдианой», «Стрелой и солнцем», «Пятнистой смертью», «Черной вдовой».

Я. Ильясов не просто любит историю - он ее хорошо знает. Иным читателям кажется, что писать на историческую тему легко: «Иди, мол, проверь, так ли было на самом деле». Нет, на эту тему очень трудно писать. Совсем нелегкое дело - по скупым деталям, разбросанным в десятках и сотнях старинных сочинений, восстанавливать живой быт, образ мышления давно исчезнувших людей. Нужно много ездить, своими глазами увидеть следы минувших эпох: - остатки плотин, огромных каналов, древних крепостей, и суметь их увидеть не только в теперешнем состоянии, но и такими, какими они были прежде. Необходимо изрядное воображение, чтобы воплотить все это на страницах художественного произведения.

РУСЬ. КОСТРЫ НА ХОЛМЕ

*Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».*

Зной. Безветрие. Скорбь. Чаден воздух над Росью. Плачут бабы - не хлебы пекут, жгут детей на кострах погребальных. Голод, хворь. Суховей пал в минувшее лето с вражьих степей. Надеялись нынче на милость Стрибожью, Хорсову жалость - опять обманулись.

Или мало их улещали? Отнюдь. К братчине звали, незримых, под Новый год - последних овец извели, не скупилась. До игрищ ли ярых было весной? Скудость. А справили масленицу, хоть и погрязли в долгах сверх бровей: старая чадь помогла, спасибо за щедрость такую. И Ярило - разве он забыт и обойден? Сыскали ему, как теплые дни приспели, утеху, ладную березу, невесту молодую. Лентами убрали белоногую, хаты увили зеленью, празднуя богово похотствие.

На Русальной неделе девушек нежных в листву обряжали, водой поливали до сини. Заставили их, невеселых, водить хороводы, венки плести из жесткой, плохо отросшей травы, в

речку бросать обмелевшую. В ночь под летний солнцеворот - костры палить, с друзьями прыгать через огонь.

Иные падали, обжигались.

Пусть. Лишь бы - ливень...

И вновь пригорело жито. Хилый урожай. Да и его дадут ли убрать подобру-поздорову. У неба - дождь запоздалый, град, и ветер, и молния.

Близится страшный Родень.

В удачное лето - и то не брага льется в честь хмурого чура на требищах: режут быков ревуших, истово, с жутью в глазах, мажут кровью зубастую пасть истукана.

Что ж будет теперь?

Это случилось в полдень.

Они надвигались, сухо и четко брякая в унылой тишине, неотвратимы, отрывисты: словно упырь подступал, размеренно, с хрустом звенящим встряхивал костями на ходу.

Слухом Руслан уловил их давно - когда чужая поступь звучала еще вдалеке, у въезда в Семаргову весь, да отложил, не вникая в их суть: думал, кровь стучит в больных висках. Он был за печью, копался на дне хозяйственной ямы. А вдруг наскребет горсть зерна на похлебку.

Ничего. Одна пыль.

«Я - что пропойца Калгаст. Сходит в погост - издержится весь, до последней крохи, а утром, проспавшись, роется в легкой мошне: не осталось ли в ней на похмелье. Заведомо знает - пусто; так нет, трижды вывернет сумку, тряпье переберет, искать уже негде - сидит, шарит, точно слепой».

Он сплюнул горькую слюну, разогнулся, смахнул с ладоней пыль - и услышал снаружи отчетливый стук, железный скрип, холодное позвякивание.

Дверь! Он с утра держал ее открытой. Жара, трудно вздохнуть. Пусть немного продует хату. Не ждал беды. Знал бы - явится лихо, бревном загородился изнутри. Теперь - поздно.

С обидой нынче богов поминал, старую чадь - людей родовитых в мыслях задел - вот и приспела кара. Нейдется глупому! Сколько твердил себе: не ропщи, накажут. Другие ропщут - беги от речей досадливых. Нет!словно змей угнездился в душе. Точит. Мучит. Спать, что ли, на ходу, чтоб не думалось? Блажь. Живешь - мыслишь. А жизнь какая?

Злые шаги проскрежетали у входа. Сплелись, оборвались, тупо заглохли. Будто цепь всякая упала, свернувшись. Руслан таился за плетеной стенкой, отсекавшей чулан от жилой половины. Хорошо - сумрак внизу. Не разглядеть сразу с улицы, есть тут кто или пусто в землянке. Взгляд сквозь прутья - наверх, по-рысьи вкрадчивый, из-под ресниц: глаза могут луч поймать, блеснуть, выдать.

Ниже порога, на первой ступеньке дерновой лестницы, чернела босая нога с тощей лодыжкой, охваченной тремя толстыми медными кольцами. К ним спадал обшитый крупными бубенцами край слепаще алой, в желтых молниях, грубой ризы.

Хрип. Свист глухой. Точно бык вздохнул большой и хворый. Пола колыхнулась. Бубенцы загремели. В ушах Руслана, как напористый ветер в круглых днепровских раковинах, задрожал гнусавый свирепый звук.

- Ой! Чур... - Руслан испустил тонкий сверлящий крик. Из-под лба, скрытого желтыми космами, улетучилась память. В очах мгновенно погас отблеск древних огней, полыхнула студеная синь степных лебяжьих озер. И яма для зерна тотчас превратилась в ловчую, волчью.

Он рванулся - будто взлетел над нею, ушибся о стену. Забился, царапая глину, стремясь проломить головой сухую плотную толщу. Кинулся к очагу. Попробовал влезть, как в нору, под тесный закоптелый свод - не сумел, рухнул назад. Задергался, словно в падучей, на щербатом земляном полу...

- Еруслан! Эй! - Его перевернули, похлопали по спине. - Живой? Очнись.

- Сосед? - Руслан отполз, прислонился к печке. Искося, с боязнью, скользнул дурными глазами по ногам Добриты. В лаптях! Слава богу. Свой. Он показал бровями на дверь.

- Слыхал?

Добрита кивнул, опустил на лапку.

- В город зовут, на Родень. А с чем идти? - Долгий, нескладный, весь из одних костей, взъерошил грязные волосы, замотал головой. Есть хочу...

Казалось, заплачет сейчас Добрита. Что голод? Жену вчера отнес на костер. Нет, удержал слезу. И говорит без крика, смиренно, с подспудной, безгласной болью. В летах человек. Терпеливый. Это Руслан, чуть что - навзрыд.

- Стыдись.

- Пойдем, брате, к старцу Нехлюду. Наземь рухнем. Глядишь, подсобит - хоть отрубей, да отсыплет.

- Где он, Нехлюд? Тишь в хате, ветер в клетях.

- Ну? И когда успел, сыч скупой? С вечера был, ныл: хлеб на исходе. Ночью, видно, утек. А мы - спим. Эх. Кинул нас. А еще - глава. Но и хулить грех. Досадили: «Отсыпь, отрежь». Покуда невмочь ему стало. Некрас да Нечай - те с нами вовсе не делились, сразу улетели. Ну, ладно. Ищи их теперь. Придется, брате, в погост плестись, к Пучине-боярину.

- Ходили уже. Отказал. Не одну, мол, Семаргову весь - весь округ пасу. Расхватили зерно. Сам ныне голодный, хоть помирай.

- Врет, не помрет. Перебьется. А нам - околеть, коль и дале тут охать да зелень жевать. Чего ждать? Уж и колосьев не осталось в поле - неспелые срезали, съели. Пойдем, Еруслан. Авось снизойдет.

Встряхнулся Руслан, ободрился. Спустились к реке. Вспомнил парень: дверь так и осталась открытой. Оглянулся. Будто куча приземистых копен, с прошлого лета забытых, оседлала бугор - жилища в откосы врыты, соломой трухлявой крыты. Безлюдье. Кто помер, кто под лавку залез помирать. Которые покрепче - разбрелись. И без того давно уж треснула община: одних вознесло, других прибило книзу, а теперь и вовсе распалась вервь.

Прощай, Семаргова весь, село родное.

Руслан заметил у своей землянки что-то круглое, желтое. Словно камень взлетел и застыл над изгородью. Присмотрелся: кувшин торчит на колу. Всего-то добра у смерда - кувшин пустой. Ладно. Пусть висит. Не птица, не упорхнет. Руслан еще напьется из него. И дверь пускай распахнута. Будет знать Руслан: ждет хата хозяина.

Ему и в голову не запало, что, может, он видит ее в последний раз.

Река, - непривычно тихая, странно открытая - вся наружу, с белыми, чистыми, круто оглаженными, точно полные бедра и груди, грудями долгих и круглых отмелей, - лежала в холмистых извилистых берегах, как в смятой постели: будто баба в жару оголилась, устало раскинулась. Лишь кое-где, словно сонный взгляд из-под частых ресниц, блеснет сквозь темную поросль осоки мгlistая голубень.

- Эко сморило матушку Рось, - молвил Добрита, жалеючи. - Сникла. Обомлела, бедная, обмелела. Пройдет ли челн? Не довелось бы тащить всю дорогу,

- А пеши и вовсе худо. Ноги дрожат. Бреди в такую даль.

- И то верно. Подохнем в лесу. Ишь как парит. Неужто к грозе?

- Тьфу! Типун бы тебе...

- Эй, смерды! - донеслось издали. - Эге-е-ей! Бегите сюда. Поспешайте.

Встрепенулся Руслан, побелел: не водяной ли кличет? Видит - поодаль, ниже по течению, где простор сквозной, стоит на воде, прямо на глади, нагое диво лохматое. Пред ним

растянулось второе: черное, длинное, с высокой изогнутой шеей, с грозно склоненным клювом.

- Спасайся! - Руслан метнулся в гору.

Сосед - сердито:

- Куда? Погоди. Это Калгаст.

Горласт непутевый Калгаст. Рычит, хохочет.

- Испугался? Эх! Чего ты? Я не кусаюсь. Руслан же от ног его волосатых не может глаз отвести. Смертный - и поверху бродит, не тонет. Жутко смотреть. Господи помилуй, неужто оборотень? Догадлив Калгаст.

- Несмышлениш! Тут мель. - Взрыл стопую мокрый песок. Хлопнул влажной ладонью ладью смоленную по стойке носовой, под голову птичью затейливо рубленной, с глазами из раковин выпуклых, с медным клювом кривым. - Вот, кречет мой на ней сидит. Не веришь? Пошупай.

Ткнул жердью Руслан - и впрямь бугор, водой чуть прикрытый. Взбаламутил ее Калгаст, да и солнце на той воде: слепит, как железо жидкое, потому и не видно мели.

- Ну?

- И вправду.

- А то растрезвонишь: Калгаст, мол, упырь, брат водяному. Смерды мне ноги отсекут.

И все ж не проходит боязнь. Верь такому. В очах - злая волчья понятливость, зубы хищно сияют на опаленном лице. И весь он - как пень обгорелый. Черный. Сухой. Голову тиной прикрыл. Пахуч, как зверь. Хвойной прелью несет от него, дичью, грибами. Чисто леший.

- Пятый раз с утра застреваю. Тяну, толкаю, волоку. Притомился. Вы-то далече? А, вот и ладно. Я ниже, в город, плыву, лещей везу на торжище. В озерах глухих наловил, навялил, гору навалил. А здесь у вас пескаррей пропащих, и тех не видать.

- Где уж, - вздохнул Добрита, косясь на корзины в ладье. - Всю Рось процедили сквозь сеть. Выгребли живность. Рачка-дурачка не сыскать в нашей речке. А хороши лещи?

- Угощу. Да и тронемся вкупе. Трудновато одному-то. Колодину вашу оставьте. Чего с ней возиться?

Руслан с беспокойством:

- Бросим челн - обратно на чем?

- Дотошный, - усмехнулся Калгаст. Отвернул холщовую полость, коей были прикрыты корзины, добавил скучающе: - А доведется?

- Чего?

- Обратно.

Вконец оробел Руслан. - К чему ты? Воздержись.

- И наперед загадывать не след. Время лихое.

- Ну тебя! - Дрожат у Руслана губы, вот-вот заплачет. - С тобой заплывешь...

- Экий ты... хлипкий, - сказал с досадой Калгаст. - Прежде-то вроде был чуть посмелей. Отчего он хнычет? - обратился охотник к Добрите.

- Волхв трубил.

- А! Тоже добродей. Кой пес их принес. Нацепили, черти, погремушек, бренчат, кричат, палками стучат. Всю дичь разогнали. Чего ты скис? Волхв - не волк.

Тут и Добриту согнуло.

- Брось, не кощунствуй, брате! Горе накличешь. И без того ой как худо.

Руслан - тот вовсе схватился бежать, но упредил негодный Калгаст: сунул под нос золотистую рыбину - разве уйдешь?

Велик белый свет. Народу - невпроворот. Живут двое где-то за сто или тысячу верст, или за год пути, в разных концах земли; слыхом друг о друге не слыхали, чаять не чают когда-нибудь

сойтись с любовью или ненавистью. Но судьба - хитра. Она настороже.

... Проворно грыз Руслан сухую, точно щепка, плоскую рыбу. И той же порою - час в час, не очень, чтоб далеко, но не так уж и близко отсюда, на Днепре, за порогами, - другой детина, тоже плечистый да жилистый, однако старше, темный, скуластый, еще проворнее разделявал баранью тощую кость.

Звали его по-чужому: Хунгар, и нравом он был чуть покруче, чем юный смерд из Семарговой веси. Лежал бек Хунгар на ветхой кошме, в палатке шерстяной, подвернутой снизу ради прохлады, кость обгладывал, косо оглядывал стан кочевой, из тех же убогих палаток составленный. Мало скота у орды, еще меньше - детей. Женщины истощены, мужчины зубами скрежещут: не дай господь сейчас их затронуть.

Обгрыз кость Хунгар, призадумался: кому отдать, псу ли худому, на брюхо припавшему, жене ли своей Баян-Слу, что дерзко сидит спиной к господину, смотрит на Днепр, обхватив колени.

Уныло шумит, словно плачет, на порогах вода, от пены хлопчато-бела. Синь. Белизна. Кажется, небо в пятнах пушистых волокон опрокинулось вниз, втиснулось меж берегов. Наверно, потому и нарекли аланы древний поток Дон-Аброй, Небесной рекой. Чайки над пеной кричат, будто к себе зовут. И женщине хочется крикнуть, удариться оземь, как в сказке, чайкой взлететь, навечно оставить кочевье постылое.

Пес у Хунгара страшный- облезлый, бесхвостый, зато послушный. Предан хозяину. Любит. Жена - плохая, хоть и красивая. Ненавидит супруга. За что?

Ну, ладно. Пускай. Все-таки жена.

Сунул Хунгар ей кость - плечами передернула, молчит. Брезгует? Он наотмашь хлестнул ее плетью по узкой спине: не то, что ахнуть, вскинуть ладони, упасть - злодейка с места не сдвинулась. Готское отродье!

- Куда правишь, Добрита? Спишь, а? Не зевай! Опять застрянем.

- Тьфу, напасть. Никак и вправду задремал? Через силу гляжу. Сам, брате, виноват. Обкормил, вот и клонит ко сну.

- Угоди смерду. Голодный - плохо, сытый - тоже негоже.

- Если б всегда быть сыту. А то - терпеть, да вдруг столько съесть. Отяжелеешь.

- Погоди, друже. Попадешь к Пучине - не часто доведется тяжелеть. Уж он употчует.

- И то счастье.

- Собачье счастье.

- А куда еще голову приткнуть? Хлеб у боярина черствый, да верный.

- Верный, да скверный. Горький.

- Пусть.

... Волхвы, предрекая боярскому чаду счастливую долю - всю жизнь гостить на пирах, назвали его Пирогостом. Что ж, пировать он любил. Однако в миру Пирогоста не знали - знали Пучину. Удружили смерды ему за бездонную жадность. Без промаха бьют. Им виднее, что ты такое.

К примеру, Калгаст.

Тоже прозвище.

Имя у охотника иное.

Калгаст, Пирогост, Славонег, Любонег, Ратмир, Доможир, Доброжир, Жиробудь - имена добрые, густые, боярские и княжеские. В них забота о славе, о неге. Пуще всего - о том, чтоб не отошать.

Смердам достается что попроще, сердитое, постное: Нелей, Непей да Неждан, Бессон да Злоба. Даже - Крик, Шум, Гам, Негодяй.

Печаль - так кличет охотника мать.

Но для других он - Калгаст, то есть «Щедрый на угощение».

А ты, Пирогост, днюй и ночуй на пирах, хоть умри, объевшись, упившись, - все равно, и тем паче, быть тебе Пучиной.

Усадьба Пучины венчала мыс на речной излучине.

Издали мыс, - с его крутыми сверху и пологими снизу склонами, в редких, не очень глубоких, но четко оттененных оврагах, вкривь сползающих с высоты к подножию, - походил на старый кряжистый пень, срезанный прямо у толстых корней, грузно выпирающих из земли.

С трех сторон под серым холмом плескалась Рось.

С береговой стороны, под отвесным уступом, открытым на скате, стелилось за впадиной рва сухое поле.

На плоском просторном верху, точно грибы на срезе пня, торчали хоромы, кузницы, хлевы с изжелта-бурыми, как у осенних опенок, макушками.

Путники увидели с реки негустое людское скопище, что роилось белыми пятнами холщовых рубах между рвом и стеной уступа, на серо-зеленом откосе. Рубахи, белые рубахи. Они маячили у запертых бревенчатых ворот, прочно вделанных в крутой и ровный, скрепленный дерном защитный вал; спускались по рыжей тропе к причалу; отражались гусиными снежными перьями в зыбкой и темной воде меж челнами, сникшим тряпьем, будто с кольев, свисая с тощих мужиков, стоявших подле челнов и зло глазевших на гостей.

- Эй, людие! - Калгаст вылез на берег. - Иль Пучина задумал хлеб раздать? Взял да хлопнул шапкой оземь - где, мол, наше не пропадало! Жадным кличут? Удивлю сучьих детей неслыханной щедростью. А? Тогда пошто галдите невесело, тихо, будто на похоронах? Громче орать бы надо.

- Он раздаст, - проворчал смерд средних лет, рослый, как все вокруг, но черный, носатый, крупноглазый, точно ромей. Смерд вяло тронул Калгастово плечо. - Живой? Давно не видались.

- Здравствуй, Неждан. Это кто там вопит? Охрип, болезный. Глотку изорвал - пилой заторы придется спиливать.

Неждан угрюмо оглянулся на погост.

- Голову б ему спилить. Первуха, холоп боярский. Боярин-то, пес лохматый, удрал. - Неждан всех недругов, даже самых облезлых, называл лохматыми псами. - Выгреб зерно, рухлядь увез, скот угнал. К Ратибору подался. Первуху с оравой оставил хоромы да клетки пустые стеречь. А мы чаяли - пусть с криком, да упросим хоть малость подсобить. Сорвалось. Старцы наши, из Хорсовой веси, тоже скрылись. Ночью, отай. Бегут, а, Калгасте?

- Бегут, - кивнул изгой понимающе.

- И чего всполошились? - вздохнул Добрита.

- Паленым пахнет. - Неждан подмигнул Калгасту.

Рассмеялись. Черный опять взглянул на хоромы. - А дерево сухое... - Обернулся, глазами поймал свет Руслановых честных очей, сморщился, разжал кулаки. - Куда теперь? - И сам ответил: - Тоже к нему, Ратибору, куда еще. - Он вновь, но уже чуть заметно, мигнул Калгасту.

Охотник - Добрите и Руслану:

- А вы, смерды смиренные?

- Туда же. Ведь и так надо быть.

- Может, князь... - Руслан сглотнул слюну. Ох, поможет ли князь?

- Авось, - угадал его думу Добрита. - А, Еруслан? Меня, глядишь, в дворовую челядь приткнет: небось слышал он обо мне, я не ленивый. Тебя в дружину возьмет. Отрок ты дюжий. Исхудал, правда, малость. Ну, не беда, разнесет на княжьих хлебах.

- Возьмет ли ворчун? - усомнился Руслан, а внутри уже с дрожью подымалась надежда:

вдруг посчастливится? - Я, чай, безродный. Схоронил своих-то всех.

- Такие и надобны князю.

- Плывете? Добре. - Калгаст повеселел. - Но давайте сперва поедим, вздремнем. Путь далек. Садись, Неждан. И ты, злой Чернь. И вы, Судак, Линь и Карась, племя рыбе. Эй, кому дешевых лещей? По оплеухе за пару. Платить боярину Пучине. Налетай, людие.

Тронулись.

- Землю пахать - несыту быть, князю служить - быть биту. Идите лучше со мной полевать.

- Полевать - не редьку поливать. Ратаеве мы с Ерусланом. Прикинь, легко ли: от нивы да в дикое поле?

- Раздолье. Схватился со старой чадью, изгнали прочь - с тех пор и скитаюсь, по-птичьи питаюсь. Лечу, куда хочу.

Завидно Добрите.

Но хватит ли в реках, лесках еды на всех?

Озадачен Калгаст.

Пожалуй, нет. Народу - пропасть, и русь не чужь, не к снасти хитрой - больше к сохе привычна. Однако уда, самострел, сеть да пасть - подспорье хлеборобу. Дичи по рощам да прочим урочищам вдосталь. Одна беда, везде знамение торчит боярское: на гонах, езах, перевесищах. Полезешь - кожу сдерут.

Калгасту слезы, Добрите смех.

Вот и «лечу, куда хочу».

Теперь все чужое, только горе свое.

- А, Еруслан?

- Да. Оно, конечно... похоже.

Лучше б смолчать, но как тут смолчишь? Про долю мужицкую речь. К тому же сыт сейчас Руслан, а сытый - смелый. Притупило едой боязнь, точно зельем - болезнь.

- Правда, Калгасте, будто при дедах - добрей жилось? Хозяйством вроде совместно владели, достаток делили поровну. Ни слуг, ни князей. Все вольные.

- Древляне в дебрях сырых доселе прежний устав берегут. И что? Таятся в селах убогих да крохотных, как совы в загаженных дуплах. Совместно? Один топор на пятерых. Пригорок выберут, лес подсекут, выжгут дотла: сей, веселись, поле - с ладонь. Снимут горстку пшена, урожай клянут: всего-то по зернышку и досталось. Бедность. От нее - злость, жестокость. Вольные?

Сплошь холопы, всех без разбору душит вервь. Хворому, слабому, старому - смерть. Непокорному - тоже. Случилось мне забрести к ним наемни. Еле утек. Хотели повесить, духу лесному скормить.

Добрита - недоверчиво:

- Что ж... выходит, легче теперь человеку?

- Выходит. Ну, сейчас, правда, плохо. Неурожай. Сухомень. Ныне всякому худо, даже боярину. А так, ежели сверху взглянуть, то, конечно, полегче. Ты - на скудость сетуешь, а древляне, дреговичи, кривичи - завидуют нам. Дескать, обилье в полях. А что? Лесов дремучих, темных тут мало, степь близко, есть где соху развернуть. Усадьбы. Веси. Города. Простор - до морей. Весь белый свет по соседству. И гнездо у каждого свое. Очень им то по нутру, бородачам болотным. Тоже, где могут, где одолели чащобу - росчистой крупных, значит, и хлеба, прибавилось, - рвут ветхую вервь. Уже и бояре, слышать, завелись.

- Эка радость.

- Ну, и не то, чтоб напасть. Их с челядью - горсть. Всею голова - смерд, вольный пахарь. Спору нет, изнемог он нынче. Но - до поры. Приспеет щедрое лето - опять хозяин себе. Отвалит

дань, и боле его не тронь. Да и господский двор, если умом раскинуть, опора смерду в недобрый час. Ругаем Пучину: «Скупой». Верно, что скуп. Однако же - помогает. Взаимы дает, хоть и с двойной отдачей. Негде взять - и тому будешь рад. Даром никто не отвалит. Утек? И его надо понять. Прежде-то сыпал. Брал купу, Добрита?

- По горло в долгах, и старой чади, и Пучине.

- Ты, Еруслан?

- Покойный батюшка наш семян занимал, товару железного. Вернуть не успел. Долг - мой теперь. В закупах числюсь.

- Видите.

- Чего ж тогда бранишь нас с Ерусланом? Собачье, мол, счастье. Не пойму.

- Больно покорны, податливы. Чем славилась издревле Русь? Упрямством. Ни доморощенным, ни пришлым лиходеям не давала спуска. А нынче нас не узнать. Присмирели. Секут до костей, истерзали вконец, измочалили - терпим. Идти к богатому иди, да оглядывайся. Он ненасытный. Всех исподволь посадит на цепь. Как ромей в Корсуне - пленную скуфь. Бичами, как скот, на жатву погонит. И что? Вчера - ты смерд, сегодня - закуп, должник, а завтра? Холоп. И дети твои... кем вырастут в хлевах чужих?

- Нету детей. Схоронил. И жену.

- Мир праху. Будут еще. А будут - кем будут? Ты думал о завтрашнем дне, о детях да внуках? Должен думать, поскольку, себе на беду, - человек. Это волю - набил брюхо травой, и хорошо, спи, посапывай.

- Изгой, а туда же. Тебе-то что до забот мужицких?

- Эх! Или я двужильный? Забава ли, под стать врагу, в оврагах рыскать? Я храбрился давеча, бахвалился, а честно сказать - туго живу. Пятки сотрешь, покуда зайчишку хилого выследишь. В трясину плюхайся, в снегу подыхай. Опостылело. Хочу к теплу домашнему.

Он тягуче, стонуше зевнул, сказал со скрипучей злостью:

- Хлебнуть бы. Прибуду - до смерти упьюсь. - Помолчав, усмехнулся стесненно: - А толку? Устал. Тошнит. Это, друже, гибель, не спасение. Иное надо искать.

- Кинь поле. Обрато в мир, пожалуй, не примут - отрезан ломоть. Зато князь, я слыхал, привечает изгоев, с охотой в дружину берет.

- Знаю. Таких, кому некого жалеть. Но ратник тоже холоп. Правда, лучше ухоженный. А по мне - легче век в болотах блуждать, чем в палатах кому-то угождать. Строптив. Задирист. Крут. Оттого и со старой чадью на ножах. Спесивых не терплю, скудоумных. Бездушных, завистливых, жадных И бедных людей обижать не люблю. Зверей - обижаю, людей - не могу. А князю служить - только и делать, что смердов безропотных бить. Таких, как ты с Ерусланом.

- Попробуй взропщи. Старая чадь в мирах - боярину оплот, бояре в крепких дворах - тому же князю, а выше княжеской - власти нет. Куда пойдешь с нуждой да жалобой? В Киеве князь, говорят, справедливый. К смерду - добрый, к боярину - строгий. Слыхал?

- Слыхал. Да наш господарь ему неподсуден. Был бы подсуден - может, не смел бы этак чудить. - Калгаст помолчал, пожал плечами. - Или тоже... служил киянину опором, вроде буйных князьков полянских да северских. Нет, друже. Плоха надежда на князей. Меж собою - как псы, против нас - заодно. Придется самим спасать животы.

- Это как же?

- Князь да бояре не дремлют. Знай гнут свое. Пора и смердам очи продрать. Соберутся на требище - надобно вече створить, амбары Ратиборовы проведать.

- Это в Родень-то день?!

- Не пропадать же народу.

- Ох, бога прогневим.

- Наши боги - Хоре да Семарг. Древний Род к врагу переметнулся. Теперь он - дружинный, господский. Вроде Перуна, которому кияне требы кладут. Пускай бояре пред ним трепещут. Да и так ли грозен ветхий Род? Устал. Слаб против чудищ хозарских. Степной-то бог его перемог, видишь, всю землю выжег.

- Не подымутся смерды.

- Небось надоело мякину жевать...

- Оно так. Да удастся ль с дружиной сладить? Крепки отроки, аки дубки. На диво сбиты.

- А мы - из ремней сыромятных свиты? Навалимся скопом, хвосты подожмут. А станут горланить - скормить чертей богу ихнему. Что, жуть берет? Будто сто лет остолопу жить. Хоть жить-то, может, три дня осталось. Так лучше с бранью, по-воински, пасть, чем псом бродячим сгинуть. А вдруг не помрем, расколотим дружину? Тут есть, маломошь, из-за чего шуметь. Терять... что тебе, нагому, терять? А найти, глядишь, чего-нибудь найдешь. Только смелости чуть наскрести. Пойдешь, куда позову?

- Не знаю.

- Вижу, пойдешь.

- Другие как?

- Тучей встанут. Смотри. - Калгаст кивнул через плечо. За ними стаей гусей, неспешно, чуть вперевалку, катились по зыби челны, набитые смердами. Дивно Добрите: народу много, а шуму - почти не слышать. Так, тихий гул. Но - жесткий, опасный. - Один Неждан осилит пятерых. Люди - что луки, до отказа натянутые. Весь труд - тетиву спустить. Видишь селение на мысу? Причалим. Верных людей посетим, посидим: дело затеяли хитрое, каждую мелочь надо обмозговать. Эй, Неждан? Приставайте.

- Угадал Еруслан, с тобой - заплывешь... - Добрита понурил голову, сунул по давней привычке грязные пальцы в мочало светлых иссохших волос.

С детских лет - нужда, заботы, боль. И посулы, посулы, посулы. Трудись, не жалуйся - достаток обретешь. Небо любит старательных. Не сохой пахал - зубами землю грыз. Жену не щадил, до беспамятства изматывал работой. Сам по дороге с нивы домой засыпал на ходу, падал в крапиву - как пьяный. Безмолвно сносил от старших смех обидный, затрещины, ругань. Трудно? Пройдет. Это - до поры.

Оглянулся - сплошь горечь и скорбь. Страшно подумать: вся жизнь прошла впустую. Вся жизнь - до поры. До той, после которой - черный сон, вечная тишь.

Что впереди? Под сорок бедолаге. Сообразить пора, что больше нечего ждать. Столь осточертел Добрите белый свет - взять да подпалить бы с трех сторон. Правду глаголет Калгаст: много ли голи терять? Зато хоть раз расправишь грудь. Хоть день побудешь чернокрылой птицей.

Потом - пусть очи вынут. Хуже не будет.

- Добре, - молвил Добрита угрюмо, с тяжелой булыжной решимостью. Ясно Калгасту - уж если вспылит этот тихий мужик, разойдется... держись, будет ломить, покуда не сдохнет.

- Твой черед, Еруслан. Что скажешь?

Юнец сидит нелепо скорченный, свесив голову между колен - чуть ли не в живот уперся носом. Господи, помилуй, что плетут?! Грозный Род... разве глухой? Слышит.

... Он давно порывался сойти, бросить опасных попутчиков, но не посмел: угостил тароватый Калгаст, стыдно вроде бежать, да и лень было слезть. Разморило. И влип, незадачливый. С кем связался? Пьяный - понятный: добрый, веселый, беспечный, а трезвый - видишь какой. Тать.

Огромное черное чудище незримо, с беззвучным ревом, встало, как тень, за спиной, провело ледяной ладонью по затылку и по хребту. Руслан тихонько взвизгнул.

- Брюхо болит? - спросил участливо изгой.

Проклятый! Очи метались вдоль судна понизу, чтоб не столкнуться с упорным, хитрым Калгастовым взглядом. Отрок в страхе цеплялся за край ладьи. Похоже, спрыгнуть хотел, да пугала зыбкая глубь.

С утеса хлынул, мутно растекся над Росью утробный мерзостный вой. Руслан подхватил знакомый до рвоты призыв, ответил на голос трубы хриплым истошным воплем. Судно качнулось. Плеск. Оправились от изумления - нету соседа. На круто вздыбленном горячем берегу, в густых рогатых кустах - треск сумасшедший. Будто олень, спасаясь от борзых, в ужасе лез по откосу.

Знай они, что натворит очумелый беглец, пожалуй, догнали б, зарезали.

- А после... хоть плачь? Отстань. Не хочу.

- Баян-Слу! Измучила. Смирись.

- Веришь, нет - я боюсь. Грех... перед дорогой...

- Грех? Чепуха! Кто уходит? Хунгар, а не ты. А Хунгару - плевать. Будь что будет. Перестанешь меня изводить? - Бек вцепился ей в косы; сомкнув глаза и прикусив губу, она с трудом отвернула худое лицо. Хунгар, зверея, ощерил зубы, приблизил свой рот к искаженному болю, заманчиво алому рту жены. - Сгубить задумала? Ну, погоди. Хунгар - не такой, чтоб от бабы терпеть поношение. Берегись. Настанет день - будешь в золе на коленях ползать. О пощаде молить. Но уже ничего не вернешь. Сам сгорю, а тебя допеку. - Удар.

Баян- Слу свалилась наземь. Светильник опрокинулся, погас. Бек, свирепый, как бык, ринулся к выходу.

- Дурень! - жестко шепнула вдогонку кромешная темень. Ночь. Прохлада. Костры. Он притих: не плачет ли жена. Тьфу! Змеи не плачут.

С тех пор, как привез ее в кочевье, спугнула счастье чертова тварь. Засуха, бедность. Дети чахнут. Одна неудача на привязи тащит другую. Так в караване, неслышно бредущем сквозь марево, призрачном, - их много, бесплотных, в степи, - немая верблюдица тянет подруг вереницу. Страх. Наваждение.

Брат намекнул: не юха ли? А может, упырь? Змея в сто лет становится драконом - аждахой, через тысячу - мерзкой юхой. Юхе нетрудно прикинуться девушкой. Она даже замуж выходит, чтоб терзать человека всю жизнь. Как ее распознать? У юхи нет пупка, под мышкой - отверстие, руку можно просунуть, сердце достать. Упырь же имеет лишь перед, сзади он пуст.

Проверил Хунгар - есть у стропливой пупок. Ладный, глубокий. До слез приятно смотреть. Дыр под мышками не отыскал, а сзади... и сзади, хвала праматери, все оказалось на месте.

Упрямое создание! За что ненавидит, за что? Скучную кроху услады силой приходится брать. Безобразен? Нет, не хуже других. Дюжий, пригожий. Хоть сейчас вновь женись. Сразу на десяти. Охотно пойдут. Бек. Богач. Правда, нынче - нужда. Ну и что? Три проворных набега - холм из добычи сложит в кочевье Хунгар.

Может, и она тогда смягчится?

Вдруг оттого и не любит, что обманулась в надеждах, попала в кибитку худую вместо серебряной юрты? Ох, вряд ли. Ей и теперь вдвое легче, чем женам простых пастухов. Все равно, негодная, дурит.

Тут, пожалуй, иное. Грустит по алану из Таны. Прельстилась. Хворый, костлявый, сутулый. Только и умел, что цветы на медных чашах чеканить. Тень! Воскресни - опять поймаю, череп снесу.

Баян- Слу, Баян-Слу. Уж лучше б юхой оказалась -вынул бы сердце, разгрыз, успокоился. Может, прогнать? Никогда. Это - смерть. Хунгар потерянно топтался у шатра, почти глухой, незрячий От обиды: шум огромного стана будто уплыл за бугры, увлек туда же россыпь огней.

Зарницей всплеснулась во лбу жгуче-холодная боль. А! Ну их всех! Гони, не жалей коня - куда-нибудь, хоть к бесу, да прискачешь.

- Есаул! - рявкнул бек устрашающе. - Где Кубрат?

- Жертвует духам бусы, монеты, шаманит с огнем.

- Здесь Кубрат! Я молил о подмоге владык преисподней, хозяев лесных, водяных, луговых. Властителей ночи. Стражу путей. На прутьях гадал, на бобах. В чашу с кумысом глядел. Жег бересту. Сорок одну пятнистую гальку наземь кидал, смотрел, хорошо ли упали.

- И что?

- Как сказать... - Старик неуверенно шмыгнул коротким носом. - Убей, не пойму. Дым веселый, сулит успех, но в чаше с кумысом - черный осадок, это к не- счастью. И галька одна, крупней остальных, в огонь закатилась.

- Лучше б тебе, почтенный, с детьми играть, чем колдовать да чепуху пророчить! - прорычал Хунгар сатанея. - Или мы кумушки - на камушках гадать? Бабы - бобы раскладывать? Сам займусь ворожбой.

- Молодость - опрометчивость, старость - осторожность, - заметил обиженный тесть. - Что вернее?

Но Хунгар уже забыл о Кубрате.

Бек оголил волосатую грудь, тронул надетый на шею, подобно кресту, золотой детородный член - божество созидания, двинулся к желтой палатке, разбитой поодаль.

Ее обитатели прибыли днем с одним из конных отрядов, густо валивших с юга к Днепру, до вечера спали, затем поели и тихо сидели теперь у костра, тупо спокойные, скучные, ко всему безучастные. С виду они не отличались от прочих - разве что скулы острее да халаты пестрее. Хмурый Хунгар перекинулся с ними двумя-тремя, на слух - довольно резкими словами, отвернулся угрюмо покорный, сел на лошадь.

Он вырвал из рук подоспевших сородичей тощую, в путах, козу, удалился от стана на четверть полета стрелы, въехал на древний, неведомо кем и когда возведенный, давно оплывший, покрытый снизу кустами, изъеденный норами, но все еще мощный курган.

Навстречу, певуче маяча в ночи, всплыла исполинская, в пять или шесть локтей, черная баба - грузная глыба с низким, чуть выступающим, куполом головы, буграми скупно обозначенных грудей, руками - тонкими, едва намеченными, устало сложенными на плоском брюхе. Ширина угловатых, высоко вознесенных плеч и нижней, грубо отесанной, части была равной, что сообщало махине тяжеловесную стройность. Она сиротливо торчала на голой вершине холма, слегка накренившись на левый бок. Свет ближних огней золотил половину изрытого временем лика, выступы глаз, подчеркнутых тенью.

Глаза эти жили. Они смотрели. В них отчеканилось напряжение.

Казалось, камень силится вспомнить забытое. Или гадает, считая костры: не вернулись ли те, что вкопали его в чертову насыпь, поставили - и оставили, исчезли на тысячу лет. Или дивится тому, что люди не перевелись еще на земле.

Кочевник слез, поклонился щербатой богине, скинул жертву к ее подножию. Блеснул нож. Брызнула кровь. Распрямившись, Хунгар успел заметить летучую тень, на миг омрачившую очи уродливой статуи. Она, к ужасу бека, представилась ему горячей, дышащей. Сейчас разомкнет уста, скажет с печалью:

«Опомнись, витязь! Не почитай меня как богиню - ведь я была обыкновенной женщиной. Доброй, нежной, веселой. Не такой неказистой, как нынче. Погрусти хоть немного по человеку. Почувствуй теплое присутствие своей ровесницы. Да я была не старше тебя, когда попала в глухую яму. Чуешь? - кости мои здесь, под твоими ногами».

Что за блажь? Перестань, рассердишь праматерь. Он поспешно взобрался на лошадь. Внизу

загудели трубы. Лагерь затих.

Бек отыскал глазами пересекающую небо туманную полосу. Птичий путь. Вдоль него журавли летят на север, домой. Когда-нибудь, - может, очень скоро, - Хунгар, сделавшись тенью, погонит по той же мгlistой тропе на холодные пастбища стадо немых овец, привяжет призрак коня к Железной вехе - Полярной звезде.

Полынью пахнет. Ох, как дико пахнет полынью.

Хунгар уныло сгорбился, сник, хворый, бессильный. Он нарочно нагнетал в себя отчаяние, сгущал внутри студеной мрак, настраиваясь на разлитую в черных полях слепую тоску. Затем разогнулся упруго и медленно, откинул голову, туго вытянул шею. Сквозь косо сцепленные зубы вырвался низкий рокочущий звук.

Лошадь дернулась. Бек, продолжая рычать, с яростью натянул поводья. Животное присмирело, только по коже, как тени стремительно мчащихся туч, проносились волны мельчайшей дрожи.

Ровный, однообразный, одурающе долгий рев постепенно сменился протяжным призывным воплем и завершился глухим жалобным стоном. Стан будто вымер. Лишь в стороне робко твякнул пес, обреченно заблеяли и трусливо смолкли ягнята.

С дальних полей донеслась ответная песнь.

Поднялась тьма разбойничьих стай, сопровождавших орду и залегших в росистых лощинах. Басовито и грозно выли самцы. С плачем аукали самки. Бойко, пронзительно, разноголосо визжали волчата. В неистовом хоре зверей Хунгару чудилось сочувствие.

Табуны верховых коней, кобылиц, жеребят, прихлынув к становью, тесно прижавшись к палаткам, долбили землю ударами копыт. Хунгар усмехнулся, довольный. Он услышал в хищных кличах онгонов, своих покровителей, одобренье, поддержку, готовность помочь.

Ему не сразу удалось погасить в холодной груди приторную дрожь колдовского, лишь на треть притворного, исступления В растревоженных дебрях души проснулось нечто забытое, старое. Оно побуждало Хунгара вновь голосить, теперь - просто так, подобно собаке, неизвестно зачем воющей на луну.

Утром, оставив лагерь и скот на попечение дедов, детей да бойких сварливых жен, что сумели б не хуже мужей отбить нападение, верховые стрелки небольшими ватагами, со свистом и улюлюканием двинулись по левобережью на север. Казалось, нарочно шумели, чтоб известить о набеге окрестность. Знай, мол, наших. Устали орать - запели.

Флейты полых дягилевых стеблей - сухих, надломленных, туго, насквозь продуваемых ветром, тягуче вторили неторопливой, лениво-грустной песне смуглых всадников. Такую песню не в походе петь - лучше сидеть на бугре одному, голую степь озирая, да сонно под нос мурлыкать.

Хоронясь в буераках, следили за конницей люди в белых посконных рубахах.

Цепь убегающих вдаль дымных вех опередила орду; «Русь, берегись, идут». Кочевники видели издали вереницу сизых столбов, однако не беспокоились: открыто ехали, смело, беспечно, со смехом, будто на праздник в становье соседнее. Похоже, крепко надеялись, черти, на лихость да удаль, на силу свою озорную.

Чохлые травы стриг жгучий ветер.

Шорох жесткой листвы в прибрежных зарослях был напряжен, осторожен, как шепот таившихся в них сероглазых славянских юношей.

Щетинилась шерсть на загривках собак, приученных молчать, шурились очи - от света, от пота, от пут, пусть незримых, но больно режущих руки: трудно терпеть, да приходится - рано еще дубинами махать. Ну, ничего. Успеется.

Эхо нашествия грузной стеной рушилось вниз с ячеистых круч, катилось по глади воды

камнепадом гулко стучащих копыт.

Южный ветер. Ох, не к добру южный ветер.

Ястребу - яство бы. Зловеще вились птицы над ордой, людей считали, коней, с нетерпением взымали к солнцу, кидались сверху стрелой, проносились без страха над жалами пик. Скорей! Скорей бы началось. Сколько пищи доставит побоище.

... Не знали ни ястребы злые, ни парни в доброту сплетенных лаптях, ни даже зоркое солнце - ведь и ему надо спать, - лишь хитрые филины знали, да никому не сказали, что нынче ночью другое, отборное войско Хунгара по-волчьи бесшумно, украдкой переправилось ниже порогов на правый берег, растворилось, как дым, в разбойных оврагах да рощах.

Плохо жить человеку. Ястребу - хорошо. Ему все равно, кого искромсать кривыми когтями. Не этих, так тех, на которых с бранью хлынуло дикое поле.

- Остроготов чванливых, что у теплых морей лютовали, хунн Баламер извел, это так; однако их вождь, свирепый Германарих - кем умерщвлен? Русью нашей. Сполна получил воздаяние за слезы антских детей. А обре грозные? До того возгордились: надо обрину ехать куда - не коней, не волов запрягает в телегу, а дев полоненных. Безумие. Были те обре телом крупны, тщеславны, кичливы, а где они ныне? Следов не найти. Отселе и притча: «Погибли, как обре». А Русь - сбереглась. Сбереглась, сил набралась, сама к морю синему двинулась.

... Затуманились очи. Представились алые дали, ясная ширь долин. Снежный камень ровных колонн, увитых темной ползучей зеленью. С той поры, как сарматы да готы, спасаясь от хуннской орды, большей частью бежали куда-то на запад, да и орда, после смерти Аттилы, угомонилась, распавшись на десять враждебных племен, а Константинополь, будучи густо обложен аварами, в неистовом взлете отчаяния подсек под корень их мощь, открылся славянству путь за Дунай.

Правда, и прежде туда забредали, но врозь, понемногу, горстью в скопищах разноязычных отрядов, зато уж теперь - тучей обрушились.

Те, что с Орды ударили да с верховьев днепровских поднялись, шли огромными толпами, с детьми и женами, со скарбом скудным. По суше пробивались на Балканы, где и селились. Не хотелось назад. Лес да болото. Тем паче, что в дебрях покинутых и так народу хватало: не все пустились за счастьем под небо чужое.

Русь - та стремилась обратно на Рось. Обитала она в стороне, к юго-востоку от прочих антских племен, и путь ей выпал иной: не сушей, а водным простором в походы ходить, с челнов же легких много ль земли займешь? Да и к чему? Лучше старой, освоенной издревле, нигде не сыскать. У ромеев - повсюду камень, а тут - чернозем. Хлебный край.

Иное дело - набег. Куда ни вела гребцов удалых вера в удачу, надежда на добычу; куда их не заносило в гиблых ладьях: раньше и знать не знали, что на свете - столько морей, что на тех морях - острова, что на тех островах - города с башнями выше утесов днепровских.

Груды разбитых костей остались под стенами злых крепостей, но уже если кто уцелел - не с пустыми руками попал домой. Кто одежду вез, кто сосуды, а кто и смуглую женщину с черными, от страха дикими глазами, с темным пухом на пухлой губе. И что обидно: не десять веков, туманных и сказочных, с тех пор пролетело - недавно, лет сто, полтора назад, считай - вчера, шуршала галька дальних причалов под днищами проворных русских однодревок.

Да. Было времечко. Ох, было, золотое. Волхв Доброжир, сыто зевнув, косо, украдкой, чтоб жадность не выдать, скользнул коротким, притворно сонным взглядом по червонным чарам и корчагам, расставленным на столе. Вобрав - будто вмиг алчно высосав их огненный блеск, светло-карие, с желтизной, глаза Доброжира сделались вовсе желтыми.

Князь- то каков, а? Не раз бывал у Ратибора волхв-первый раз видит золото на столе. Хорош сподвижник. Хорош. Скрывал от волхва своего, что таким добром владеет. А явился чужак,

киевский гость - не утерпел господарь спесивый, кучей вывалил утварь, взятую дедами в нездешних хранилищах. А может, не только из спеси сокровища выставил? Угодить намерен чужаку? Зачем? Ну, погоди.

- Двинулась Русь - да и назад подалась, - ответил он приезжему волхву, толковавшему о готах, обрах да сарматах. - Притихла. Весь белый свет забыл про нас.

- Как не забыть, - проворчал Ратибор. - Сунься к морю. Булгаре, козаре сидят на путях. Нынче, если где и встретит русских гордый грек, то лишь в цепях на торжищах невольничьих.

«Тебе бы туда попасть».

Не оттого сердился Ратибор, что годы набегов лихих миновали - сколько о них горевать? - а оттого, что сглупил, достаток тайный Доброжиру показал. Беда. Ради киянина рискнул. Верховный волхв у полян, соседей по Днепру. Хотелось уважить. Сгодится. И скоро, пожалуй. А тут - Доброжир. Теперь держись. Зарыть посуду? Все равно не отстанет, дойдет.

- Козаре! - крикнул Идар, дружинник Ратибора. - Что козаре? Мелочь. Велишь, доблестный князь, разнесем косоглазых. У них мечи кривые, легкие, невзрачные. А русский меч - вот он какой! - Идар, как все дружинники, и сам их князь, и бояре, блестел обритыми на хуннский лад головою и подбородком. Только чуб да усы оставлены для красоты. Он горделиво, с любовью провел большой ладонью вдоль широких ножен, - будто жену, бахвалясь ее пригожестью да статностью, погладил по упругому бедру. - Длинный. Прямой. Обоюдоострый. Тяжелый оглобли. Такой меч степняку даже поднять не под силу, не то что замахнуться им, ударить. Верно, отче? - громко и грубо, без должного смирения, обратился он к Полянскому волхву.

Дверь и окна в светлице - настезь, а все равно невтерпеж: душно, как в бане. Хоть догола раздавайся. Гости, кроме волхвов, чинно превших в долгополых ризах, панцири сняли, кафтаны парчовые скинули, мокрые рубахи распахнули на груди, но легче не стало. Пояса с тяжелыми бляхами туго сдавливали животы, пивом, брагой, медом хмельным налитые, плотно набитые снедью: калачами да пирогами, оладьями, ватрушками, блинами, толокном, холодцом, свиной с хреном, гречневой кашей, жареным гусем, ухой да рыбой заливной, да еще и куриной лапшой.

Невмочь. Расстегнуть бы, отбросить прочь. Да разве можно? На тех поясах - мечи, а без ножей, без мечей - ты ничей. Прирежут.

- Хвали мечи, да на своих не точи, - усмехнулся гость. Приятен он был Ратибору. Спокоен, одеждой скромн, чист - не то, что Доброжир в своей гремучей, в жирных пятнах, вонючей ризе. Взглядом киянин - ясен, умен, в речах - раздумчив, нетороплив. Что ни скажет, все веское, важное. Не похож на волхва. Скорей - смысленный муж, добрый советник, вроде вельмож византийских.

Волхвы - крикливы, зловонны. В глазах у них муть и злость. Вечный страх гнетет несчастных: чихнет кто за спиной - они в корчу, водой отливай. Трясутся, плюются, бормочут. Скучно смотреть. Хуже всего - своенравны, нетерпеливы. Что взбредет ненасытным в темную голову, то и сделай, подай, доставь. Конечно, волхвы - боговы, их любое хотение, даже постыдное, подлое - святое, божье. Грех думать о них с неприязнью. Однако и терпеть ту блажь досадно.

- А у нас? - воскликнул киянин. Глаза блеснули железом, и голос им зазвенел. Подобрались все, похолодели. - Нужду неотложную справить, и то один не ходи.

Трое ближних, своих, с мечами в руках должны оберегать. Срамота. Но и тех остерегайся. Чуть разживись чем-нибудь - всяк, даже брат родной, от зависти сохнет, сгубить помышляет, ограбить. Все грызутся за жирную кость, глаз никто не подымет, не обратит за камень порубежный. За ним же - тучи и смерть. Козаре - мелочь?

Глядите, как размахнулись - от Волги до плавней дунайских. Хунны да обре тоже сперва

сборищем шатким казались. Уж как их только не честили: косыми, кривыми, колченогими. А те косые, - он горько усмехнулся - не то сермяжной грубости своих речей, не то их смыслу, - семь шкур спустили с дедов наших. Булгаре, козаре - те же хунны, как мы - прежние анты. Не от хилых корней - от богатырского семени род свой ведут.

- Чужих хвалишь? - вскипел Идар.

- Хвалю? Опомнись, глупое чадо. Не возвысить пред вами дерзкий народ - истинный лик его хочу показать. Дабы не обольщались надеждой на легкую победу. Небо славьте, что мало их на земле: одна стрела против наших ста. Будь их больше - неведомо, что случилось бы с нами. Однако и с этими - не спи, берегись. Мы тут спорим за каждую мелочь на Днепре, за пень на его берегу, а козаре уже северян, ближних соседей наших, данью обложили. Завтра - до вас и до нас дойдут.

Русь - в замках высоких, они - в голом поле! Против рва да оплота козарин бессилен, - продолжал бурлить Идар, подогреваемый жгучими глазами местных, своих волхвов. - Приходили уже, да ушли восвояси, не солоно хлебавши.

- Приходили горстью, разведать. Слышал про Дербень? Есть город такой на востоке, стоит меж горами и морем. Были гости у нас иноземные. Зовут их армене. Через Корсунь к нам добрались. Бают, стена в том Дербене великая, толстая, из тесаных камней, больших, точно клеть. Не вашему тыну дубовому чета. Персы ее возвели на ромейский лад. Дербень по-ихнему - «Врата на запоре». И что же? Сломали козаре запор. Ливнем стрел, как пылью дождем, со стен защитников смели. Вломились, зарезали старых и малых, богатых и бедных.

Он стиснул на груди оберег - золотое глазастое солнце. Тихо в светлице, тихо до жути. Будто в окно, взобравшись по стене, заглянул, ощерив редкие зубы, скуластый, косматый, как баба с распущенными волосами, козарин. Заглянул, обвел узкими злыми глазами застолье, свистнул - и сгинул.

высоченных гор, другой, еще пуще лютой народ объявился. Имя ему - басурмане.

- Далече, - упрямылся бледный Идар. - До нас не дойдут, по дороге вымрут.

Киянин удивленно взглянул на дурака. - Хунны подале жили. Отчего и этим не дойти? Полсвета уже разорили.

- Сам... деле? - промямлил дружинник. Он с опаской, точно точильщик к лезвию ножа, прикоснулся к бревенчатой стене. Сухое дерево, горячее. Все заметили это, все догадались, зачем он притронулся, что подумал при этом, - и плохо, не по себе, сделалось всем: волхвам, и боярам, и князю, Князевым слугам - тиунам, подъездным, огнищанам.

Путь в Киев идет по Днепру через Родень, купцы пристают и к здешним причалам. Правда, в город священный их не пускают, а кто захочет войти - убьют, но кто захочет? Зато на пристани воля: ешь, пей да рассказывай. Слыхали и тут о козарах, о басурманах. Они представлялись непостижимо далекими, жили, казалось, не на твердой земле, сходной с днепровской, а в сказочной зыбкой стране, в безопасной потусторонности, в пределах Кошечев Бессмертных, немислимых Змеев Горынычей, извергающих огонь. И вдруг эта темная даль с громом придвинулась, подступила столь близко, так плотно притиснула к стенам, что трудно вздохнуть.

- Хватит, други, хвастать. Умей человек взглянуть на себя, стоя поодаль, - за волосы схватился бы со страху: сколько сил уходит на ветер пылью речей бесполезных. Недруг - не дурак, бахвальством его не проймешь. Хвастать и он умеет. И боится не слов - мечей. И не старых, давно затупелых - новых, острых. Что и впрямь в крепких руках. И чтоб теми руками владела голова, которая знает, где и кого, как ударить, когда вынуть оружие, когда убрать. Да, было время удалое. Было - минуло, стоит ли жалеть. Народ наш - издревле пахарь, жил землей, не разбоем; к баловству его другие увлекли. Ходили, ходили - чего за морем выходили? Чары да

корчаги. Зато свое хозяйство разорили, пашни запустили. В землянках темных ютились. И до сих пор в них сидим. Мало чести - на стороне искать пропитание. То удел неумелых, нищих, пропащих. Хочешь богатств? На своей земле их добудь. Вот, поглядите.

Он вынул из-за пазухи большой дымчато-зеленый, с голубоватыми и желтыми разводами, турий рог в золотой оковке, с тонкой цепью, прикрепленной к округлым ушкам на ободе и оконечье. Десять сноровистых рук сразу метнулись к нему - будто киянин сказал: кто первый схватит, тому и владеть.

Смотрели, цепenea: работа будто византийская, но, oprичь ясной четкости линий, соразмерности изображений, ничего в ней ромейского нет. От частых узорных кустов, выбитых по краю обруча, хищных птиц в чешуе нагрудных перьев; разверстых пастей туго сплетенных зверей степью древней разит, древней скуфью.

Нет, и не скуфь мудрила над рогом. Ее рука известна по вещам, что лежат в ларцах наследием стародавних времен. Рог был новым. Совсем новым. И не только по свежести чекана, невиданной прежде добротности. Он тем отличался от затейливых скифских изделий, что в этих зверях, псах и птицах, в их стати, сквозило меньше сказочной вычурности, больше правды, простоты земной. Это Русь. Степь, дубравы, холмы. Рубахи белые. Туры, сапсаны. Заливистый лай собак. Повеселели, преобразились люди, стали зорче, моложе и краше. Может, впервые смутно подумали, как много может поведать вещь о земле, на которой сработана, как внятно может она говорить с человеческим сердцем.

- В Киеве рог изготовлен, - пояснил с улыбкой гость. - Немало у нас диковин. Знатно живут поляне.

- Как не жить, - сказал Ратибор. Не дай господь зависть выказать, честь свою уронить. Но, как ни старался князь говорить покойно, даже благодушно, с сытой усмешкой, прорывалась досада в коротких судорожных вздохах. - Удачное место. От степей, сухоменей, козар вы подале, влаги и хлеба у вас поболее, бором густым прикрыты.

- Велик Перун, - кивнул гость. - Милостив к тем, кто служит ему. К чему я быстрое тревожу? О хуннах, готах да обрах толкую? Мол, Русь сумела их пережить. Суть в том, почему сумела. Дружно жили, вот почему. Братство племен поднепровских ковали.

- И ныне в братстве живем. - Чует князь, чего домогается киевский волхв. И внутри - соглашается с ним. Но, соглашаясь, озирается на Доброжира, на прочих волхвов, его подручных, и видит: все горше, труднее им слушать киянина. Вот закричат, взовьются, обидят гостей. А Ратибору не хочется их обижать. И впрямь - время тяжкое. Случись беда, кто спасет? Русь - перед всем белым светом одна.

Но и волхвов своих обидеть страшно. Сильна и опасна их власть. Смердов подымут. Скинут.

- В братстве? Нынче этого мало, чтоб на ратное дело - вкупе, а повседневно - врозь. Оглядитесь! Жизнь уже иная. Русь взбудоражена, слышите? Большие силы в ней накопились. Растут города. Растет человек, его разумение. Хватит в погостах глухих бирюками сидеть. Сотне идолов разных, друг другу враждебных, требы класть. Пора вместе жить, единому богу служить, державу единую ставить. Козаре степные - и те свою сколотили. Чем мы хуже? Даже обре строили державу. Но у них ненадолго ее хватило, ибо питались разбоем, опоры прочной не возвели. Оттого и пали так скоро. Долговечной, крепкой державе - не лихость и буйство добрая основа, а разум, терпение. Возьмем, к примеру, готов. Неприязнь - неприязнью, а жизнь - жизнью. Не стали деды дотла, до последней кровинки, резаться с ними, сразились - и помирились, на ромейскую землю вместе обрушились. И что? Отвели беду. Свой корень сохранили. Речь и смысл сберегли. Где теперь те несчастные готы? Бог весть. А мы - здесь. Как жили, так и живем по Днепру. Шумят козары? Пусть. Откупимся, дарами ублажим. Чтоб и нам

не в тягость, и ханам в радость. Пусть едят, пусть пьют. Надо будет - и дань согласимся платить. Даже на это пойдем, чтоб отразить огонь и разорение. Сразу их, упрямых, не осилить. Пусть похваляются властью над Русью. И, похваляясь, нас от других, которые злее, пока заслоняют. А мы - знай свое. Исподволь будем строить. Воздвигнем державу на ромейский лад, большую, мощную. Чтоб вместе нужду и козар одолеть, пути расчистить, рубежи раздвинуть, степи пустые распахать, к морю выйти: не ради набегов лихих - чтоб место занять среди великих держав, навечно пол солнцем землю свою утвердить.

Околдовал их кудесник. Загудели радостно. Первым крикнул дородный, красивый, всегда веселый Пучина:

- Добре!

- Добре! - подхватили бояре. И зашептались: киевский князь стреножит Ратибора. Сохранит погосты от поборов частых. Жить боярину станет втрое легче: в единой-то державе человеку с достатком есть где плечи развернуть, добро умножить. Разгорелись глаза. Но и князь Ратибор доволен. Властью тех же киян он смирит бояр непокорных, готовых сейчас его из замка выдворить.

Смекнула и челядь, толпясь у дверей: что до смердов, то они уже который год рвутся тех киян признать. Везти одного седока, одного едока кормить - куда способнее, чем тащить на себе ораву ненасытную, что и тебя понукает, и меж собой на ходу дерется, опять же в тебя пинками попадая.

- Славен и щедр Перун. - Киянин подал Ратибору турий рог. - Пей во здравие, князь.

Князь, задыхаясь, протянул онемелую руку. Свершалось великое. И вдруг по этой открытой руке хлестнул окрик:

- Не смей!

Хунгар по-детски всхлипнул, очнулся в поту. Его разбудил чей-то кашель: острый, звенящий. Словно у того, кто кашлял, горло и легкие были железными и, ломаясь, кусками вылетали наружу.

лебедь среди серых уток и гусей, не по времени горделиво тянет шею белый струг. Тоже княжий. Народу мало, гребцы да стража. Все - сонные. Сон залег и в пустых кладовых для иноземных товаров. Лапти прилипают к горячему бревенчатому настилу, сплошь покрытому сочащейся смолой. Башенка, в ней - ворота, за ними - посад.

Чад. Слабый стук да звон. И тут - сон. А бывало - грохот стоит, хоть уши зажимай. Тут живут умельцы, большей частью гончары, кузнецы; прясть, ткать холсты, сукно валять - с этим у любого пахаря жена как надо справится. Да и гончары с кузнецами наполовину пахари, у каждого нива, луг, огород.

О гончарах что толковать: дело у них нехитрое, горшок - он горшок и есть, сколь его не расписывай. Хотя и тут без сноровки, без навыка не горшок - черта слепишь. Что ж тогда говорить о железных дел умельцах. Хвалить да хвалить. Легко ль: из болотной, озерной руды крицы в домницах варить, бить те крицы кувалдой, чтоб от грязи очистить. Серпы, топоры, мечи ковать. Зато и железо знатное. Русские мечи - волшебные, против них не устоять: в них озерная синь, слезы водяниц, яд кикимор болотных.

Мутно у Руслана в голове. От страха, голода, усталости. От всего, что с ним приключилось с тех пор, как он оставил свою землянку. Выведи волхв его сейчас назад да спроси, что видел в замке, сколько в нем башен, хором - не скажет. Только бревна, бревна, огромные бревна срубов в очах. Да крыши, четырехскатные крыши, крыши одна выше другой. И еще - косые лестницы, толстые перила и столбы просторных крылец, примыкающих к храму.

Споткнулся, упал. Поташили. Жесткие руки впивались в плечи. Лили, раздирая губы краем чаши, горькую брагу в сухой и пыльный, как яма для зерна, мертвеющий рот.

- Очнись, смерд! - рычал кто-то злой над ухом, обдавая ноздри густым и мерзким дыханием. Тошно. Разлепил веки - громадный, круглый и плоский, как щит, желтый блестящий лик уставился в очи пустыми нечеловечьими очами.

- Уйди, боюсь! О-ох, боюсь...

- Сказывай, ну? Сказывай!

Желтый лик обратился в бледный, пухлый, волосатый, с мешками под беспощадными глазами, с крупным пахучим ртом.

Не про Калгаста, не про Добриту с Нежданом думал Руслан, передавая их речи волхву Доброжиру. Он их не хулил. Даже забыл про них, словно смерды были вовсе не причастны к своим опасным речам.

Он помнил свой страх от этих недобрых речей и простодушно делился им с волхвом. Чтоб волхв, сильный, всезнающий, избавил его от страха вместе с давними и новыми сомнениями. Угомонил в нем вихрь недоуменных и тягостных вопросов. Помог вернуть чистоту...

Смерды. Вече. Мятеж.

Три слова, исстари неразделимые, как сухомень, недород и голод, как солома, огонь и пожар, живо облетели светлицы и горницы, кухни и медовухи с пивом, пивом и брагой, душевные порубы для непослушных холопов и, хоть и сказанные тихо, скользким шепотом, казалось, зашатали терем и храм.

В них будто стены затрещали, половицы заскрипели, ставни захлопали, крыши закачались - сами устои земные заколыхались под ними, точно всю гору сдвинул с места исполинский оползень.

Смерды, если разойдутся, страшнее всяких козар.

Князь:

- Как быть? Пусть скирды разберут. Пусть жрут, псы, лишь бы не лаяли.

- Нет, погоди, - сказал недовольно волхв.

- Может, клетки открыть, кули с зерном навстречу вынести? Половину добра отдам, только б утихомирились.

- Погоди, погоди, - бормотал Доброжир, думая свое.

- Придут - быков бы зарезать. Небось не станут буянить на сытое брюхо. - Князь, озираясь, дергал волхва за рукав грязной ризы, волхв же отмахивался, бешено тер темной ладонью белое чело.

- Погоди! - вскричал Доброжир.-Привадить хочешь? Попробуй, ублажи - с горба не слезут. А меня чем будешь кормить? Женушек, чад, дружинных отроков, челядь? Не смей. По-иному обойдем горластых.

Из- за Днепра приплыл человек, донес: конники в полях объявились, веси жгут, озоруют, близко подступили. Смуглые, в диковинных свитах. Видать, козаре. -Козаре? -не поверил Доброжир. - Откуда им взяться? Может, алан занесло захудалых? И то едва ль. Скорей северяне балуют. Под козар обрядились, чтоб с толку сбить.

- Скуластые, черные.

- Козаре?! - Эка напасть. Две беды заодно: смерды, козаре. Хоть и не скор в помыслах князь, однако неглуп. - Накормить сиволапых, раздать рогатины, против козар их пустить?

- Раздашь - с тебя и начнут.

- Хоть плачь! Запутались.

- Пошли за Днепр дружину. Не всю - Идара с лучшими оставь. Хватит и этих. Переможем лихих.

Смерды, козаре.

Пока дружина грузилась в челны, волхв Доброжир бродил за тыном, в роще на подступах к

граду, общаясь с богом. Завидев ризу, расшитую желтыми пятнами солнц и стрелами молний, люди сходили с пути, прятались в кустах.

Будто и спокойно, тихо в роще, но волхв приметил - сухие листья с жалостным шорохом без ветра падают наземь. Пестрый дятел на дубу неистово стучит, чайки оголтело плещутся в реке. На прибрежном лугу ноют жуки, лошади буйно храпят, трясут головами, задирают их кверху. Ложатся, изнемогая, на траву, где уже, как баба от боли, катается пастуший пес. В посадке распевают петухи, свиньи надсадно визжат, утки громко хлопают крыльями, будто беду хотят отогнать. Но ей, видно, быть. Худо.

Смерды, козаре. Смерды, козаре. Два слова незаметно уравнились: смерды - козаре.

Смерды. Они казались Доброжиру огромным грозным скопищем, к которому не знаешь, как подступить. Он исступленно искал в этой крутой стене расселину, чтоб вколотить разрушительный клин.

Расхаживая по роще, волхв наступил на что-то упругое, с воплем отпрянул: поперек тропы растянулась змея с разможенной головой. Подле - камень. Большая змея, толстая, ужалит такая - умрешь. Но стукнули по голове - обратилась в тряпицу.

Ага. Первый у них - изгой, самый непутевый, зловредный из смердов. Калгастом зовут. Но как его убрать, чтоб смерды княжий двор не разнесли? Чем их застрашать?

Смерды, Калгаст.

Волхв заметался по роще.

Смерды, Калгаст.

И эти два слова уравнились:

- Смерды - Калгаст.

Затем осталось одно:

- Калгаст.

А козаре?

- Калгаст - козаре.

Волхв тихо вскрикнул.

Теперь он знал, что делать.

Руслана вывели из храма. Ему показалось - поздний вечер на дворе, до того темно и неуютно в городе. Лишь оглядевшись, сообразил: темно от туч, горой нависших над Росью. Когда успели набежать?

- Послужи Роду, - шептал по дороге волхв. - О, сколь радостно Роду служить, князю светлому, русскому племени! Не забудут они верную службу твою...

Руслан очутился на требище - большой поляне за городом, где русичи раз в год, в Родень день, требы кладут - приносят жертву своему верховному богу. Оттого и город - Родень. Требище старое, замка не было и в помине, когда тут зажглись первые огни. Они и сейчас горят в ямах, вырытых по кругу. В середине круга - огромный дубовый идол, перед ним на поляне - будто облако опустилось: столько народу скопилось.

Не блеют нынче на требище овцы, не режут, как бывало, быки, - волхв Доброжир кричит, рукой потрясая: - За кем идете? Или сами недругам продались? Он козарами послан - честных людей смущать, устои наши изнутри точить. Чтоб козарам легче было нас одолеть. Вот свидетель! - Доброжир схватил Руслана за плечо, встал с ним под идолом. - Скажи, хулил Калгаст владыку чистого, хвалил козарских богов?

Вот оно что... То-то Калгаст его обхаживал. Слава Роду, не успел опутать, как бедного Добриту. Однако и Руслан к делу малость причастен: рыбу Калгастову ел, речи слушал. Обмер парень. И толпа заметно сникла» подалась. Измена? Господь, сохрани. Люди дотоле и люди, покуда способны себя отличить от других. Другие - недруги. Их жизнь - наша смерть.

- Говори, Еруслан! - шумели смерды.

- Было. Рода поносил: мол, негож против чудищ козарских. Степной, слышь, бог его перемог, всю землю выжег.

Ожидал - взревет, но толпа лишь колыхнулась. Шептались, переглядывались. Видать, не верили Руслану,

- Калгаст - лазутчик вражий?

- Немыслимо это.

- Пошто? Где он бродит полгода?

- А пусть сам перед нами предстанет.

- Калгаст, ты где? Выходи.

- Я здесь. - Изгой показался с Добритой, Нежданом, трезвый, натянутый, как тетива, осторожный и зоркий. Таким, наверно, он бывал на охоте. Упруго ступил вперед, повернулся к народу. - Про ветхого Рода, про чудищ степных - говорил, не отрекаюсь. Простите, сбрехнул от обиды горькой. Уж больно нужда заела. Но козар, сколько живу, не видал. Теперь - судите.

Тьма за горой сгустилась до аспидной черноты с клубящейся дымчатой просинью.

Крепость, тронутая неживым, железным, слепяще белым светом, пробившимся сквозь тучи, что кружились над правобережьем, с пронзительной четкостью выступала из тьмы, как снежный скалистый остров из пучины.

И чудились в этом странном свете чьи-то холодные очи, отблеск нездешних огней.

Добрита с укором:

- Стыдитесь! Неужто Калгаста не знаете?

- Лжет Доброжир, пес лохматый! - подхватил Неждан.

Небо треснуло синей, с черной пятнистой копотью, хуннской чашей на жертвенном костре, и алым пламенем в широких трещинах сверкнула молния.

- Кары, кары Родовой бойтесь, смерды! - прокаркал волхв. - Падите! О нивах своих подумайте, о детях!

Чудовищный грохот обрушился на толпу, казалось - его изрыгнула огромная зубастая пасть истукана с плоским золоченым ликом. И полыхание молний представилось гневным светом его глубоких очей. С ревом и воем кинулись смерды наземь, и сверху на них обвалились горы грома. - Требу, требу несите Роду! - рычал Доброжир. - Кровавую требу ему кладите! Одной токмо кровью сподобитесь искупить гордыню, дерзость и непослушание! - И когда распростертых на траве людей вконец расплющил громовой удар невероятной силы, волхв, корчась от ужаса, взвещал: - Хватайте нечестивых!

Бросили, связанных, на колени.

Добрита хмурился. Неждан мотал головой:

- Эх, сорвалось! Вот неудача...

- Несмышленьш, - произнес Калгаст разбитыми губами, поймав пустой взгляд Руслана, а тому послышалось: - Змееныш.

Идар замахнулся топором.

Руслан увидел сбоку высокую прямую старуху. Прижимая к груди желтую плоскую рыбину - должно быть, одну и довез до города Калгаст, - она тягуче причитала, закрыв глаза и откинув голову назад:

- Чадо мое, Печа-а-аль!

Хрипели с пеной на губах мужики. Бабы катались по земле, терзая волосы, царапая щеки, судорожно вскидывая бедра и дрыгая голыми белыми ногами.

Перекрыв их плач, их утробные стоны, над Росью внезапно всплеснулось звонкое и веселое улюлюкание. Длинная стрела воткнулась в пасть истукана. И метнулся вдоль требища вопль:

- Козаре!

Грязь. Кровь. Доброжир плюхался в яме.

- Не бросай, прокляну... Оставишь - накажет Род. На себе волоки, не бросай...

Между мокрыми деревьями стелился дым, смешанный с паром. Князь - без меча, без щита и шелома, в изрубленной кольчуге сидел на краю ямы, свесив красные сапоги, забрызганные грязью, к лицу волхва, и со стоном ощупывал голову.

- Упырем обернусь, стану стеречь на путях, ежели кинешь, - хрипел Доброжир, пытаясь ухватиться свободной правой рукой за Ратиборову ногу.левой он зажимал дыру в животе, пробитую стрелой.

- Ох, не пугай, отче! Куда еще дале запугивать? Оглядишься.

Все сгорело. Скирды. Хоромы. Хаты. Всюду пепел да трупы черные. Князь поносил смердов, козар, клял Полянских волхвов, которые, видно, и наслали на Родень беду. Но ему не легчало. Он чуял в собственных жалобах ложь. Метнулась мысль: может, и сам в чем-то повинен?

- Хватит! Долго волок. А пользы?

- Стой! Возьми. Только спаси. - Волхв содрал с груди тяжелую кладь цепей с оберегами. - В них великая мощь.

- Где? - вскричал Ратибор. - Где она, та мощь? Хлам железный. А сколько его на Руси. Сколько железа на погремушки извели. Его б на мечи пустить.

- Не кощунствуй. Накажет Род.

- Успел. Чего уж теперь. Пропади ты пропадом. Я ухожу.

- Стой! Куда?

- Путь один.

- Стой, проклятый! Куда ты, глупое чадо? Кияне теперь... дружинником младшим - и то не возьмут. В холопах век завершишь, всей Руси на забаву. Ты погоди. Еще не все пропало. Опять взлетишь на высоту. Это не хлам. - Он встряхнул оберегами. Они на редкость чисто звенели в дождевой холодной воде. Точно оковы на холопах, мокнущих с лопатами во рву.

- Слышишь?

То- то. К вождю козарскому пойдем, сапог облобызаем. Простит -и вновь вознесет. Даже войском поможет. Выгодно ему, чтоб мы гвоздем торчали под киянами.

- Это чем же ты меня прельщаешь?

- Зато опять будешь княжить.

- Ведь и кияне, - потупился князь, - могут власть мне вернуть. Чтоб держать заслоном от козар.

- Дурень! Для них ты -первая мель по Днепру. И не забудь - ты их прогнал.

- Ты их прогнал!

- Оба. Навеки мы связаны с тобою.

- Нет, - твердо сказал Ратибор. Он встал, отошел от ямы. - Околевай. У меня путь иной. Пусть холопом, но буду Руси служить.

- Чего ты мелешь? - взревел Доброжир. - Твой путь - мой путь. Ступай сюда. Тащи из ямы.

- Вытащу - сам угожу. Не в эту, другую. Из которой уже никто не вызволит.

- Скорей, ну?

Князь зашатался, рухнул в черную лужу, заплакал.

СТЕПЬ. ЗЛОЙ ХАН-ТЭНГРЕ

*«Я, небесное создание,
отлетаю на небо.
Я с вами больше не увижусь.
Вот ухожу уже совсем туда,
Где назначена мне обитель.
Навсегда прощайте!...»
Так сказав, она исчезла вмиг,
С быстротою падающей звезды.
«Нюргун- Боотур Стремительный»*

Часть злодеев осталась за Росью улаживать споры с Русью, часть потянулась к степи, добычу везла, пленных и скот понукала, стремясь поскорее выйти к по-рогам.

Зря торопились. За ними не гнались.

Некому было их преследовать. Не с чем. Не на чем. Пеши конницы не настигнешь. По реке опередить? Нужны челны, а они сгорели; и сила надобна, чтоб грести. А где она?

Пленных загнали в лощину, руки развязали, не сразу всем - поочередно, не более чем у троих заодно. Покормили вареным просом из Ратиборовых припасов. Дали передохнуть.

Руслан до сих пор не мог забыть - и вряд ли когда забудет - свистящий ливень стрел, рядами косивший толпу. Смели, рассеяли и с тем же яростно веселым улюлюканием, будто зайцев травили, железные, жестокие, не то чтоб на час обозленные боем - видно, с детства беспощадные - ударили с копьями наперевес всей конной мощью...

- Их главный, - с жутью вспоминал Идар, - мечом кривым орудовал. Привстанет на стременах - рубанет. И непременно, веришь, нет, меж блях на плече угодит. Ну и глаз! И рубит с длинным потягом - не рубит, а режет. Пополам рассекает. Один, считай, треть дружины нашей распластал. Увертлив, черт. Проворен. Меч-то удобный. Не очень чтоб грузный, а легкий, но веский - тяжесть у него, похоже, в середине. А наш прямой, долгий меч - не меч, дубина железная. Не режет - ломает, кости крушит. Но пока ты его подынешь- три раза брюхо проткнут, нутро наружу вы-вернут.

- Н-да-а, - тянул дружинник озадаченно, - верно сказал киевский волхв: не зазнавайтесь. Такой у нас меч да этакий. Он, конечно, добрый, спору нет, но, выходит, не самый лучший. А ведь хитрость невелика - облегчить, чуть изогнуть. И выгодно это: из одного выйдет четыре.

Руслан, морщась, поглаживал рубец на шее.

- Что, рогаткой натерло?

Им, как скоту, надели рогатки, скрепленные между собой волосяными веревками.

- Петлей захлестнули, - сипло ответил Руслан. - Саднит.

Идар - осуждающе, но и с восхищением:

- Арканы бросать они умеют. И булавой, топорами сноровисто бьют. Воины, брате. Прирожденные. Послали на левый берег приманку, горсть своих бойких ребят - князь, дурень, и рад, всю рать переправил. И остался, считай, ни с чем. А эти - возьми да ударь, откуда их ждать не ждали. Вплотную подкрались. За спиною торчат, смеются небось: мол, глухари, хоть уши рви, не обернутся. А мы - с бедными смердами возимся, истинной беды не чуем.

- Учуешь. Небось Калгаст каждую тропку им показал, каждую ветку сухую - прошли, не хрустнули.

- Калгаст? - Идар помолчал, вздохнул, сказал стесненно: - Он, брате, тут вовсе сторонний.

Ладонь Руслана замерла на глотке.

- Чего ж тогда... зачем ты их...

Идар сердито пожал плечами.

- Велели.

- А волхв... - Руслан стиснул горло: душило его изнутри, а казалось - сам хочет себя удавить. - Волхв... он знал, что Калгаст - безвинный?

Идар потускнел.

- Это мне неизвестно. Я, друже, человек подневольный. Что скажут, то и делаю.

Руслан уронил ладонь.

- Кто же... кто выдал козарам пути?

- Кто? - Идар ответил неохотно: - Славонег. Мой брат.

- Волхв Славонег? Говорили, пропал прошлым летом. Когда северян ходили разорять.

- Выходит, не пропал. Я сразу его узнал, хоть и надел он козарский кафтан, сидел на лошадке лохматой. Ведь брат. Секиру занес надо мною. Кричу: «Славонег!» Наклонился, шипит: «Это ты? Тише, дурень. Беги, схоронись где-нибудь. Потом потолкуем». Не привелось. Тут же убили бедолагу. Смерд Чернь ножом изловчился достать. Эх, горе. А ты чего побелел? Калгаста жалеешь, Добриту с Нежданом? Плюнь. Все равно не вернуть. Ты, друже, думай о себе. Может, сумеем уйти? А то уведут бог весть куда. Продадут ромеям, придется слезы лить. Выкупить некому.

Руслан прохрипел:

- Козарам скажи: «Я лазутчику вашему брат. Могу заместить. Только рогатку снимите».

- Тьфу! Глупый ты отрок. - Поразмыслив, Идар оживился: - А что? И скажу. Спасибо за хитрый совет.

А Руслан? Он вроде человека, у которого всю жизнь, до последнего часа, непрерывно звенело в ушах: звенит и звенит, спасу нет. Не разобрать, что тебе говорят. Мысли в мозгу хилые, слабые от нудного звона. И вдруг перестало звенеть. Внутрь хлынул яростный гомон земли. Вихрь незнакомых звуков остро ударил по слуху. Заставил вскрикнуть, побледнеть.

Или - будто он век дремал на печи, смутно зная: в хате холодно, грязно, в поле - лютый мороз, но, укрытый пахучей теплой ветошью, лениво зевал - ничего, сойдет. И лишь нечаянно скатившись на пол, оглядевшись, увидел вьявь, как плохо в хате. Учужал тревожную близость заснеженных плоских полей, что простерлись на тысячу верст в студеную мгlistую даль.

Снаружи - деревьев стонущий треск. Вкрадчивый скрип чьих-то редких шагов. Волчий вой похоронный, Ему пока не приходило в голову искать топор, веревку, ладить дровни. Но Руслан уже знал: дремать он больше не сможет. В льдистом воздухе у виска уже складывались и внятно произносились слова, каких ему не доводилось слышать - слова, по смыслу еще недоступные, но уже чем-то понятные, очень важные.

Но еще невдомек было смерду, что он только вступил на дорогу сомнений, что неслыханно длинный путь - кровавый путь, страшный и горестный, ему придется пройти, чтоб хоть немного уразуметь, что к чему на земле.

Есть старинный обычай - уходя на чужбину, брать с собою горсть родной земли. Хороший обычай. Красивый. На сей раз, однако, вряд ли кому его удалось соблюсти.

Иные, правда, пытались присесть на ходу, зацепить, перегнувшись назад, руками, скрученными за спиной, щепотку праха. Но тут же туго натягивались веревки, жесткая рогатка сдавливала шею. Задохнешься. Не задохнешься - живо поднимет огненная боль между лопатками. Конники не зевали, хлестали плетями, как раскаленными стальными прутьями.

Нет, не до славных обычаев было запутанным, преданным, вечно голодным. Тем более - Руслану, чьих друзей ни за что изрубили на этой самой земле.

И все же, уловив подходящий миг, Руслан наскреб на стоянке, завязал в узелок и повесил на

шею, под невольничью рогатку, горсть славянской земли. Наскреб, хоть она и смешалась с кровью безвинно загубленных. А может, именно поэтому.

Путь на чужбину представлялся ему прямым путем на тот свет, и для смерда с сокрушенным сердцем, одинокого, безродного, горсть днепровской земли, сдобренной пеплом близких, служила единственным напутствием, последним утешением. Она будто жалела его словами Калгастовой матери:

- Чадо мое, Печаль...

Даже до злобных, зверски глухих к чужим страданиям наездников, видно, как-то дошла эта жалость. Хотя, наверно, они и сами о том не догадались. У Днепра пленных вновь обыскали, отобрали у них обереги, прочую мелочь. Один из грабителей, с нетерпением, но осторожно распотрошив Русланов узелок, - бисером, что ли, разжиться надеялся, - хотел от досады рассыпать землю, но другие воспротивились:

- Не надо. Верни.

- Может, он только и жив своей черной землей. Отнимешь - зачахнет. А на что нам дохлый пленный? Горсти бобов за него не дадут.

- Лучше отнять, - упрямылся тот. - Станет сил от нее набираться, строптивым будет рабом.

- Наплевать. Наше дело - с выгодой сбыть. А там пусть хозяин его ломает.

- Отдай. Не связывайся. Ну ее.

Грудю затейливых оберегов, освященных волхвами, они без смущения сгрести в мешок:

- В удила, в стремя перекуем.

Руслан не понял, конечно, ни слова. Но то, что ему, пусть с гневным ворчанием, все-таки вернули узелок с русской землей, утвердило его веру в ее волшебность, скрытую силу. Он с трепетом водворил нехитрый амулет на место, унес на чужбину. Вися на потной шее в грубом лоскуте, оторванном от посконной рубахи, черная земля снимала усталость и боль, сводила на нет кровоточащие полосы, натираемые сучковатой позорной рогаткой.

Переправа. Конники и тут не мешкали. Зажали под мышками мешки из кожи, набитые травой, - сиречь турсуки, пустили вплавь проворных лошадей, за хвосты ухватились - и всей ордой, веселые и мокрые, живо очутились на той стороне. Скот, пленных, добро перевезли на больших, но легких плотах из тех же турсуков.

- И вся недолга. - Пораженный Идар толкнул плечом Руслана - и чуть не порвал ему ухо рогаткой. - А я - то думаю: лодок-то нет. Будут теперь косоглазые три дня шуметь. Судить да рядить, как реку одолеть, где челны раздобыть. А тут и шуметь-то, оказывается, нечего. Просто да быстро. Раз плюнуть. А мы, брате, без челнов никуда. В челне на реке, оно, конечно, удобно. Но полем уже не поплывешь. Надо коней заводить. Мало их у нас. Ох, мало. Князь да бояре - верхом, дружинники, смерды - пешком. А конь, видишь, он тебе и конь, он тебе и челн. Не зря козаре лошадей пуще глаз берегут. Воины. Истинные воины. У таких не грех и поучиться.

Левый берег - в шатрах, кострах, котлах. Увидели старцев, баб степных, детей. Услышали гортанно стонущий, мучительно болезненный верблюжий крик. Перед пленными открылась изнутри чужая жизнь.

Люди разных кровей, в несходной одежде, сошлись осторожно, испуганно пялились, ахали, настолько враждебно настроенные, что поражались не тому, что не похожи, а тому, что похожи: у тех и других по две руки, по две ноги. У тех и других - глаза. Не удивились, если б узрели копыта, рога, хвосты. Изумлялись, что их нет. Такая пропасть лежала между ними. Так далеко друг от друга, хоть и стояли рядом, они держались складом ума, укладом жизни, желаниями... И вдруг Руслан услышал свое имя. Огромный, сутулый, с широким лицом, круглым носом, большим крепким ртом, с косматой желтой гривой, он горой возвышался над толпой коренастых кочевников, и степняки восхищенно щелкали языками: - Арслан, арслан.

Чуть не упал Руслан. Откуда знают, как его зовут? Ихние волхвы проведали? Неужто и впрямь степные боги сильнее славянских?

- Арслан. Яшь арслан. - Бойкий старик беззлобно хлопнул смерда по плечу. И неожиданно сказал... по-русски: - Лев. Молодой лев. Есть зверь такой большой. Слыхал? По-нашему - арслан. Эй! Ты чего? Плачешь? Бедняга. Не надо, сыне. Терпи. Судьба. Вы, урусы, крепкие люди, но мы - крепче. Бог Хан -Тэнгре дает нам силу. Для нас он добрый, для других народов злой. Видишь, грозой сгубил посева ваши, зато напоил мощным ливнем степь. Сжег Родень, нам же подарил богатую добычу. Бойтесь небесного владыку Хан-Тэнгре. Молитесь ему, урусы, иначе пропадете... Почему он заплакал?

У степняков-то слова сходны с русскими, а? Пусть не по смыслу - по звуку. Выходит, речь у них почти что человечья. Это что же... в них самих есть что-то от людей - доступных, добрых? Ишь, как просто старик похлопал его по плечу. Сказал: «Бедняга». Сыном на-звал. Пожалел. Но пуще всего озадачила юношу русская речь в устах степняка. Козарин умеет по-нашему. Значит, можно с ним говорить на одном языке?

Нет, нет! Опомнись. Охмуряют. На сторону свою хотят склонить. Заставить бога дикого признать. Лазутчиком сделать. Ничего у вас не выйдет, бесы.

Злость. Омерзение. Ненависть. Но в голову лезет: как же так, волхв Доброжир представил смердам грозу наказанием Родним, а старый козарин ее выдает за гнев степного владыки. Если грозу и вправду наслал Род могучий, то зачем? Ведь ради него пролила кровь человечью. Он должен быть сыт и доволен.

А вдруг потому и наслал, что невинную пролили кровь? Коли так, то, выходит, ошибся волхв Доброжир? Значит, он не всеведущ, не всемогущ? Или... обманул кудесник смердов? Неужто волхв способен лгать?...

Не то что заплачешь - тут взвоешь, как зверь. От Калгаста Руслан смог убежать. От его опасных речей. А отсюда куда убежишь? Куда уйдешь от себя? От злых «зачем, почему», жгущих мозг?

Эх, горе. Горе горькое.

Их поместили в круглых загонах из тесно составленных телег. Мужчин отделили от женщин, детей. Сняли путы с рук, арканы с рогаток. Рогатки оставили. Чтоб пленные помнили, кто они. Чтоб, коли выпадет нужда, легко и быстро связать их в вереницу. Конечно, захочешь - сам можешь снять, руки теперь свободны. Только за это голову снимут.

Ладно. И на том спасибо. Хоть от Идара избавился. Надоело - как волю в одной упряжке. И с кем - с душегубом. О доле вины волхва Доброжира в смерти Калгаста, Добриты с Нежданом смерд из Семарговой веси старался не думать. Очень уж тягостно, А о своей - ох, не надо! - еще тягостнее...

Дни. Ночи. Ночами - ливни. Днем знойно. - Везет скуластым, - вздыхали пленные. Степь преображалась на глазах. Выходило все, что не возшло ранним летом из-за сухости. Дикие травы спешили наверстать упущенные сроки. Осень близко, а в степи - весна. Большие силы таятся в земле. Ничем их не выжечь.

Однако того, что, себе на беду, заколосилось в урочное время, но, подгорев, легло под грозным дождем, уже не спасти.

- Пропали хлеба, - рыдал Идар. - Пропала Русь. Верно подметил покойный Калгаст: обветшали, сдали наши идола. В козарскую веру перейду. У них добрый бог. Как его: Хан-Теньгрей? Видишь, тень - и ту греет, свиное рыло.

Что за человек! Вроде и неглупый, но весь какой-то раздерганный. Несообразный. Никогда не скажешь наперед, чего он брякнет. А брякнет - не поймешь, всерьез или сдуру.

- Все грозишься. Все бесишься. Чего бесишься? - Руслан с отвращением сплюнул. - Нашел,

чем пугать. Кого пугаешь? Перейдешь - кому на зло? Ну, перейди. Ну, иди к ним. Такому - терять уже нечего.

- Ты, образина! - Идар подступил к караульному. - Веди к наиглавному. Хочу степным разбойничкам служить.

Круглолицый, с кошачьими усами, молодой степняк, блаженно облокотившись о телегу, закинув ногу за ногу, мурлыкал что-то на ушко румяной девке в длинном, до земли, платье с оборками, в тесной безрукавочке, расшитой бисером. Он, не глядя, лениво отмахнул Идара темной ладонью: ступай, приятель, не мешай, ступай, ступай.

Не унимался Идар:

- Вот я пожалуйю начальнику - на страже с девками лясы точишь.

Кочевник повернулся к нему. Смех застыл у Идара в горле. Страж, опершись о высокое копьё, нагнулся, выдернул из-за голенища тяжелую плеть. На худое лицо пленника с треском легла косая алая полоса.

Он скорчился, зажал рубец ладонью. Постоял, бессловесный. Распрямился, погрозил кулаком:

- Запомни, зверь: просить будете - не пойду к вам служить. - И под злорадный смех взбудораженных пленных вернулся к Руслану, сел.

- Съел? Несуразный человек, - Руслан брезгливо отодвинулся. - Стыдись.

- Чего ты нос от меня воротишь? Идар душегуб? А ты - чистый? С кого началось? Кто первый возвел поклеп на Калгаста, Добриту с Нежданом? Кто донес на них?

Вот оно! Наконец-то слово сказано. Слово, которое Руслан, боясь обжечься, обходил даже в мыслях.

- Я... у меня... другое было в голове...

- Дурь была у тебя в голове, сопляк ты этакий! Слизняк несчастный! Слюнтяй! А вы, земляки мои добрые, смерды честные? Чего пялитесь, как на чудище? И вам Идар не по нутру? Тоже чистые? Боятесь испачкаться об него? А кто их вязал, Калгаста, Добриту с Нежданом? Я рубил, отсохнуть моим рукам, а вязал их кто? Забыли? Кто слюни распускал у Доброжировых ног? А? Оглядитесь. Подумайте, кто вы есть. Кто мы все...

Примолкли. О чем размышляли, кто и что себе говорил - бог весть, но какой-то, хоть малый, просвет должен был в них забрезжить. В этот день между ними, недоверчивыми друг к другу, злыми на всех и неизвестно на кого, незаметно наладилась близость.

В стане - песни, бабий смех. Неумолчный топот коней, сытое блеяние стад, текущих мимо. Кочевники горланили, потирали руки. Пленных не беспокоили, но стерегли, пожалуй, зорче, чем жен своих развеселых.

Руслан изнемогал.

- Застряли. Чего сидим?

Хотелось скорей навстречу судьбе.

- Сиди уж, пока не трогают, - ворчал Идар. Привязался он к Руслану, не отгонишь. - Погоди, подымутся - присел бы, не дадут. А подымутся, похоже, скоро. Видишь, как разбухли. Наверно, пол-Руси разграбили. Рады, стервятники. Должно быть, кого-то ждут, не все вернулись.

Он угадал. Наутро в стане - будто сам Хан-Тэнгре с неба упал, - такая суматоха сотворилась. Испуганные крики, женский плач. Суматоха быстро улеглась. Тишина. Тягостная тишина. Что-то недоброе случилось у козар.

- Видать, от киян досталось, - ухмылялся Идар.

Пленники почуяли - настал день крутых перемен. Но, вроде бы готовые ко всему, они и представить себе не могли, какое грозное испытание несут им эти перемены. Особенно - Идару с Русланом.

- Эй, урусы! - сердито позвали у входа в загон. - Кто здесь Этар? - Обернулись, - тот самый старик, который по-русски знает. Тот - и будто другой: задумчивый, пасмурный. Похоже, теперь не до смеха козарину.

- Идар? Я. - Дружинник недоуменно обратился взглядом к Руслану, - мол, не знаешь ли, друже, чего ему надо. Определил по глазам: уже знает, догадался. Побелел. Тронул на скуле след плети.

- Аннаны... эт... этарсен! - или что-то в этом роде сказал степняк. Не диво, если выругался. - Идем со мной.

- Зачем? - Идар прикусил ноготь большого пальца, выжидательно насупился. Серые глаза козарина почернели.

Руслан заметил по поведению приставленных к загону стражей: в стане у себя козаре смиренные, скупые на слова. Говорят друг с другом уважительно. С бабами ласковы, усмешливы. Нежно любят детей. Но порой что-то находит на них - то ли напьются, то ли от ветра, от солнца, от скуки дуреют. И дуреют до потери памяти.

Тогда в становье приходит смерть.

Пуускают в ход кинжалы и секиры. Режутся без оглядки. Бьются, покуда не упадут. Упали - успокоились. И, если уж успокоились, да к тому же и живы остались... безропотно отдаются суду старейшин, которых очень почитают. Покорно принимают любое, самое лютное, наказание. Немало всего, не всегда понимая суть событий, довелось увидеть русичам с тех пор, как они попали в степь.

Кочевники вспыльчивы, но отходчивы.

Но, пока отойдут, могут не одного заставить отойти туда, откуда нет обратных путей.

И думал Руслан: велика же в них дикость, если по самой никчемной причине готовы впасть в этакое буйство кровавое. И еще он думал: велика же в них и человечность, если, при всей своей дикости, при жестокой, неслыханно трудной, тревожной жизни, способны шутить, говорить друг с другом уважительно, дикость в себе обуздывать. Что-то гордое, мужественное и... печальное, жалкое приоткрылось ему в их жизни...

- Ты... спрашиваешь?! - прошипел козарин.

Руслан уловил в глазах старика знакомую слепую мглу, которая застилала степнякам зрачки перед буйством, и потянул Идара за локоть.

- Ну, ну, не шуми, - сказал Идар осторожно. - Чего ты? Какие вы все тут сердитые. Не от большой это храбрости - на полоняника орать. Ты бы к нам попал да там пошумел...

- Попадал! Шумел! Где, ты думаешь, сукин сын, я по-вашему балакать научился? У северян был в неволе. Убег. Хан-Тэнгре меня вызволил. Он хороший. Не вашему Роду-уроду чета. Вам, белоухим, от нас не удрать. Хватит болтать, ступай за мной, - молвил он уже иным, мирным голосом.

Гадали - куда, зачем. Идара увели. Неужто перекинется? Видит бог, перекинется, подлая душа. Который день порывается. Или устоит? Кто знает. Ладно, подождем. Посмотрим.

Идар припелся белый, почему-то очень худой, - был худ, а сейчас вовсе усох, сразу сильно сдал, не узнать. Но - веселый: качается, смеется, распевает. Видать, упоили. Упал. Вырвало алой мутью. Вино заморское хлестал, негодяй.

Отчего- то заплакал.

Руслан - с насмешкой:

- Или не взяли?

- 0-ох, не взяли. Уж я просился! Славонег, брата, поминал. Землю грыз. Не, берут. Заверни мне свиту, спину почеси. Зудит.

- Почешись о телегу, скверный.

- Встать не могу. Почеши, Рода ради - ох, чтоб, сгнуть ему! Пылью, что ли, присыпь.

- А, провались ты! Холоп я тебе?

- Ну... ладно. Спасибо. Эй, земляки! Заверните свиту. Руки не отсохнут. О-ох, заверните, зве-е-ери...

Хоть бывало и лютовал над ними, сжалились.

... Будто глиной густой обмазали спину, приложили связку крученых ремней, придавили - и сняли связку, а оттиски ради забавы обрызгали кровью...

Ахнул Руслан.

- Это что? За что?

- Видать, надоел.

- Сами позвали.

- Чтоб сказать: не заикайся больше, сукин сын, о службе нашему войску. Есть у них лазутчик. Видный, Важный. Куда мне до него.

- Кто такой?

- Князь Ратибор.

Ужаснулись смерды:

- Это как же?

- Уж так. Снова правит. С ним волхв Доброжир. На киян ходили вместе с козарами - вождь их главный вернул Ратибору дружинников, тех, коих князь кинул на левый берег. Словом, снюхались. Козаре княжат взрослых берут в залог. Женушек Князевых, чадушек малых, бояр, их детей за выкуп назад отсылают. Смотрите, уже ведут.

У загона - гомон, сумятица. Красавица, душа Людожирица, меньшая княжья жена, кричит, слезами обливаясь:

- Идаре, светик мой! Ненаглядный! Пошто ты эдак? Смирись. Покорись. Пойдем. Иль забыл, как в темных горенках кохались, чреслами соприкасались.

Стыдно Идару.

- У-у, стерва, - скрипел он зубами. - Ступай, чертовка. Кохайся теперь с волхвами.

Перед пленными, людьми большей частью незнатными - кузнецами, гончарами и смердами, приоткрылись на миг тайны терема. Взбеленились мужики: ишь, тварь! Тут не знаешь, куда забредешь, какое лихо ждет впереди, а у нее - бес на уме. Нам бы твои заботы.

И откуда это повелось - на князей, на бояр нет оков, им даже в полоне приволье. Вот уйдут сейчас домой, на Русь, и поминай как звали. Никогда их уже не увидишь.

Людожирица - ладно, хоть дружка пожалела. Другие смотреть не хотят. Отвернулись, к реке бы скорей. Вздохнуть боятся, не то что взглянуть: не дай господь - козаре передумают, опять в загон затолкают.

Эх, безобразники, пакостники. Эх, сволота.

Заметались пленные, кулаками замахали. Но, наткнувшись на копыя, обессилели. Сидели, плакали, ругались.

- Сами - первые изменники.

- За что Калгаста сгубили? Добриту с Нежданом?

- За что нам век в цепях вековать?

Руслан, тот лихорадочно выхватывал из пестрых речей, изменчивых событий подходящие слова и мысли, лепил из них оправдание - себе, проступку своему:

- Всему - Доброжирова хитрость виной. Род на бояр, на князя сердился. За то, что хлебом с нами не делились. Волхв же сбил вече с пути. Неверно, с умыслом злым, истолковал гнев божий. На честных людей его повернул. И все равно... достал негодных Род грозой, огнем, злых козар напустил на лукавых.

- А кто в накладе? - Взбесился Идар, не унять. - Безмозглый крот! Заладил - Род, Род. Правду козарин сказал: урод твой Род, сто чертей ему в рот. Был бы за нас - упас. Нет, о сытых печется. Огонь наслал Хан-Теньгрей, а Род их теперь вызволяет. Княжил Ратибор? И княжит. Жили волхвы? И живут. Добрели, бояре на жирных щах? И впредь им добреть. А тебе, орясина, - в неволе гнить. Они заодно, волхв и есть Род. Этакий бог мне боле не бог. Иного найдем, смерды. У козар - Теньгрей. У ромеев свой бог. У алан, басурман. Поглядим, который лучше...

- Что, Арслан, скучно? - Старый козарин присел на корточки, сумрачно вздохнул. - Да-а, сыне, худо в неволе. Знаю. Сам не раз был в плену - у ромеев, славян. Народ мы неумный, лезем всюду - случается, хватают нас. Правда, урусы - люди хорошие. Не то что ромеи. Те бесчеловечны. Урусы пленных не бьют. Одевают. Еды у них - вдоволь. Доставит степь хоть малый выкуп - ступай себе, друже, домой, да больше не попадайся. Одно плохо - для них, конечно, не для нас, - ленивы урусы. То есть, не то что ленивы, я неверно сказал, работать они здоровы - надо же столько земли перепахать, а медлительны очень, нерасторопны, На подъем тяжелы. Долго думают. От добродушия, что ли, это у них? Забыть его надо. Время какое? Гляди в оба, соображай мигом. А то живо голову снесут. Ты, сыне, не кисни. Изнутри сталью застынь. Иначе - зачахнешь. Ну, пойдём.

- Куда? Ходил уже Идар. Не пойду. Запори - не пойду. Лазутчиком вашим не буду. Убейте, не буду.

Старик изумился:

- Лазутчиком? Эх, милый. Какой из тебя лазутчик. Мешки будешь таскать. Но уговор - не пытайся бежать. Сам на стрелу каленую нарвешься и меня под плети подведешь, - доверяю, видишь, тебе.

- Это хорошо, - сказал он по дороге, - что урусы упрямы. Для них, конечно, не для нас, - вновь отметил старик с усмешкой. - Потому-то и живы, при своей-то неповоротливости. Идара, дружка твоего, уж чем не прельщали беку служить. Не хочет.

Руслан остановился.

- Как? Разве он... разве не сам? Сманывали его?

- Князева жена на колени становилась. Согласись, мол, за князем следить, о делах на Руси козарам доносить. Эх, заживем. Вином, беднягу, поили, плетьюми лупили - ни в какую, «И так весь в грехах. Лучше убейте. Брата вину, свои грехи искуплю. А то - стыдно людей. Арслану - то есть, тебе - в глаза, мол, совестно смотреть: он, говорит, только путь начинает; к чему придет, кем он станет, если подле - подлость одна, сплошь сволочь». Ну, другой напросился. Богатый.

- Как зовут?

Старик усмехнулся:

- Не помню.

- Дородный, веселый?

- Вроде.

- Пучина!

- Может, Пучина, может, Кручина.

Руслана будто по голове ударили - схватился, остолбенел. И впрямь - крот слепой. Какой же ты дурак. Сечь тебя и сечь, чтоб хоть чуточку ума прибавилось...

- Не буду мешки таскать.

- Что? Тоже стыдно? - Старик покачал головой. - Эх, зеленый ты еще, зеленый. Брось. Ребячество. Всех погнали телеги нагружать. Было бы, сыне, из-за чего рисковать. Береги башку, пригодится.

Окраина стана. Вереница больших раскрашенных телег. Возле - кучи плотно набитых

шерстяных мешков. Ишь, бродяги степные. Любят пестрое. Мешки - и те полосатые, красные с желтым. Немало пришлось их перекидать на телеги Руслану. Растянулся, как жердь, на траве. В очах - полосы красные. Долго держал, лежа навзничь, очи закрытыми, пока, приоткрыв, вновь не увидел небесную синь.

- Я слышал, - просипел Руслан. - у степных людей в почете синее. У вас же все красное. А красное - цвет хлебобобов.

- Наверно, от аланов переняли. Аланы, правда, тоже конный народ, но иных корней, арийских. Пристрастны к красному. А мы - на треть аланы.

- То-то вижу: не столь уж вы, козаре, скуласты да узкоглазы, как в наших весях толкуют. Есть носатые, рослые. К примеру, ты - вовсе светлый.

- А мы не козаре. Булгаре. Потомки воинов хуннских да женщин аланских.

- Это как же? Ведь истребили козаре булгар.

- Истребили? - Старик засмеялся. - Попробуй этаких истребить. Стрел не хватит. Ну, было дело лет пятнадцать-двадцать назад. Разбранились наши ханы, Батбай и Аспарух. Первый по нижней Кубани стал кочевать, второй - на буграх, у верховьев. Козаре - то есть, хазары, милый ты мой, видят, булгары в раздорах, значит, сил у них меньше - ударили по Аспаруху. Ничего, не пропал. Ушел на Дунай. Войско царя ромейского, Константина Погоната, вдребезги разнес, взял

Добруджу. Теперь славянами тамошними правит. Без стычек кровавых поладили - славяне рады, что от ромеев избавились. Часть булгар поднялась по Итилю, и сейчас племена идут волна за волной, всю мордву разогнали. А мы, Батбаевы, остались. Может, тоже туда уйдем. Но пока в Тавриде, кочуем, по Бузану - Дон по-алански, по нижней Кубани. Булгары в Хазарской державе - самый крупный, первый народ. Хазар истинных - горсть.

- Однако вы им покорились.

- Считается, что покорились. А так - на свой лад живем. Хазары тоже смесь хуннов с аланами, но в речных долинах сидят. Хлебобобы. Садоводы. Рыболовы. А мы - пастухи, охотники. Хану, бекам своим подчиняемся. Ну, дань кагану хазарскому платим. Каган - из рода тюркских царей Ашина. Потому и сумели хазары нас победить, что тюрки их поддержали. В них большая тюркская примесь. Глянь, вон хазары настоящие. - Он показал бровями на трех молчаливых мужчин, не спеша проходивших мимо. Скулы острее, халаты пестрее. - Встань, сыне, возьми за мешки. Уйдут, - опять дозволю отдыхать.

Поймав недоверчивый взгляд Руслана, он усмехнулся. Да, усмешливый старик, тут ничего не скажешь, только невесело все усмехается.

- Что, дивно: недруг пленного жалеет? Но ведь ты - не железный. Надорвешься, кто купит. Ну, не хмурься. Просто так жалею. Какая мне выгода оттого, что тебя продадут? Я, сыне, и сам... Ладно. Садись. Есть сейчас принесут.

- Хуни, булгаре, козаре... - Руслан вздохнул. - Еще тюрки какие-то. Поди разберись, сколько вас. Кто это - тюрки? Что за народ? Иной, чем булгаре?

- Не то чтоб иной. Тоже с востока, наших кровей. Язык, считай, один, обычаи сходны. Но позже пришли, лет этак сто пятьдесят назад. Хазары до них нам подчинялись, оттого - не любили, живо с тюрками снюхались. Тюрки сперва побили нас, но потом князь Орхан сплотил всех булгар, скинул тюркскую власть. При хане Кубрате, при тезке моем, - старик горделиво расправил усы, - все степное приволье над морем было нашим. Но умер Кубрат - распалось великое царство. И одолели нас хазары с тюрками.

- А кто аланы?

- Сарматское племя. Народ из степей хорезмийских. Издавна здесь кочуют, с туманных скифских времен. Потому-то у всех крупных рек - названия аланские: Дунай, Днестр, Днепр. От

ихнего «дон», то есть поток. Аланы - вроде закваски окрестным народам: во всяком, кто обитает близко к степи, течет боевая аланская кровь. Вся степь к востоку от Дона к приходу хуннов гудела под табунами коней аланских.

- А хуни кто? - выпытывал Руслан. Залез в чертову пасть - сосчитай, сколько зубов. Узнай, как именуются, который острее. Может, увернешься.: - Слышал я, хуни - самый дикий народ на земле.

Кубрат - оскорбленно: - От кого слышал?

- От старших. От разных людей. От волхвов.

- Это, сыне, для истинно диких всякое племя, опричь своего, - дикое, темное. Хунны - точнее, хунну - древний народ, сказал Кубрат. Прародители славных степных племен. Многих, ныне - гордых, племен в помине не было, когда пращур его под этим честным именем пасли стада в дальних синих краях.

... В краях с деревьями с чешуйчатой корой.

С дыханием из острого ветра, слоями подвижных туч, красным песком, на лету хрустящим, белой пылью, до неба вздымающейся.

С заносами из сизого галечника.

С пургою из камней размером с трехлетнего бычка.

С бурей, дождем проливным, с глазом из ясного солнца, со знаком из полной луны.

В краях, где семьдесят речек, с гулом соединившись; где восемьдесят речек, важно и шумно слившись; где девяносто речек, то шагом, то рысью сбежавшись, образуют светлую долину, звенящую, как медь.

Поведешь очами на восток - вдали, как взъерошенный мех на собольей спине, чернеет на горе дремучий лес. Приглядишься к западной стороне - семипроточное море величаво гремит валами. Охватишь взором северную сторону - словно восемь с треском бодающихся быков беломордых, восемь хребтов пятнистых грузно взгромоздились. Глянешь на юг - точно девять жеребцов разъяренных, готовых броситься в драку, девять вершин стоят приосанены.

Не сугробы покрыли равнину - табуны белошерстных лошадей. Не шуга ледяная густо плывет по реке - стада черномастных коров идут по ущелью.

Там вечно кукушки кукуют.

Горлицы нежно воркуют.

Звери фыркают с треском, будто рвут бересту.

Сарычи летают. Петушки порхают. Орлы неустанно парят. Серый журавль за десять дней полета не может достичь края синей долины.

В той синей долине жили пастухи с гладким каменным теменем. С медными лбами, покатыми висками, далеко выступающими скулами. С рысьими глазами. Толстыми губами. Острыми зубами. Сверху сутулые, снизу прямые. С негнущейся шеей, железными плечами, шумно вздымающей грудью. С руками, похожими на скрученное дерево, хватистыми ладонями, плотными темными икрами. С неживчивым нравом, с довольно мрачной внешностью.

Их имя громозвучно мычало на путях-дорогах, слава громогласно ржала на крутых перевалах.

Их стрелы с ревом пробивали семь небес.

В смертоносных мечях отражались губы и зубы юношей, стоявших на противоположной опушке рощи. В наконечниках копий ясно виднелись глаза и брови зрелых девушек, доивших коз на дальнем лугу.

Когда они садились на коней и мчались по степи, их уши звенели, как крылья летящих уток. Воздух сек по лицу, словно бил тальниковыми прутьями. Пар, выдыхаемый конями,

превращался в ледяные комья, со свистом разлетавшиеся на расстояние трех дней пути. Копыта откалывали землю и разбрасывали куски на протяжении пятидневного верблюжьего перехода. Кустарники распластывались, как спинные сухожилия. Деревья ложились, как бычьи хвосты.

Когда они бились с врагом, небо колыхалось, точно вода в бурдюке. Земля колебалась, словно трясина зыбкая. Преисподние черные воды расплескивались, как помои в лохани. Валились вершины утесов. Распадались в пыль и золу крутые скалы. Оползнями плыли глинистые горы. Белые облака сбивались в кучу, черные тучи стремительно рассеивались. В смрадном, вихревом, с клочковатыми прядями дыма, низко нависшем желтом небе переворачивались ржавые и щербатые солнце и луна*.

Кубрат не спеша поведал Руслану, как жадные воины южного царства Хань, внезапно напад на степь, уводили скот, обрекая хуннских детей на голодную смерть, и вождь Модэ, созвав степные племена, свирепо обрушился на лукавых китайцев.

Но однажды подкрался враг, недостижимый ни для мечей зеркальных, ни для стрел, издающих на лету змеиный свист. Усохла степь. В озерах и реках оголилось дно. Луга занесло знойным песком. Зеленые возвышенности превратились в каменистые пустыни. В горах горели леса. Скот вымер. Держава рухнула. Хунны рыдали, как женщины, покидая мертвые долины и холмы.

**По мотивам якутских сказаний.*

Часть пастухов, отбиваясь от осмелевших соседей, бросая в пути повозки, раненых, уставших, которые, отдохнув, обживались на новых местах - с тем, чтоб создать иные союзы и затем удивить белый свет неслыханной доблестью, - двинулась солнцу вослед и за три быстротечных года дошла до большой реки. Чудь лесная ее называет Волгой, болгары, хазары - Итилем.

Здесь пришельцы породнились с уграми - смесью алан с местной чудью, окрепли, разбогатели и переселились на западный берег. Ну, их дальнейшие деяния известны. Больше всех досталось готам и ромеям, они и распустили слух о страшной дикости, бесчувственности хуннов.

Будто хунны столь чудовищны с виду, что их можно принять за двуногих зверей или грубо отесанные сваи.

Будто у них не найдешь даже покрытых травой шалашей - пастухи, точно гробницы, боятся всякого строения. Огня, конечно, не знают. А питаются чем? Кореньями, мясом сырым - его кладут между своими бедрами и спинами коней и нагревают парением.

Будто, как животным, им вовсе незнакомы совесть, честь и божий страх. Они уклончивы в речах. Они свирепы. Необузданны. Проворны. Сокрушают все на пути. Они настолько вспыльчивы и вздорны, что иногда в один и тот же день без всяких причин, просто так, способны изменить союзникам и снова примириться с ними.

- Это мне в Тане ромей-книгочей пересказывал с их умных книг. Мол, предки твои раз надетую рубаху до тех пор не снимали, пока не расплзлась в лохмотья. Голову прикрывали кривой шапкой, волосатые ноги защищали козьими шкурами. А сам, собачий сын, носит парчовый хуннский кафтан, штаны, прическу хуннскую. И ничего, доволен.

Хуже всего, пишут в тех книгах, что хунны пылают неудержимой страстью к золоту. Что правда, то правда. Но он, Кубрат, хочет спросить: а чем занимались готы, ромеи, славяне - все народы к западу от Волги до прихода нехороших хуннов? Нежились в холодке? Лобызались? Пылинки друг с друга снимали?

Нет, милый мой. Резались.

Всю Европу залили кровью.

Походы. Походы. Походы.

Ради чего, скажите на милость? Скучно дома сидеть? Побродить захотелось, друзей навестить? А? Хваленный Рим вовсе не хунны стубили - сами ромеи да готы, франки, вандалы, сарматы. И славяне приложили руки к сему веселому делу. Пожары. Осады. Горы трупов. Время такое. Война есть война. На войне убивают. Так почему же самый худший - кто это делает лучше всех? Учитесь. Кто не велит? Смотри. Старик достал из колчана огромный, более трех локтей, с костяными пластинками на концах для особой упругости, тяжелый лук. Не каждый натянет. А пастухи, слышал Руслан, мечут стрелы за тысячу пятьсот локтей. Вы, урусы, продолжал Кубрат, как и ромеи, китайцы, взяли у нас прическу, покрой кафтанов, широких штанов, - переймите умение воевать. Пригодится. Там, на востоке, еще немало племен хуннских кровей. Они не дрем-лют. И готы всякие не вымерли на западе.

- Нас, болгар, тюрков, алан тоже дикими считают книгочеи. Почему? Обидно. Ведь степной же народ. Весь уклад - для жизни в степи, и здесь мы - первые. Ну, до ромеев ученых нам, может, и далеко. Но посмотри, как расцвела при булгарах Тамань. Со странами заморскими торгует. А у хазар? Ты бы увидел город Самандар, их столицу. Огромный город, богатый, кругом сады. Хорошая или плохая, у нас - держава. А сколько на свете людей еще в лесах сырых в звериных шкурах бегают, жутко покрикивает, бородами леших пугает. Так-то, сыне. И о себе, и о других судить надо честно.

- Откуда про все это знаешь? Ну, про хуннов и остальное. Не жил в их времена, ничего не видел глазами своими.

- Если б у человека только и хватало ума, чтоб толковать о том, что видел лишь сам, он перестал бы человеком быть. К тому ж, положено мне знать. Я - сказитель. Преданий главный хранитель.

- Главный? - Глянул Руслан: сапоги-то у старика... до того износились - не кожа, ветошь.

- Да-а, сыне. Предания - скучный товар. Людям наплевать, что было здесь, на этом свете, - их страсть как занимает, что их ждет на том.

Он побелел, отвел глаза. Руслану показалось - не все сказал Кубрат. Пастух старательно обходил в потоке слов острый камень какой-то тайной и обидной правды. То ли тщился не выдать чужому, то ли сам ее боялся знать.

- Ладно, - вздохнул Кубрат. - Все хорошо. Куда они запропастились? Есть долго не несут.

Руслан сглотнул слюну. Он приложил ладонь к тугому толстому мешку. Сперва и не поймешь, что в нем. Покуда не прощупаешь как следует. Похоже, зерно.

У волхвов есть слова: зерно истины.

Зерно истины - чтоб его нащупать, тоже, друже, надо мешки потаскать. В этих диковинных, грубых полосатых мешках - обыкновенный хлеб, и старик в полосатом халате хочет есть. Как все.

... Глаза у нее - темные, карие, пушистые косы - яркие, светлые, будто в золото их обмакнула. И платье - цвета коры, в желтых, багровых листьях. Хозяйка дубравы. Точно сейчас из пятнистой дубравы осенней вышла, принесла холодок, и солнце, и тишину. От того холодка, что ли, горит, покраснелась.

У Руслана руки и грудь тепло и тоскливо заныли. Обнять бы, спрятать ее у себя, тихонько гладить и пьяно и долго молчать, молчать. Неужто своя? Славянка? Нет. Гляди - углы клубничных, вкусных, русских губ вдруг опустились резко, по-чужому. И слышно в ней упрямое, недоброе. Видно, зла и неприступна.

Карие глаза встретились с синими. Точно два янтарных жука сели на два василька. Сели - и сразу отлетели. Она подала Кубрату красный узелок, заговорила с ним глубоким, переливчато густым, текучим, тягуче печальным, местами с перезвоном, холодным и свежим, двойным осенним голосом - словно дальнее долгое эхо лесное ей тут же отвечало.

Старик исподлобья взглянул на Руслана. Отвечал он сбивчиво, устало, неуверенно.

Она закрыла глаза, приложила узкие ладони к вискам. И не то вздохнула, не то со стоном зевнула - будто волчица взвизгнула. Нехотя - ах, идти, не идти, и куда идти, и зачем? - поплелась было прочь. Вдруг остановилась. Обернулась. В сумрачных ее глазах вскипела опасная мысль.

- Эй, человек! - окликнул Руслана старик. - Уснул? Ешь. Мясо холодное ешь. Пей кумыс. Опять мешки таскать.

Руслан прикусил губу. Рассеянно глянул на скатерть, на небо в белых облаках, шатры, телеги. На траву - может, следы остались. Нет. Все истоптано.

- Чудо.

- Потому - Баян-Слу. То есть богатая красотой. Дочь моя, - пояснил он с грустной гордостью. - Ты ешь, сыне, ешь.

- Не похожа на ваших женщин.

- Разные у нас. Говорю, мы смесь. Своих чужим не отдаем, чужих берем. Бабка у меня - из северских славянок. Мать аланка. Жена, от которой Баян, остроготка. Звали ее Брунгильде. По-ихнему это Смуглая Удадь. Кажется, так. А по-булгарски выходит - раньше, то есть давно, пришла, досталась. Я дразнил: «Ты - прежде досталась, теперь мне нужна Сунгильде, пришедшая позже». И женился, - старик с тоской усмехнулся, - на пленной угорке Сунь. Обеих уже нет. Жаль.

Руслан - безнадежно:

- Верно, замужем.

- За князем Хунгаром, господином нашим.

- За князем... - Русич лег на спину, руки сложил под головой.

- Эй, ты чего? Ешь.

- Нет. Расхотелось.

Князь - он везде успеет.

Синь, Облака. Будто прямо в синих, с белками снежными, нежных твоих глазах коршун кружится, стан стережет. Не убежать. Злой коршун, зоркий, меткий. Золотой иволге смерть.

- Угрюма. Хворает? Не скажешь.

- Другого любила. Зарезал Хунгар.

- Зачем отдал, нелепый старик.

- Бек. Хозяин степи. Сам не приехал - нож свой прислал. С ножом обвенчали. Наш род захудалый, слабый. Что дочь - весь род взял в услужение.

- Ух ты! У нас не так.

- Получше?

- Сходятся селами на игрище, брагу пьют, пляшут, поют - тут и жен выбирают, кому какая по нраву.

- Сколько тебе?

- Осьмнадцать.

- Успел?

Покраснел юный смерд.

- Присмотрел было одну.

- Ну?

- Князь упредил. Видал ты ее. Людожирица, Идарова любовь.

Руслан, морщась, прикусил ладонь.

- Заноза?

- Ага.

- Говоришь - у нас не так.
- Голодали. Не до них.
- Ну, дело прошлое. Вставай.

Руслан выгрыз занозу, поплевал на ладони, потер одну о другую, ухватился за грузный мешок - и только вскинул его на плечо, как за спиной, будто это он взвихрил их вместе с мешком, раздались крики, гул, звон и топот.

Сверг мешок с плеча на телегу, глядит - мимо едет черный старик с огромным бубном в черных руках, весь в лисьих и волчьих хвостах, медных бубенчиках. Пасть - до ушей, в ней зубы большим снежным комом, а глаз почти не видать: две искры в грубых морщинах блещут. Позади, выступая из-за холма с каменной бабой, следуют конники в шубах мехом наружу.

- Брось. - Кубрат отрешенно махнул рукой. Дескать, ну их к бесу, мешки. - Рогатку надень. Не то зададут нам плетей. Пойдем. Большой бахши приехал. Главный волхв степной.

- Я уже мнил - не увижу боле Еруслана. Не пытался утечь? И не надо пока. Может, в пути. Наших тут всех тоже гоняли мешки таскать, телеги править. Ну, двое за бугор уползли. А там - заслон. Засекли, горемычных.

- Овечьего сала принес. Спину смажем.
- Вот спасибо. Где разжился?
- Старик в тряпицу завернул. Только молчи. Боятся, заругают.
- Чудной старик. Жалеет. Чего это он?
- Сам не пойму.
- Растопить бы.
- Где растопишь?...
- К тому бы костру.

В их печальных глазах ослепительно вспыхивал, бледно сникал колеблющийся свет большого пламени, которое желтым вихрем, закручиваясь от ветра то в одну, то в другую сторону, текуче ложась, внезапно взметаясь разоренным соломенным стогом, судорожно билось возле загона в дикарской пляске.

Подходили воины, бабы, дети. Молча садились в круг.

Что затевают? - подлез Идар под телегу.

- Прибыл главный бакшей, волхв степной.

Словно отделившись от костра обрывком пламени, со звоном возникло в кругу лохматое существо с большим, точно княжеский щит, бубном в цепких руках. Желтые волчьи, лисьи хвосты трепетали, взвивались, как пряди огня.

Уныло прозвенели бубенцы, подвески. Покорно стихли. Прозвенели еще, уже настойчиво, тревожно. Опять умолкли. Вновь зазвенели, сильно и зло. Будто стреноженные кони встряхивали удилами в горящей степи. Или узники - долго, гневно, все отчаяннее - цепями, прикрепленными к столбу, в подвале, заливаемом половодьем.

И вдруг бубен ахнул - так гулко, нежданно и режуще внятно, что по кругу окаменелых болгар, по ряду пленных, распластавшихся под телегами, прокатился крик ужаса.

И загудело, зарокотало в раскаленном воздухе, словно кто-то черный, неохватный, склонившись над станом, произносил жестоким голосом слова упрека и угрозы.

И лохматое пылающее чудище, с маху ударяя колотушкой в бубен, медленно двинулось окрест трескучего костра, мерными рывками поворачиваясь вокруг себя, вытягивая лапу, сгибая колено, плавно вскидываясь то на левой, то на правой мохнатой ноге.

Когда, однообразно дергаясь, диво ступало меж костром и загоном, го темнело до жаркой, багровой черноты с дымным рыжим налетом, переходящим в белые пятна по растрепанным бокам, и пораженным пленным казалось, оно извивается прямо в костре.

Грохот нарастал до нестерпимости, тоскливо стихал. Ветер охапками отрывал от костра огонь и дым, кидал их к подножию каменной бабы, накренившейся на холме, и она, золотистая, важной участницей радения строго глядела сверху на сборище.

- Колдуют, - прохрипел Идар.

Засмотрелись - забыли спину ему салом натереть. У Руслана самого спину, жутью исхлестанную, будто инеем обнесло. Один из пленных, Карась, сказал, задыхаясь:

- Я малость разумею по-ихнему. На торге встречались на Хортице. Слышал сегодня - князь их плох. Кияне ранили.

...Грохочет бубен. Пляшет бахши. Сверкает огонь.

Оцепенели болгары, будто зелье сонное пили.

...Грохочет бубен. Пляшет бахши. Блещет огонь.

Онемели, одурели пленники.

...Грохочет бубен. Пляшет бахши. Свищет огонь.

Быстрее. Быстрее. Быстрее.

Грохочет бахши.

Пляшет бубен.

Кричит огонь.

...Ох, трудно. Невмоготу. Тройтся в глазах.

Грохочет огонь.

Стонет бубен.

Рычит бахши.

...Болгары сиротливо завывали.

Грохочет мозг.

Скачет бахши.

Стонет огонь.

...Пленные принялись подвывать.

...Грохочет бубен. Пляшет бахши. Плачет огонь.

Быстрее. Быстрее. Быстрее.

Грохочет бубен...

Грохочет бубен...

Грохочет бубен...

...Пляшет бахши.

...Пляшет бахши.

...Пляшет бахши.

Блещет огонь...

Блещет огонь...

Блещет огонь...

Быстрее!

Быстрее!

Быстрее!

Бахши с воплем рухнул наземь.

Идар с жутким ревом встал на колени, запрокинул голову. С яростью вонзил ногти в лоб, глаза, губы, десны. Вскочил, перемахнул черва телегу - и жадно слился с пламенем.

- Сильный бахши, - говорили наутро в стане.

- Знахарь Кубрат, - усмехались юнцы, которые, конечно, знали больше всех, - бог Хан-Тэнгре еще не удосужился их высечь, - уж каких заклинаний не шептал над раной. Чем ее только не пользовал. Золой посыпал. Козье легкое, творог, баранью шкуру свежую

прикладывал. Натирал горячим корнем чемерицы. Смазывал топленным жиром. Ничего не помогло. А бахши...

Пожилые, бывалые, битые:

- Нет. Кубрат тоже сильный. Но он - знахарь. Знахарь лечит травами, листьями. Толченой костью. Ртутью, серебром. Кровью птиц и зверей. Он лечит тело. Он над душою не властен. Над нею властен бахши.

- А душу Хунгара, сказал бахши, похитили злые духи. Душа бахши пустилась искать душу хворого бека. Оказалось, злые духи спрятали ее в тело уруса. Урус был слабый, больной после плетей - вот и су-мели втиснуть. Помните, как страшно он закричал? Духи не хотели отдавать бекову душу, и душа бахши схватилась с ними.

- Это когда бахши кружился?

- Тогда он летел в потустороннем мире. Боролся с духами, видно, когда упал, стал биться, корчиться на земле, испуская пену.

- А-а...

- Душа бахши кинула тело уруса в огонь, чтоб высвободить душу Хунгара, И душа Хунгара вернулась к хозяину.

- А куда урусова девалась?

- Кто знает. Может, у них вовсе нет души.

- Почему?

- Не люди.

- У всех есть душа. Даже у камней.

- Ну, тогда улетела к себе домой, на Русь,

- Или бродит где-то здесь. Берегите детей.

- Очень сильный бахши.

- Проснулся?

- Спит. Желтый, тихий, Не лучше Хунгара.

- Устал. Легко ли - сражаться с духами.

- Сильный бахши.

- Хунгар-то - сразу очнулся, пить попросил,

- Как он теперь?

- Лежит с открытыми глазами. Даже говорит. Правда, шепотом. Чуть живой.

- Ничего, окрепнет. Теперь пойдет на поправку. Душа вернулась к хозяину...

- Зачем звал?

Смотрит в сторону. Угрюмая. Как всегда. Хунгар искажил серые губы в усмешке.

- Хоть бы для виду спросила, лучше мне, хуже. Может, хочу чего. Ведь хворый. Чужие, совсем чужие - и те не бессердечны к хворому. Пусть показную, но выказывают заботу. Так заведено между людьми. А ты - жена.

Не шелохнулась.

Чудовище. К чему тебе красота, создание бездушное? Красота - доброта. Ей положено быть нежной. Только тогда от нее тепло и радость. Со сварливостью, черствостью, тупостью - она страшнее уродства. Уродство небольшое несчастье. От него плохо лишь уроду. Злая красота - беда для всех.

Хунгар будто впервые увидел жену. Вот дрянь. Кто ты есть, в самом деле? Чьих чистых кровей, что налилась до бровей, как мех по завязку - пенистым кумысом, этаким достоинством босым? Дочь нищих: глупого оборванного сказочника и готской рабыни, готовой на все ради хлеба. Отребье. В грязных ромейских вертепах, среди вонючих шлюх место твое, а не в шатре

степного бека.

Смотрите, а? Всякую пеструю козявку изводит зуд казаться синей бабочкой.

Сколько сил, сколько дум, и тревог, и времени ухлопал Хунгар, лелея пустое место. Нет. Ничтожество - не пустое место. Хуже. Пустое место безвредно. Ничтожество - опасно, ядовито. Оно жалит. Сколько зла при-шлось снести от гадкой твари.

Надо было прогнать ее к бесу, а лучше - продать в Корсунь, в дом терпимости, и отца ее туда - прислужником, завести ораву толстозадых жен и ласкать их себе на здоровье. Жаль, поздно поумнел,

Н - ну, ничего. Он возьмет свое напоследок,

- Прочь, чертова дочь! - гаркнул Хунгар по-былому. - Эй, есаул! Спишь, осел? Грох в горох твою мать. Живо найди мне Уйгуна.

...Голова гудит, в сердце боль. Серую похлебку, которую дают раз в день, по утрам,- проворонишь, до завтра сиди голодный, - и ту не хочется есть.

Слушая гомон веселых болгар, видно, довольных ночным событием, Руслан бесился: тоже язык. Ничего не понять. Зверье. Потом его осенило: по нутру тебе их речь иль нет, не перестанут пастухи болтать по-своему. С волками жить - по-волчьи выть. Учись. Сгодится. Бог весть, когда домой попадешь. И попадешь ли когда-нибудь,

Он нетерпеливо ждал Кубрата. Там еще груда мешков на земле, должен позвать. Кубрат его позвал, но ни Руслану кидать те мешки, ни Кубрату его понукать явно не хотелось.

- Ворочай потихоньку. Управишься до вечера, и хорошо. Скучно. Потолкуем.

- Учил бы меня по-вашему.

- Да? Добре. Только не сейчас.

- Ожил твой зять?

- А? Ожил, ожил! - сам ожил мрачный старик.

- Сильный бахши.

- О! Сильный. Наверно, сильный. Однако, - старик оглянулся, понизил голос, - не бахши Хунгара вылечил.

- А кто?

- Я с вечера дал хорошее питье. Отвар из редких трав. Здесь, на Днепре, их отыскал. Но все говорят - бахши хороший. А меня... ночью даже к костру не пустили

- Это почему?

Бахши не любит знахаря, знахарь не любит бахши. Он в бубен стучит, кричит, незримых духов гонит. Но хворь не дух. То есть дух, но не бесплотный. Хворь бродит в образе бабы, птицы, змеи. Ее можно потрогать. И одолеть только тем, что можно потрогать: амулетами, травами. И еще - слышимой речью. Всем, что создано синим небом,, которое тоже всякий видит над собою.

- Если бахши непричастен... что стало с Идаром? Зачем... - Смерд заплакал, жалкий, брошенный, совсем по-детски.

- Кто знает, сыне, кто знает. Знает один Хан-Тэнгре. Один Хан-Тэнгре. Он добрый. Он мудрый. - Кубрат долбил истово, тупо, с испугом - а вдруг божество не поверит его чистосердечию. - Он ясный. Хороший. Верь ему. Он поможет. Светлый Хан-Тэнгре. Славный Хан-Тэнгре. Великий...

Опять кровь. Весь бок намок. Бек зажал рану скомканной рубахой, сказал прибежавшему брату:

- Слушай. Давно... ты был малышом - ударил я тебя по щеке, всю жизнь сердце болело. Каюсь до сих пор. Прости. Я ухожу. Не хнычь, не девушка. Дай руку...

Он почти перестал дышать. И, боясь - не доскажет, судорожно, с хрипом, лишь горлом, а не

глубью легких, втягивал воздух, бил кулаком в неподвижную грудь, чтоб ее всколыхнуть.

- Запомни мою речь.

Ты - из рода Аттилы.

Не подпускай к себе непутевых...

...Чтоб о тебя до визга обжигались.

Никому не давай пощады...

...Особенно - урусам.

Это хитрый народ. Терпеливый. И - переимчивый. Засели в лесах, болотах. Сквозь кусты глядят, на ус мотают: у кого что хорошо, что плохо. Ждут, молчат...

...Они - наша смерть.

Режь их, где можешь...

Рот его наполнился кровью. Захлебываясь ею, он сплевывал на руку брата, охал, кашлял, мотал головой, скрежетал зубами.

- Жги под корень всякую лесную, горную и город-скую нечисть. Держись за степь, за тех, кто в ней живет по старому укладу. За все степное... Не позволяй болгарину пахать.

Помни: первая борозда, проведенная болгаринном, станет прямой тропой к могиле нашей славы...

...Держи в чистоте голубую кровь.

Оттого и пала - кха, кха - хуннская мощь, что без разбору мешались с разной встречной поганью...

...Я ухожу. Сделай все как надо.

Слышишь? Сделай хорошо... души... никому пощады... - испустил он дух с змеиным шипением.

Уйгун в слезах бросился наружу.

...Она схватила его за запястье, потянула за телегу. «А сильная», - подумал Руслан. Не размыкая длинных пальцев, стиснувших запястье, опасно пригнувшись, обратив к нему снизу мокрое от слез, жаркое лицо, ладонью другой руки будто ребенка, незримо стоящего рядом, торопливо и ласково хлопает по плечу. Сообразил - сесть велит скорей.

Золотые волосы распущены, распущены.

Видно, только расплела толстые косы, расчесала, как что-то недоброе с места ее сорвало. Не успела убрать. Сколько волос.словно охалка свежей, блестящей соломы.

И одета просто. В прямую, узкую и длинную, до пят, рубаху белую с широком алой каймой внизу, над краем полы. Рубаха развязана спереди, и грудь одна, как ясный месяц, вся наружу. Кинулась на траву - с узкой белой ступни слетела легкая обутка: босовичок, расшитый бисером.

Совсем по-домашнему она прибежала к нему - будто к мужу своему...

Схватила, надела обутку. Заговорила двойным осенним, с эхом, голосом, все озираясь, куда-то порываясь, то вскакивая резво, то плавно падая на колени, плотно обтягивая рубахой упругую и тяжкую, подвижную емкость круто выпуклых бедер.

Самой певучей, мягкой, задушевной, лучшей на свете показалась ему степная шипящая речь. Отяжелела у Руслана голова, помутилась. Трудно дышать.

Он еле произнес иссохшими губами:

- Чего она хочет?

- Бежать, бежать! - Кубрат, растянувшийся на траве, безутешно потряс над голой головой ладонями. - На Русь с тобой хочет бежать. Умер проклятый бек.

Умер? То - то в стане бабы стонут.

Вовсе ошалел Руслан. Кровь давит, вот прорвется, из ноздрей хлестнет. В глотке - камень.

- Зачем... бежать? Вольная теперь.

- Э! Ничего ты не знаешь...

Баян - Слу взяла отца за шиворот, трясет: «Русь, мурен, ат, эта, арслан». Старик мотает головой, она его тащит, понукает. Взыл старик, подхватился, хрипит: «кыр, кыр», - машет в сторону степи. Убежал.

На бугре - никого. Лишь баба каменная. Ну, она не подымет шума. Нема. Женщина тянет Руслана за локоть, стелет ладонь по траве - мол, поползем. Скорей прочь от стана. Рехнулась! Разве от них уйдешь? А Баян-Слу бледно-смуглая торопит, журчит. Прозрачно. Сердечно. Грустно. Словно Рось в осеннем лесу. Улыбнулась умоляюще. Поцеловала в губы солеными от слез губами. Приложила пальцы к невысокому лбу. Вспоминая, нахмурилась. Нашла, блеснула глазами:

- Комонь.

Мол, отец коней приведет. И опять зовет его в степь.

Он медлит. Загремели копыта...

Руслану убить себя захотелось. Такое росисто сверкающее, солнечное - и от света, от чистоты совсем младенческое, до боли жалкое - блаженство загорелось в ее впалых темных глазах. Загорелось - и угасло. Глаза остекленели. Изнутри, из самых тайных глубин, с неслышным воем всплыла и двумя звенящими льдинками, застыла жуть.

Чужой человек, не Кубрат, жестко пролаял над ни-ми сумрачным басом, ломающим слух:

- Баян-Слу!

Они поднялись, немые и страшные, будто пойманные в час греха. Женщина с воплем вцепилась в огненные волосы. Затем вонзила ногти в губы Руслана. Их развели, скрутили. С него поползла ветхая рубаха. Обнажились белые плечи. Баян-Слу задержала на них дикий взгляд - и с ненавистью отвернулась.

И вспомнил Руслан слова Неждана:

- Эх, сорвалось! Вот неудача...

Неужто Кубрат их выдал?

Их поволокли к холму.

Здесь, перед каменной бабой, чуть ниже по склону, на свежееотрытом уступе лежал на куче сучьев, накрытых ковром, в новом желтом халате желтый бек Хунгар.

Желтые губы, казалось, злорадно усмехались. Подвели еще трех связанных пленных: хворого смерда, девчонку, костистую бабу. Смерд сокрушенно вздыхал. Девчонка тоскливо плакала. Женщина - смеялась. Видно, радовалась, что от полона, полного мук, избавилась.

Или тронулась умом.

Баян - Слу вдруг рванулась, забилась - и сбросила пути. Ей сверху донизу разодрали рубаху, и перед помертвевшим юным смердом открылись круглые груди, белый, чуть выпуклый, живот, золотистый пах, смуглые колени.

Глаза их встретились.

Она сникла, застеснялась. Попыталась дрожащими пальцами запахнуть рубаху. Края одежды вырвались из пальцев, и опять она вся оголилась перед ним. Прикусив губу, нагнула голову, одолела непослушную ткань и выпрямилась, каменно белая, без слез и надежды,

На нее натянули алое платье, надели браслеты. Связали руки за спиной, заставили опуститься на колени. Тишина... Тишина-а. Тишина-а-а. И черный бахши. В руке - короткая палка с большой, с кулак, медной шишкой на конце. Баян-Слу опять взглянула на Руслана. Прости. Не сердись. Ладно? Бахши с маху, точно колотушкой по бубну, ударил ее дубинкой по левому виску. Сгреб, положил к ногам Хунгара.

Пленных подтолкнули ближе.

Бахши убил хворого смерда, девчонку, бабу, растянул их по краю уступа. Подступил к

Руслану. Протянул к нему цепкую черную руку. И тут на нее легло короткое алое древко с конским хвостом.

Хазарин. Скулы острее, халат пестрее.

Переполох. Перебранка. Длинный юный болгарин, щеря зубы, наседа на хазарина. Хазарин, мрачней, взмахнул хвостатым древком. Юный воин и старый бахши попятнулись. Хазарский бунчук оказался сильнее дубины бахши.

Булгары положили рядом с усопшим трех убитых коней, сбрую, меч. Копье и лук, колчан со стрелами. Свернутую палатку. Поставили котлы с едой. Завалили все хворостом. Подпалили...Завопили, завыли булгары.

...Золотые волосы соединились с золотым огнем.

Истукан с насмешкой смотрел на Руслана: хотел увести? От меня не уйдешь. Пылал костер. По лицу истукана плясали дымные тени. Каменные глаза кроваво вспыхивали. Огонь начал спадать. Идол, словно насытившись, уснул, умиротворенный, еще на век. По его довольному, благодушному лику казалось: он смакует во сне череду юных жизней, загубленных у его подножия.

Огонь угас. Пепелище засыпали землей.

...Улетела золотая иволга.

Сходя с холма, Руслан задел босыми ногами что-то легкое, яркое. В траве, присыпанной летучим белым пеплом, поблескивал бисером уютный босовичок. В стороне сиротливо лежал кверху подошвой второй...

СМЕХ И ПЛАЧ АФРОДИТЫ

*Одна из жен морских (ее Гадбургой звать)
Сказала: «Рыцарь Гаген, готовы мы сказать,
Коль, витязь, нам сорочки наши возвратите,
Чем вы свою поездку
в пределы гуннов завершите?»
«Песнь о Нибелунгах».*

В пути их держали вместе, рук уже не вязали, и ночами, в жаркой темноте, а то и при свете, на дневных привалах, женщины, после всего, что довелось увидеть и пережить, - сейчас ты здесь, а через час... куда твоё тело денут горячее? - с жалкой бесшабашностью, плача от стыда и радости, сходились с мужчинами на скудной траве, стараясь до дна вычерпать ласку и боль.

Лиходеи не мешали. Усмехались: мол, пусть. Овца с бременем стоит дороже...

Злосчастные пороги - позади. Степь да мутно-белая речка. У изгиба ее булгары разделились. Разбили надвое и кучу пленных.

И теперь, когда их опять развели - и развели, похоже, уже навсегда, женщины обливались слезами, не отнимая жадных, благодарных глаз от хмурых и бледных мужчин. У многих внутри завязалась новая жизнь,- он предстояло вечно прозябать в угрюмой безотцовщине.

Руслан - он был не здесь, он был с Баян-Слу. Однако нашлись и для него на прощание тихий взгляд и родственное слово. Синеглазая девчушка лет трех, которую он прежде видеть не видел, тянулась к нему нематыми ладошками:

- Тату, та-ату.

Мать ее, маленькая, плоская, невзрачная, стесненно и бледно улыбалась: глупое дитя - юнца признала за отца, и жалеючи оглядывала Руслана. Добрый. Упустила. Где была? Авось не

оттолкнул бы. Побоялся обидеть обделенную, никому не нужную. Теперь не достанешь.

К дальнему зову Калгастовой матери, к смуглым словам, что уныло баюкали слух,- Баян-Слу,- прибавилось новое слово, певучее, твердое: тату, тоже странное, но таившее иную ласку, теплоту и печаль.

Легкий отряд увел детей и женщин вниз по молочной речушке на юг.

- В Тавриду, - скупно пояснил Кубрат. - На торг ромейский.

- А нас куда?

- Вас - в Тану. На восход. Где Дон впадает в море.

Им нередко попадались речки - одни крупнее, с галькой, песком, с кустами на берегах, другие мельче, в тине и глине, третьи - вовсе худые, почти сухие, с лужами в нечистых углублениях. Но воды, слава богу, хватало.

Слава богу. Слава богу. Руслан уже не знал, какого бога славить. Кого благодарить за спасение. То ли Рода, то ли Хан-Тэнгре. И думать о них не хотелось.

Ой, Баян-Слу, баяла ослу - скорей, а он, тугодум, ушами хлопал, прохлопал счастье. Верно сказал Кубрат: нерасторопны урусы. Чего было ждать? Хватай да беги. У болгар каждый вздох - наудачу, шагу не ступят без риска, и то живут.

Он донимал старика расспросами, но Кубрат отвечал неохотно и кратко - будто таил на него обиду, хоть сам и старался держаться поближе к Руслану, ехал все время рядом на облезлом осле.

Почему разделили пленных?

До ромейского торга - рукой подать, к тому же он выгодный. Вот и погнали туда ребятишек и женщин. И мужчин увели бы в Корсунь, но хазары берут их кагану в дань. Потому и Руслан уцелел. Кагану надобны и крепкие невольники. В телохранители, наверно, их определит.

Зачем убили Баян-Слу, с Хунгаром положили? Его достояние. Попробуй оставь - мор и гибель найдет на степь. Злой человек. Меч ему затупили, наконечники сняли со стрел, чтоб живых не разил... Кто выдал Кубратову дочь?

Страж лежал на кургане за истуканом. Да и в шатрах ее хватились. Увидели - Кубрат у коновязи, сразу догадались, что к чему. Не дураки. Скорей - на лошадей...

Почему его не наказали?

Как это - не наказали. Били. Ругали. Доли в добыче грозились лишить. И строго велели следить за Русланом. Он, мол, самый опасный среди пленных. С виду тихий, это и плохо. Думает, думает... Кубрату - испытание. Уйдет урус - Кубрату смерть. Его бы и сейчас Уйгун, Хунгаров брат, с костями съел. Пастухи не дают. Тоже не дураки. Приметили: пока Кубрату не закрыли путь к Хунгару, бек жил, хоть и хворал. Закрыли - умер Хунгар. Значит, Кубратовы травы сильнее бубна бахши. Значит, Кубрата надо беречь...

Что сделали с бахши? А что с ним могут сделать? Умер Хунгар, - суждено ему, значит, было умереть. Все в руках Хан-Тэнгре...

Он рассказал на стоянке:

- Гадал я, прежде чем войску уйти за Днепр. Камешки горстью метал. Самая крупная галька дальше других укатилась. Попала в костер. Говорю Хунгару: берегись. Обругал, все по-своему сделал. И угодил в огонь.

- Кидали мы камни на речке. Мелочь падает ближе, хоть с той же силой бросаешь. Оттого, наверно, что вес у нее невеликий.

- Разве? Хм. Не знаю. - Подумав, добавил, будто и не к месту: - Наши деды, печась о племени, отдавали Хан-Тэнгре вождей. Властвуй год по уговору, все твое: ешь, пей, бесись, веселись, делай с нами, что хочешь, а минет год - ложись на плаху...

Перед ними возник молодой угрюмый воин в белом колпаке с черной кисточкой, с

бархатными, тоже черными, загнутыми кверху полями. Кафтан узок, с рукавами до локтей, кофровые штаны широкие, прямые, с разрезами внизу. Из-под них торчат кривые носы сафьяновых красных сапог. Сбоку, на поясе, меч, за спиной - круглый щит.

Руслан приметил: мечи - у начальников. У простых - длинные копья, а чаще луки да стрелы. Даже ножей почти не видать: нужно, скажем, прут обстругать, овцу зарезать, шкуру снять с нее - орудуя острым, как нож, плоским наконечником стрелы.

...Узнал его Руслан - тот самый, что с хазарином спорил на холме.

- Уйгун, Хунгаров младший брат,- шепнул Кубрат. Отвернулся, уныло запел. Словно заплакал, запричитал голосом тонким, протяжным. Уйгун сел рядом, подпер кулаками скулы.

Руслан:

- Эх, отче. Песни у вас...

- Что?

- Не больно веселые.

- Видишь - степь. И небо - огромное, пустое. И так - тысячи верст, тысячи верст... - Старик с надрывом вздохнул, скорей зевнул тягуче и зло, с переходом в приглушенный вопль. («Как тогда Баян-Слу,- подумал Руслан - И Калгаст на реке...») - А мы... все бродим, чего-то ищем...

- Одуреешь - всю жизнь кочевать.

Уйгун раздраженно бросил Кубрату пять-шесть гортанных, шипящих, рычащих слов. О чем, дескать, речь. Старик перевел. Княжич встрепнулся, взмахнул кулаком. Говорил он резко, хлестко. Будто пленных плетью стегал.

Кубрат сурово пересказывал:

- Говорит: как это можно - вечно сидеть на месте? Все равно что на привязи. С тоски сдохнешь.

...Вот на Кавказе иберы, албаны, армене - тысячу лет в горах своих киснут, в тех же долинах. И что? Ни одного путного племени нет среди них.

...Вроде крепкие, храбрые и все такое, ученые, гордые - не подступись, а стоит нам, степным скитальцам, у которых добра: конь, стрелы да ненависть, гикнуть да кинуться, скрежеща зубами,- куда все девалось! Прячутся в башнях, как суслики в норах. Извечно их бьем. Если б не кручи, не башни на кручах - давно бы под корень тех храбрецов извели.

...Ладно, пусть живут. Всех изведешь - некого будет грабить.

...Народ должен бродить по земле. Идти, куда звезда манит и ветер гонит. Ходить, встречаться с другими народами. Одолевать их. Они одолеют - не хныкать. Брать у них скот, зерно и женщин - и никогда твой корень не засохнет, Мы, хунны, откуда пришли? Страшно подумать. И куда уйдем? Неизвестно. Но нигде не пропадем. Так и знай...

В речах Уйгуна смерд уловил обидный намек на Русь.

- Бродили одни в наших краях, И забрели - к черту в пасть. Их обрами, помнится, звали...

- Ну и что? Никуда те обре не делись. Живут. Породнились с нами. Мы тоже - хуннами были, булгарами сделались. Может, еще кем-нибудь - хазарами, тюрками - станем. Или вовсе по-иному назовемся. Меняется имя. Меняется речь. Кровь и дух - остаются,

Ишь ты. Умен. Руслан проворчал:

- А эти армене, иберы, как их там кличут, и русы на месте, сидючи в башнях, в лесах, и чистую кровь, и речь, и старое имя свое берегут, и тоже - живут, сколько б их не терзали. На месте - камень, летает пыль.

- Летает птица. Камень мохом обрастает.

Пожалуй, серпень минул давно, да и врсень уже на исходе.

Не поймешь в серых голых степях, где нет серпов, хлебов созревших и нечего врещи - молотить, какое время приспело. Без привычной работы оно не идет, не стоит - его просто нету.

Так, туман. Пустота. Привычное дело на привычной земле, На родине то есть. Попал на чужбину - и время куда-то девалось. Сон. Бред. Прозябание.

... Далеко впереди, на востоке, низко над степью, знойно-белесое небо сгушалось в тесьму голубой зыбкой мглы. Стало прохладнее: Легче дышать. Тесьма темнела, ширилась: сквозь пыль она казалась сизым стелющимся дымом. Потом земля диковинно укоротилась, а небо исподволь распалось надвое: сверху блеклое, в грудах четких облаков, ниже - яркое, белой каймой, тоже в облаках, но расплывчатых. Руслан - изумленно:

- Неужто край света?

- Море, - сказал Кубрат.

...Пленные, гогоча, окунались в зеленую воду, но Руслан, тайно смеясь, стоял в стороне. Он ликовал - и робел. Он не смел подойти. Как, бывало, не смел в хороводах подступить к желанной Людожирице...

Мать рыдала на плече Уйгуна:

- Ой, Хунгар! Сын мой бедный. Что он сказал? Какими были слова его последние?

Уйгун молчал, припоминая... - Велел передать тебе низкий поклон.

- Похоже, славный был город.

- Похоже.

- Видно, хунны твои разорили.

- До них, слышать, пустовал.

- Кто успел?

- Вроде готы...

К северу - степь, цепь бурых курганов могильных. Ближе ряды тоже бурых, округлых, похожих на бугры, болгарских войлочных юрт. К югу - зеленое, синим паром подернутое, море плавней донских: камыш, кусты, деревья редкими кучами точно плывут в блеклую даль, которую глазом трудно достать.

Гора. На горе - развалины стен из кривых белых камней. Между стенами груды таких же шербатых глыб, присыпанных темным прахом, снаружи - рвы с чахлым бурьяном на дне и откосах. Под горою река, у берега струг с ветрилом свернутым. Люди. Жилье. Стада. А все равно пустынно, тихо, сонно. Богом забытое место, И впрямь - край света.

Неужто и вправду здесь был город, большой и богатый?

Пятый день пленные в Тане. Сразу, только пришли и чуть отдышались, их заставили стену ломать, камни таскать за глубокий ров, складывать в кучу. Ветер степной подхватывал рыхлую, с древней золой, взрытую землю, рассеивал в пыль, крутил меж уступчатых стен густые серые столбы, сажал на пленных, стараясь их оторвать от земли, прочь уволочь. Отбиваясь от горячих вихрей, колодники сами становились сплошь серыми и плевались жидкой черной грязью.

Глаза, отравленные щелочью летучей золы, жег вечерами кислый дым камышовых костров, подле которых люди спасались от злых и звонких комариных орд, по-хуннски, волна за волной, наступавших с глухо увитых туманом душных плавней.

Руслан потрогал багровой ладонью плечо, ободранным ребристым камнем. Больно. Но что ему боль? Обидно.

- На что вам камни, пастухам, - вместо овец гонять по степи?

- Нам камни ни к чему. Правда, строим порой загоны зимние. Но эти, - старик кивнул на груды глыб, сложенных за рвом, - нужны ромейским святым. Видишь, черный ходит по стене, - показал он на босого человека в подпоясанной веревкой ризе с башлыком, опущенным на тощее лицо. - Их главный. Очень святой. Пьет воду сырую, ест хлеб сухой. Обитель хочет здесь возвести.

- Зачем ему, дохлому, обитель?
- Бога о счастье молить.
- Опять бог. Он повсюду.
- О чьем счастье?
- Говорит, о людском.
- А мы кто, камни за него ворочать?

Неужто мать всю жизнь мучилась с ним, берегла, болгары с места снимались, тащились в чертову даль, на смерть, хватали его, вели через степь - ради серых мертвых камней, чтоб Руслану носить их без толку о одной стороны сухого рва на другую?

- У наших беков с ним договор, - проворчал Кубрат. - Построит обитель - станут ездить с Тавриды ромеи, откроют базар. Бекам хорошо. Будут с товаров пошлину брать, богатеть.

Беки, ромеи. Экая чушь. При чем тут смерд из далекой Семарговой веси? Что за дело ему до беков болгарских, ромейских святых, которых он знать не хочет? И что за дело им до него, чужака? Чем он причастен к их треклятой затее?

- Откуда мне знать? - Нынче старик на редкость злой. Того и гляди, взревет, примется плетью хлестать. Ну, он-то понятно, отчего свиреп. Почему другие болгары угрюмы?

Домой вернулись с победой, живы, здоровы - плясать бы от радости надо. Куда там. Сидят у рва, как сычи над разрытой могилой. И в стане не слышно шума, разговоров, песен. Лишь кое-где бабы плачут. По Хунгару, убитым воинам тоска? Может, и так. Но все равно в первый день глядели веселее. К смерти привычны. Здесь, уже в Тане, что-то случилось. Хуже смерти.

- Ты думаешь, мне они больно нужны?
- Чего тогда сидишь над душой, сторожишь?
- Отстань. Эй, хватит отдыхать! Беритесь за дело, ну?

Смерд Карась, - тот самый, которого вместе с другими Калгаст кормил у Пирогостова погоста,- копаясь под стеной, замахал руками:

- Люди! Смотрите...
- Алтын? Алтын? - загалдели болгары, Руслан прыгнул вниз, за ним - Кубрат.
- Золото?
- Баба.

Сбежались.

Сквозь прах проступало белое тело. Карась разгреб дрожащими руками черную, с золой, местами желтую, глинистую, землю.

- Остерегись. А вдруг обнимет?
- Ну тебя...

Она лежала, полная, нагая, прямоносая, на спине, растянувшись в человеческий рост, отвернув кудрявую го-лову в сторону, слегка согнув одно колено, и держала правую ладонь под левой грудью, а левую - над пухлым холмиком в самом низу живота. В каменную кожу, приглушив холодный блеск, въелась желтая пыль. Зола чернела между точеными, туго сомкнутыми бедрами, во впадине пупка, в легких выемках зрачков. Припорошенные прахом глаза казались сонными. Губы жалко улыбались.

- Эх, ты. Смуглая. Как живая,
- Будто спала, а мы напугали.
- Ишь, бедная, застеснялась.
- Ладонками загородилась. Отойдем. Совестно глазеть.
- Накрыть бы, что ли, чем...
- На, возьми мою рубаху...

... Сколько сочных женских тел испепелили на кострах, чтоб затем с таким вот умением

воплотить их в камне.

Мертвых жалеют, живых убивают.

Может, печалась об участи тысяч сожженных, зарезанных, удушенных сестер, и выточил кто-то ясноглазый каменное диво - в память об их загубленной красоте. Наделил его лучшим, что в них, женщинах, есть, чтоб намекнуть; глядите - и берегите.

Или это мечта?

О сказке, которую, вечно грустный, он так и не смог услышать от подруг: ленивых, болтливых, слезливых. Крикливых до визга. Нечесанных, потных. С немывыми, в трещинах, пятками. Лживых, скупых. Трусливых. Бессердечных. Падких на тряпье.

Кто она?

- Афродита! - фыркнул кто-то под ухом Руслана. Обернулся - ромей в черной свите. Святой. Башлык за спиной, глаза - как яйца, нос крючком. Худ, вонюч, волосат. На волхва Доброжира похож.

Расступились. Ромей сорвал с нее ветошь.

- Афродита... - Плюется Три пальца на правой руке согнул, а два - указательный, средний - оставил прямыми. Охотник Калгаст этак складывал пальцы. Когда тошнило. Но ромей не в глотку запустил их - тычет в лоб, грудь и плечи. Словами сыплет, как в лихорадке, тощими, горячими, как сам:

- Очи потупьте, чада...

- Грех сие созерцать...

- Блудница языческая...

- Идолица поганая...

Дрожит. Маленький рот пересох.

Карась - сердито:

- Толком скажи, кто такая.

- Древних ромеев богиня любовная.

- Значит, ваша? Чего ж ты...

- Наша?! Тьфу, тьфу! Древних, темных. До Христа...

- А чем ей требы клали? Тоже кровью?

- Яблоками, яблоками...

Повеселели пленные. Ромей - в горячке: - Похоть... грех... грязь...

Убежал, опять прибежал. Так и стелется над нею.

И женщина - преобразилась. Она уже не прикрывалась - звала ладонями к себе. Не улыбалась с робостью - игриво, сладостно смеялась. И отвернула лицо не от стыда - от истомы. Изогнутая шея, локоть на пышном бедре, правое колено, поднявшееся, чтоб хоть сейчас отодвинуться в сторону - все теперь выражало не испуг и скромность, а соблазн, ожидание, жаркую готовность.

- Эх, - вздохнул Карась. - Иди-ка отсюда, похабник...

Они уже не жалели - желали. Но - чудо: хуже не стала, не пала в их светлых глазах в терпкую грязь, которую лил черный ромей. Они любовались ею. Глядите, как вольно, смело и властно она лежит под их босыми ногами.

Лежит, потому что уронили. Должна стоять.

Очистили подножие от щебня, черепков, иного хлама. Бережно поставили, тяжелую, горячую. И тогда, прямая, голая и добрая, призывно обернувшись к ним, она отовсюду - казалось, всей чистой статью и сутью - открылась перед ними, потрясенными.

Богиня? Нет. Просто женщина. Жена.

Но она же - и богиня. Свет. Счастье земное,

Они гордились, что встретились с нею, радовались, белой, как дару и привету. Подтянулись. Расправили плечи. Пригладили пыльными пальцами всклокоченные волосы, бороды. Пели, смеялись - одними глазами, все яблоки мира готовые принести ей, ласковой, в жертву.

Она - и грязь? Нет. Грязь не она, а эта черная тень мужчины, что металась вокруг, пытаюсь уйти в серую мгlistую заумь своих несчастных счастливых видений - от нее, твердой, ясно зримой, пусть каменной, но живее его, мертвеца ходячего.

- Грех... мерзость... соблазн...

- Уймись, болезный!

- Фитиль сухой.

- Чего пристал?

Руслан молчал.

Он будто Баян-Слу увидел вновь.

- Сатана, сатана... - Ромей нагнулся, схватил обеими руками большой шершавый и угловатый камень - и с дикой силой безумного замахнулся им на Афродиту,

И нечто новое, важное - очень важное - в последний миг обозначилось в ней, уже не прельщающей - спасаясь, вскинувшей ладони. Страх. Простой голый страх, звенящий в ладонях, в глазах. Страх матери за тело свое тяжелое, с заключенной в него второй жизнью...

И распалась она на куски.

Разбилась в щебень правая рука, по которой пришелся удар. Отскочила от плеча, сломалась левая, плавно протянутая спереди над бедрами, они же, плотные, безобразно разъединились. Отвалились белыми чашами груди Небольшая, в крупных завитках волос, голова, отлетев, подкатилась к грязным ступням Руслана. Сосед уронил черепок с водой. Влага пролилась ей на глаза. В темных впадинах зрачков, уставившихся прямо в Руслановы зрачки, заблестели слезы.

... Триста, четыреста лет, а может - пятьсот, она стояла в тесном, сумрачном храме, и сотни, тысячи наивных девушек, женщин - молодых, жадных на ласку, и старых - увядших, но еще живых, и по праву живых - жаждущих, чередой опускались перед ее алтарем на колени. Тихо, чтоб не услышал никто другой, просили помочь. Смеялись. Плакали. Горька и радостна любовь. Уходили с надеждой, довольные. Затем приходили их дочери. Внуки, правнучки. Она ублажала всех. Камень? Пусть. Она была живой, горячей: в их плоти, сердцах, мечтах. И потому выручала.

Она одна из всех божеств не домогалась жирных жертвенных костей. Ей хватало цветов, плодов и меда. И если изредка, а может - слишком часто, ее забрызгивали кровью, то это случалось не по ее вине.

Она была единственным кумиром, никогда и никого не обманувшим.

Богини и боги мудрости, света, войны, правосудия, победы, плодородия, песен, вина и веселья, здоровья, сна, торговой удачи и прочие хитрили на каждом шагу.

Испокон веков неодолима глупость.

Победа ходит рядом с поражением.

Гибнет урожай. Терзают невинных,

Песни быстро сменяются плачем.

Радость часто оборачивается горем.

Вино, веселя, смертельно отравляет.

Точит хворь. Мучит бессонница.

Выгода тайно грозит убытком.

Сплошь - ложь.

Только любовь вечно верна человеку.

Каждому, даже вовсе худому, серому, немому существу, робко топчущему землю,

перепадает своя, пусть скудная, доля чьей-то теплоты.

Правда, она разлучает. Ранит сомнением. Заставляет грустить, болеть, ревновать. Но, отнимая счастье у одних, не топит его, не душит - дарит другим, лучшим, а порою и худшим, но, значит, более достойным, раз уж оно им досталось. Перед нею все равны.

И потом, счастливая или несчастная, любовь - все равно любовь. В ней подчас одинаково, что потерять, что найти. Разве утраченное - уже ненужное? Оно очень часто дороже, чем сохраненное. Без хлеба нет жизни. Любовь без взаимности - живет.

Долгих четыреста лет лежала она в пустынных развалинах, уцелев при разгроме. Ждала, недоумевала: почему к ней больше не идут. Неужели нашли иное божество, добрее, краше? Немыслимо, Ее никто не может заменить. А если кто-то взялся это сделать, что станет с родом человеческим?...

- Эх, скот! - сказал Карась. - Может, твой прадед сделал ее, славя прабабку твою. Точишь, червь, зеленую ветвь, на коей живешь.

Руслан - одними губами:

- Баян-Слу...

- Баян-Слу! - крикнул Кубрат, - А-а-а! Баян-Слу... - Он схватился за голову, буйно ею замотал, не переставая тянуть: «А-а-а». Сбросил руки. Замер. Уставился, выгнув шею, на оторопелого монаха - Зачем, зачем?... Хочешь в рай - ступай. Зачем лезешь к другим... других губишь?...

Попятился ромей,

Кубрат взял с земли короткую, по локоть, левую руку Афродиты и наотмашь вlepил, ему каменной ладонью вескую, как удар копытом, пощечину.

- Так его!

Даже болгары орут: - Эй бет - хорошо!

Только один, с мечом, видать - «баин», то есть богатый, сердито подступил к старику. - Как смеешь?

- Прочь! Не трогай.

Говорили они по-степному, но Руслан их уже понимал. Сам не заметил, когда - пусть немного, лишь в суть - стал вникать в чужую речь.

- Айда к беку! Ну!

- Прочь! Чтоб ты пропал вместе с беком, с ромеями черными. Зачем ходили на Русь? Сколько болгар под Киевом легло! А вы их вдовам по чашке зерна уделили, ветхим тряпьем от сирот откупились. Умирать - мне, а добыча - тебе? Обнаглели совсем.

А! Вот оно что. Вот отчего с утра угрюмы.

Спору нет, Руси они - враги, зерно в мешках, которые пришлось таскать Руслану, было русским.

Однако русское зерно досталось не Кубрату, а семейству бека, его телохранителям, дружине: баинам, багатурам да байларам. Потому что Кубрат, наверно, такой же смерд несчастный, как Неждан, Добрита. Как Руслан.

Бог-то степной, выходит, не ко всякому добрый. Хунгару и мертвому хорошо, а Кубрату живому плохо.

- Недоволен? Идем к Уйгуну.

- Эй, отвяжись! - крикнул Карась.

- Оставь, отстань, Алмуш, - нахохлились болгары, - Силен - старика терзать. Не стыдно? Кубрат заплакал.

- Зимой ноги стынут. Ох, стынут, О новых думал сапогах. А что получил? Смотрите. - Он вырвал из-за пазухи два босовичка, расшитых бисером.

Застонал Руслан. Никогда не бил он человека. Может, в детстве - соседских детей. Взрослым - ни взрослых, ни малых не смел задевать, А тут... будто пламя в мозгу полыхнуло. Вмиг одичал. Стреб в охапку вислоусого Алмуша, как шаман - Баян-Слу, - и загудел богатырь вместе с мечом через пролом в стене наружу, в ров сухой,

- Так его!

- Вас тоже туда? - слепой и дикий, пошел он, пригнувшись, на остальных болгар.

- Нас не надо.

Встревожены. Машут ему - оглянись.

У рва гневный Уйгун.

- Эй, псы! Чего расшумелись?

- Сытость душит. Перекормил...

- А! Взбесились?

Над стеною ноюще запели стрелы.

- Хоронись!

- Ой, Тэнгре...

- Пропали. Накажут.

- Э! Хуже не будет...

- Беритесь за луки!

- Урусы! Камни хватайте.

- Мы им покажем...

- Что нам тут?

- Здесь беку хорошо.

- Уйдем на Волгу...

- Землю пахать...

Пленным - Карась:

- Скорей под гору! Струг отыдем. Морем - на запад, а там уже Русь.

- Поздно! Видишь, заслон у реки,

- Ромей снятые.

- Разгоним!

- А этих - оставить?

- Сожрут их свои.

- С нами, болгаре!

- Куда?...

Все сотворилось как-то сразу, негаданно - нежданно и без толку. Только б зло сорвать. А зло - большое, и завязалось на стенах побоище. Пастухи друг в друга стрелы мечут, боясь попасть - и попадая, пленные - камни бросают, осаждающих сбивая в ров. И треск. И крик. И кровь.

Бабы бегут, голоса. Тянут мужчин прочь от стен. Хазарин машет бунчуком. И вдруг и там, за рвом, болгары разделились, разодрались. Видно, старые счеты взялись сводить. Не поймешь со стороны, кто с кем: все вроде одинаково оборваны. Но, видно, издавна разлад между ними.

От доброй жизни своих не станут резать.

- Скорей! - Высокий светлый человек рванул скрипучую дверь. Кубрат с Русланом кинулись в лачугу. Десятков пять или шесть таких убогих, низких, крытых камышом белокаменных хижин, с рогами черных, накрест связанных кривых стропил, стадом устало прилегших, белых, с бурями спинами, коров рассыпалось по голому откосу. Ромейский поселок.

Жилье, где спрятались Кубрат с Русланом, зарылось в землю на отшибе, в кустах прибрежных, и владел им, видно, не ромей.

- Гот, - шепнул, задыхаясь, Кубрат, когда хозяин, отвернув подстилку на полу - камышовую,

грубую, показал им узкую яму: лезьте быстрее - и, втиснув их в дыру сырую, проворно опустил подстилку, что-то кинул сверху на нее.

- Не донесет?

- Спасет. Он свой.

- Тихо! Идут, - сказал по-булгарски гот сквозь камыш. - Не шевелись.

Кусты трещат. Резкий голос Уйгуна:

- Эй, Гейзерих! Не видел беглых?

- Не встречал.

- Куда девались?

- Может, на буграх...

- Обведем. И ты не зевай. заметишь - зови на помощь.

- Их сколько?

- Двое. Кубрат, урус.

- Сам свяжу.

- Не осилишь. Большой урус, ошалелый.

- Может, и мне - вместе с вами? Я мигом. Только в лачугу зайду, копье прихвачу.

- Не надо. Здесь побудь. Поглядывай.

Уехали. Гот:

- Сидите, молчите. Я все же пойду, покручусь среди них. Чтоб отвлечь.

Тесно. Душно. Страшно.

- Не выдаст, а? Или... лучше, пока его нет, через речку - да в камыши?

- Пропадешь в камышах. Сырость. Звери да змеи. Пожалуй, не выдаст. Рыбу ловили вдвоем.

Уху из одного котла хлебали. Ты молчи. Потерпи до ночи.

- А ночью?

- Не знаю.

- Коней украдем, поскачем на Русь.

- Ладно. Посмотрим.

- Осилили, черти. Тех, которых схватили, убьют?

- Нет, наверно. Хазарин не даст. Скорей, своих бунтарей - в Корсунь, твоих земляков - в

Самандар.

- А где Самандар? Далеко?

- О! Зело далеко. Степи. Горы. Много дней пути. Три раза столько, как от Днепра до Таны.

- Не дай господь угодить.

- Да. Оттуда на Русь уже не попадешь...

Затихли. Сон не сон, дремота не дремота. Отупение.

Дважды, туда и обратно, мимо лачуги проехали с криками конники. Пусть орут. Перестанут. Кто-то украдкой проник в жилье. Шарит, шуршит, наступая Руслану сквозь камышовую толщу на затылок, сгорбленную спину. Сплюнул. Выругался шепотом. Чуть скрипнул дверь.

Он представился смерду красноглазым, лохматым, крючконосом, с длинными клыками, торчащими вниз из углов искривленного рта. И кони, топот которых давно умолк, казались почему-то шестиногими. Степь вздымалась стеной, как гора...

Человек - на воле человек. Ушам, глазам и мозгу нужен открытый простор. Без него, в узкой дыре, накрытой страхом, человек сам становится лохматым, шестиногим и клыкастым.

...Ушел? Или стоит, сторожит?

Руслан устал бояться. Он в тихом бешенстве заскрежетал зубами. Топчут тут всякие голову. Хватит. Теперь он знал, что сильный и может бить. Он хочет бить. Он будет бить, убивать.

- Выйдем, - сказал он Кубрату.

- Давай. Надоело в яме сидеть.

Тростниковая решетка подстилки с треском распалась. В лачуге темно. Зато снаружи, сквозь раскрытую шаткую дверь, зовуще сверкают синие звезды. От порога ведет через черную воду к вольным чащам зыбкий мост из лунного света.

- Тихо! Идут.

Укрылись за углом.

Кто-то длинный заглянул в лачугу.

- Эй, Кубрат...

- Ты, Гейзерих? - шепнул старик у него за спиной

- Тьфу! Напугал. Был кто-нибудь?

- Был. Обшарил хижину. Ушел.

- А! Лезьте в лодку Скорей.

На том берегу, в черных камышах, внезапно взметнулся к зубчатым звездам раздрающе острый визг. Ударившись о них, изорванный, упал назад, в сырую пойму, клочьями хрипа и хлюпания. Руслан - оторопело:

- Это кто?

- Эбер. - Гот уперся жердью в мокрый берег. - Ну, как по-вашему... вебрь. Попал в чьи-то зубы...

- Куда плывем? - спросил Руслан у Гейзериха, когда, оставив холм позади, гот перегнал лодку к левому, в зарослях, берегу и медленно двинул ее, тыча в дно длинным шестом, против течения.

- К братьям.

- В степь с Кубратом хотели.

- Нельзя. Дозоры повсюду. Сразу попадетесь. - Помолчав, сказал с угрюмым одобрением: - Насолили беку. Хорошо.

Руслан не стал его допытывать: что за братья, откуда они. Он уже верил готу.

- По-нашему, слышу, бойко говоришь, Ты, наверно, из бедных?

- Вроде. А что?

- Я заметил: кто бедный, других понимает. Вот, к примеру, Кубрат. И ты, Гейзерих. Почему это, а?

- Худо жить. Идешь к соседу. Русс. Ромей. Булгарин. Все равно. Лишь бы помог. Поневоле начнешь понимать. Богачу зачем чужих разуместь? Он сыт от своих, их привык разуместь. А для прочих у него доступная всякому речь: стрела свистящая, звенящий меч.

- Где научился?

- В Тавриде.

- От пленных?

- От вольных. Руссов много в Тавриде. С готами смежно живут в поселениях. Давно, до хуннов, с Днепра перебрались.

- А вас откуда занесло?

- И впрямь - занесло. Издалека. От северных морей. И не туда, куда надо.

... Когда не было неба, земли, морского песку, холодной волны и всюду зияла бездна, под вечным ясенем, осеняющим вселенную, жили йотуны - древние исполины.

Сотворение мира ознаменовалось убийством. Боги асы рассекли на части йотуна Гимира, из кусков его тела слепили небесную твердь, сушу, солнце с месяцем, звезды, еще не знавшие, где их путь. Асы сошлись на совет, нарекли имена полнолунию, ночи, утру, полудню и вечеру.

Солнце согрело соленые камни, они покрылись зеленой травой. Поселились асы в небесных полях, пили, ели в светлых чертогах. Веселились. Играли в тавлеи.

Ради Гульвейг, сверкающей золотом, дивно красивой, но злой, случилась в мире первая война. Колдунью сожгли в жилище у Гара. «Три раза сожгли ее, трижды рожденную. Часто жгут ее вновь, но не гибнет она». До сих пор, таясь от мужчин, входит ведьма в дома, варит пакостное золотое зелье - извечную усладу нечестивых жен.

Бог Тор, громовик, покровитель клятв и договоров, первым на земле нарушил клятву, сокрушив одного из йотунов - строителей, которым асы обещали мир и дружбу, а завистливый Лодур, бог пламени, стрелой из омелы, чужими руками, насмерть сразил чистого Бальдра, бога растений.

Однажды три аса, благих и могучих, шествуя берегом моря, наткнулись на два холодных бревна - ясень, ольху.

Генер, бог влаги, вложил в них душу.

Оден, бог бури, дал им дыхание,

Лодур, огненный бог, наделил их теплом.

Три вещие сестры: Урдр - Прошлое, Верданди - Настоящее и Будущее - Скульд наложили на первых людей, Аскра и Эмблу, печать судьбы.

Так, под знаком убийства, коварства и вероломства, хмельного веселья, войны ради золота, появилось племя высоких и крепких, как дерево, буйных, горячих, огненно-рыжих людей - пастухов, зверобоев, бродячих воителей.

Их жизнь протекала в пирах и неистовых распрях. Они презирали опасность. Но поскольку душу им дал бог воды, их синие очи время от времени делалась мокрыми. Быстрые, смелые, легкие на подъем, они, однако, часто хворали, с трудом переносили стужу, зной и ливень, тяготы долгих походов. Нехватка еды, особенно вина, грозила им скорой гибелью.

Упрямство, крутая решительность не сочетались в них с долготерпением, а расторопность, хитрость и храбрость - с благоразумием и осторожностью. Зато неисчерпаемой была их дерзость. Под водительством отчаянных, столь же заносчивых, грубых, мало любознательных вождей - конунгов, которым, кстати, неохотно подчинялись, они кидались в бой напропалую, казалось, вовсе не заботясь о последствиях.

Тесно, шумно на островах, песчаных побережьях. Племя за племенем бойко снимались с мест своих старых, постылых, спускались на юг, где в лесах и болотах, заросших ольхой, осоком, встречались и бились с племенами, что шли с именами иных богов на устах. Всколыхнулись народы сопредельных стран, началось их великое переселение.

Оставив поморье и междуречья блеклых равнин, неудержимо хлынули германцы за Дунай и Рейн, к стенам белых римских городов, и на восток, к далекому Днепру. С бурей и вихрем над ними летел грозный Оден, ветер свистал в крыльях валькирий, небесных воинственных дев.

Однако: то ли не теми, кому бы надо; то ли - теми, да не из тех деревьев; то ли - из тех, но под очень неудачным знаком был создан этот неугомонный народ; то ли каверзные девы-вещуньи Урдр, Верданди и Скульд зло подшутили над ним, определив нелегкую судьбу; то ли людей иных племен их боги сотворили из дерева покрепче - скажем, дуба, или даже из меди, гранита, железа, но участь свирепых воителей оказалась плачевной.

Повезло лишь осмотрительным, спокойным, что отшатнулись от Одена к ясному Фрейру, весеннему Бальдру, Тору-кузнецу, светлым богам труда и плодородия. Что старались держаться исконных земель, предпочитая ячменное желтое поле багровым полям кровопролитных сражений. Они избежали смерти, распыления, сохранили в целости свой древний корень.

Зато, странное дело, самые упорные, неукротимые, которых увлек иступленно ревуший Оден, потерялись в незнакомых странах, перестали существовать. И хуже всех пришлось непосадам, что ушли дальше других, соприкоснулись с Востоком,

Готам, оседлавшим Черноморье, выпал от хуннов столь мощный удар, что их днепровская,

остроготская, ветвь с громом катилась до римских дымных холмов, где и распалась, а придунайские, то есть вестготы, не могли остановиться до тех пор, пока не уткнулись в Геркулесовы столпы.

Хунны проворно настигли на Рейне бургундов - и бургунды очнулись лишь где-то на Роне.

Грозных вандалов, подхваченных черным потоком всеобщего жуткого бегства, отбросило с частью алан, сдружившихся с ними, в Африку жаркую. Тут их сокрушили византийцы. Иных истребили, иных продали в рабство. Остатки смешались с берберами, с маврами, которых гордые поклонники железных северных богов не считали прежде людьми.

С начала великого переселения прошло уже пять веков. Лишь кое-где в теплых краях, некогда захваченных их предками, в море давних жителей этих земель, сбереглись островки желтоволосых людей, еще не забывших богов своих древних, старые песни, старую речь...

- Не туда занесло, говоришь?

- Чужая страна. И мы в ней - чужие.

- Хунны после явились, но вольно живут.

- Где степь, там хунны у себя. Восток. Здесь к месту руссы, болгары, аланы, иные народы, чей дух прикипел к этой твердой земле. А мы что такое? Сорная трава. Одни обратились в ромейскую глупую веру, весь день бормочут молитвы. Другие...

Из протока справа наперерез тихо выплыл узконосый челн.

- Гейзерих?

Уже светало.

Кто бы подумал, что в камышах, за сетью зеленых протоков, на островке, где уютно пахнет мятой и солью, где хорошо бы лежать в траве под ивами, слушать сквозь сон простую, без слов, песню рыжей рыбачки, укрылось столько людей.

Рыбаки? Как будто. Сеть сохнет на берегу. Но к чему на поляне куча щитов и секир? И струг, уткнувшийся в кусты, мало похож на рыбачью убогую лодку.

Одеты знакомо: в рубахи льняные, грубые штаны. Ноги до колен оплетены ремнями кожаных лаптей. Свои? Так сходны - сердце зашло. Лишь вблизи разглядел: губы, носы по-иному очерчены - суше и резче, что ли. И речь, когда заговорили, дико врезалась в слух, рвущая, крепкая. Рыкают - «верь», то ли «зверь», не поймешь.

- Русс, - отвечал Гейзерих.

- А! Русс? Гут, хорошо.

Расступились. Руслан увидел женщину.

Ну, слава богу. А то уже не по себе от вроде и не злых, но чем-то пугающих взглядов. Слишком цепких, что ли. Острых. Притязательных. Раз уж в толпе этих чужих, и по всему - опасных, людей есть женщина, и ее так чтут (сразу стихли), - не могут они оказаться вовсе бездушными, нечеловечески жестокими. Найдется среди них свой Кубрат.

Он берег в себе чистоту Баян-Слу, нежность, радость, ясную печаль, что испытал, любуясь каменной богиней в Тане, - и перенес простодушно спасибо за них на эту другую, новую женщину, уже которую на его пути.

Но она и впрямь была другой. Совсем другой. Рослой, как мужчина, по-воински прямой и статной. Белые, пышно распущенные волосы, повязанные на низком лбу желтой лентой, ложились вольно на крутую грудь. Сквозь пушистую седую прядь, как солнце сквозь туман, виднелась на левом плече круглая медная застежка - под нею сходились углы белого простого одеяния, охваченного выше узких бедер медным поясом с коротким мечом.

Медными казались в густом загаре голые руки. Босые ступни. Худое лицо в легких морщинах, с узким, горбатым, как у сокола, носом, далеко нависшим над злобно тонкими губами. С глазами, наполовину спрятанными под золотистыми мохнатыми бровями, меж

длинных, светлых, как у свиньи, ресниц, - синими, влажными, точно камни, только что вынутые из воды.

Женщина будто ударила ими по Руслановым робким глазам. В них чудилось что-то от грубости каменной бабы, взиравшей с вершины холма у Днепра на погребальный костер, вспомнил Руслан и вторую - ту, разбитую в Тане: в мраморных ее глазах виднелось больше теплоты и света, чем в живых, но словно обледенелых очах угрюмой готской старухи. Попробуй узнать, чего она хочет. О чем думает вот сейчас. Зачем глядит.

Жутко. Собаку - и ту поймешь, посмотрев ей в глаза. И, пожалуй, всякую тварь. Наверно, лишь очи змеи ничего не способны сказать человеку.

Повернувшись к бледному Кубрату, готка чуточку оттаяла. То есть губы разлепила, сделала к нему короткий шаг. И - удалилась, упруго и гордо ступая, к ивам, нависшим над поляной с оружием. Руслан пристал к старику: что за баба, зачем она тут. Кто эти люди. Но безмолвен Кубрат.

Молчит и Гейзерих. Он насторожен. Тщится казаться спокойным, даже веселым, но - чуёт Руслан - он не свой среди своих, хочет приладиться к ним - и не может: изнутри проступает недоброе, тайное. - Куда попали?

Рыбак - ни слова. С ума сойдешь. Тут еще камыши зашумели. Чуждо. Скучно. Как-то не по-нашему. Десять, тридцать, сто верст везде одинаковых, ровных, густых и пустых камышей. И вся их толща, причитающе шурша, медленно склонится прямо к тебе - и, покачавшись горестно над мертвыми протоками, с тягучим вздохом отхлынет назад. Поят немного, будто совещаясь, камыши - и сообща повалятся а другую сторону. Точно ищут чего-то, уныло шепчась, камыши.

Лес по-иному шумит. В осенней роще тоскуешь, но помнишь и ждешь. А тут - все забыто и нечего больше ждать. Безднадежность.

Эх, уж лучше б рвануло их ветром ревушим, да посильнее, чтоб треск пошел окрест! Душу изводит тихий бесконечный плач...

Под ивами совещались Что-то крикнули Гейзериху,

- Идем, - кивнул рыбак Руслану. - Ты, Кубрат, оставайся на месте.

Ну, началось.

...Хотел сказать Руслан - помилуй, мол, и сохрани... да не нашел, кому сказать: не миловал а не хранил его доселе никакой господь. Ладно. Будь что будет. Под ивами - медный котел пустой, над ним старуха, в руках ее - огромный рог с вином. Ко рту поднесла, произнесла заклинание, отхлебнула глоток. Протянула рог Руслану.

- Бери, - шепнул Гейзерих. - Пей скорей.

Нет. Страшен этот рог Руслану, будто он - единорогов и не вино в нем, а кровь.

- Пей, дурень, - сказал Гейзерих. - Голову спасешь.

Ну? Не слыхал, чтоб питьем спасали голову. Губили - часто слыхал. Но, видно, всякое бывает. Что ж. Пить так пить. Хоть раз испытать, каково оно на вкус, вино заморское. Брагу приходилось пробовать, вина не подносили.

...Эх, камыш! Зачем шумишь?

Прямо в голове грохочешь.

А ты, душа, к чему горишь, горюешь?

А ты, старуха, о чем кричишь?

Чего ты, треклятая, хочешь?

А! Знаю тебя. Видал я у нас бесноватых старух. Вдруг принимаются волосы рвать, пальцы грызть, голосить. Ведьмы. Кликуши. Однако на Руси, уж если больно разойдутся, кнутом их стегают, чтоб выгнать блажь, утихомирить.

А у вас...

Острый, словно скребущий железом по камню, сухой, бездушный вопль вещуньи, казалось, срезал ветви трепещущих ив, и от него шарахалась в страхе стена камышей.

Гейзерих бесстрастно толмачил:

- Слушай, русс! И знай: от того, что ответишь - быть тебе живому, или умереть.

...Удачен болгарский набег.

...Мы давно их ждем в камышах.

...Хотим на Тану напасть, добычу отбить.

...Помоги. Наши деды вместе громили ромеев. Булгары - тебе враги, как и нам, народу гутанс. То есть готам.

Сейчас Гейзерих двинется в Тану.

Свежей рыбы ему дадут. Булгары увидят, решат: гот сам наловил. И не станут его допекать - где слонялся всю ночь, Удастся - он руссам закинет словечко. Пусть будут готовы готов поддержать. Но вот незадача; для них он чужой. А вдруг, мол, подвох. И потом - кто допустит, после событий вчерашних, Гейзериха к пленным? Он у болгар на примете...

А руссов надо непременно на нашу сторону склонить. Много болгар, трудно сломить. Изнутри бы их разломить. Верно, да? Поэтому, когда наш струг подступит ночью к Тане и отряд, разделившись, подкрадется к городку, клич ты бросишь своим прекрасным русым руссам, ладно? Ты показал себя в минувшей стычке смелым человеком. Тебя - услышат. Поймут. За тобою - пойдут.

Захватим Тану - разделим добычу.

Руссы - о, эти руссы! - вернутся домой. Подумай, разве не удаль, не честь: где-то пропасть, попасть в полон - и вдруг самому явиться к родичам с полоном, с женами узкоглазыми. Вас «бояны» всю жизнь будут славить, петь о вас на пирах. А захотите, останетесь с нами. Ну, там поглядим. Главное - Тану взять. Пойдешь?

- А Кубрат?

- Его судьба в деснице божьей,

- Я - пойду. Пойду! - Как звали жену Кубрата? Смуглая Удадь. Вот она, Удадь Смуглая. Ах ты, старуха! Бедовая... - Как они нас тащили. Секли... Я - пойду. Хоть сейчас. За всех, За Идара. За Баян-Слу...

- Хорошо. Но сперва - испытание. Ты перейдешь в нашу веру. В нашу старую готскую веру.

- Зачем?

- Чтобы мы знали: не подведешь.

- А Кубрат?

- Забудь о нем. Ты думай о себе. Я, мудрая провидица Туснэльда, вижу: юный русс устал терпеть. Он хочет мстить. Он хочет убивать. Или не так?

- Так.

- Поклонись же готскому грозному богу! Что дал тебе твой деревянный бог? Русь - рядом, а ты в цепях. Где он, хваленый Перун? Где Род?...

... А мы - повсюду на воле. Свирепый Оден, повелитель бурь и битв, - везде, где дико воет ветер, грохочет гром, звенят клинки. Где буйствует сердце молодецкое. Он покровитель лихих, неприкаянных, хмурых.

Таких, как мы.

Таких, как ты.

Жизнь - война. Смерть - награда за добрый воинский труд. Тех, кто крепко бился с врагами и весело пал от копья и меча, стрелы и секиры, Оден возносит в светлый чертог - Валгаллу, где храбрецы проводят день-деньской в пирах и редкостных забавах.

А предателей, трусов скверные реки, полные льдин и острых мечей, влекут в черную пропасть, к Наstrandу,- берегу мертвых, и Нидгогер, дракон подземных полей, с урчанием гложет тела охладелые. Фенрир, волк исполинский, что сидит на цепи в бездонных пещерах, чавкая, рвет на куски трупы бесславно погибших...

Знай - предстоит гибель богов и людей.

Фенрир, путы сорвав, ринется кверху из жутких огненных недр. И встанут за ним несметные рати гнусных чудовищ.

И в море сверкнет чешуей зловонный Змей мировой, Фенриров брат, и смерть Гэль, их сестра, стуча клыками, начнет поедать все живое.

Рухнут горы. Море закипит. И по горячим волнам, зловеще качаясь, двинется с дальнего севера мрачный корабль Нагльфар, что будет сделай из ногтей покойников. И заклеочет в тучах гнусаво Серый Орел, трупов пожиратель. Солнце станет черным, как уголь. Его догонит, проглотит скорый Сколль, мерзкий волк, а гадкий волк Гати разорвет луну.

...Руслан, уже не пьяный, а безумный, взглянул на солнце. Черное пятно. И струг - сшит весь из желтых ногтей, и вокруг, костями гремя, столпились скелеты. А сам он вовсе не Руслан - Идар, и ему нестерпимо хочется в огонь. В огонь. Скорей в огонь...

Он заскрежетал зубами, протянул ладони к яркому костру, пылавшему пред ним, ослепшим, в образе блестящей золотой старухи.

И в ладони его лег большой топор.

Он увидел Кубрата. Оголен до чресел, руки - в путах, за спиной. Два гота подвели болгарина к пустому медному котлу.

«А ладно сбит старик,- подумал весело Руслан. - В одежде нелепой не видно было, как статен, хорош. Ишь, крепыш».

И вдруг до него смутно дошло, сквозь угар: старик-то скроен ладно, это так, а вот делают с ним, да и с Русланом, что-то неладное.

- Эй! Оставьте. Зачем связали?...

- Так надо. Молчи.

- К чему он тебе? Не жалей.

- Ты белый, он желтый.

- Старый дикарь. Животное степное.

Неужто будут варить? Но ведь котел не подвешен. И огня нету под ним...

Кубрат на коленях. Он обратил к Руслану тихое лицо. И узнал юный смерд в строгих глазах пастуха чей-то еще, страшно знакомый, до боли, до крика знакомый, - а чей - он забыл, успел позабыть в суматохе) - долгий взыскательный взгляд. Он запечатал рот ладонью. Ничего. Так надо. Так надо.

Туснэльда вынула меч, пригнула к котлу пастухову чубатую голову. Ну и что? Пускай. Кем-то больше, кем-то меньше. Чего тут старика какого-то жалеть, если даже богам суждено околеть. Жалел он иных. А где они? Не стоит шуметь. Хватай, что можешь, пока живешь. Ешь, пей - и бей. Надоело трястись над кусками: И всех бояться. Всякий пес паршивый верх над тобой хочет взять. Вечно - угрозы. Довольно! Не все кому-то нас обижать. Чем мы хуже? Тоже можем обидеть. Пусть теперь ползут к нему...

Он отыскал свой путь.

Место его - среди этих лихих, сильный людей. Как их бога зовут? Водень? Да. Вот - истинный бог.

...Кровь хлестала в котел, готка водила пальцем по алым узорам и ворковала, как горлица: «Гут, гут». Затем оттащила труп от котла, положила на спину, вспорола живот, сунула руки внутрь. Вскочила. Вскинула руки, до локтей измазанные кровью. Закричала. И все закричали.

Даже Руслан. Хоть и не знал, зачем кричит. Значит, так надо. Вещунья с льдистой улыбкой кивнула Руслану, сказала что-то Гейзериху.

- Ты нам счастье принес, - изрек Гейзерих. - Гадание сулит большой успех.

Гейзерих слез в челн.

Руслан подхватился, кинулся к нему, Уедет - с кем говорить? Больно остаться немым. Этим что - тукают «гут» да «гутайс». Черт их разберет.

В хмельной голове чуть забрезжила ясность.

- Нейметса,- прошептал рыбак, берясь за шест.

- Кому это - мне?

- Тебе? Ты помалкивай...

Ночь. Плывут, держась поближе к черным камышам. От холода Руслан трезвел, но только начинал озираясь, стараясь понять: зачем он здесь, на готском струге, куда плывет, и что впереди., и хорошо ли то, что затеяно, как рослый сосед пихал ему под нос большую флягу, к которой и сам частенько припадал, и смерд опять косел, до пят проникаясь удалью новых друзей.

Славно плыть наугад сквозь разбойную ночь! Вот она, воля. Веселая злость. Бесшабашность. Ну-ка, посмейте затронуть. Сам себе - господарь, князь именитый. Все дозволено. Режь. Сокрушай. Погодите, собачьи дети. У меня - топор. И я вам покажу.

Но когда судно пристало у Таны к высокому берегу и половина грабителей вместе с Русланом (Туснэльда осталась на струге) звериной украдкой сошла на мгlistую сушу, юноше стало не то, чтобы стыдно, а тошно.

Куда я иду?

И с кем?

И зачем?

«Я иду на стенных сволочей ради своих русичей», - утешал он себя, но в отговорке этой чувял сам какую-то отвратную ущербность.

Готы вновь совещались.

Слышит Руслан:

- Гейзерих, Гейзерих.

Нет Гейзериха. Видно, должен был встретить, но опоздал, нерасторопный. Спит, дурень? Тот гот, что угощал Руслана вином, с пьяным небрежением махнул рукой. Мол, ничего! Нечего ждать. С нами - господь.

Скорей бы кончалась, что ли, канитель...

Она кончилась скоро.

Только Руслан подполз к стене, его хватили по темени - так, что память сразу улетучилась.

Очнулся в оковах, Гейзерих, тоже в цепях, рядом сидит. Лохматый. Побитый. Готы, все в путах, кучей поодаль, Буйное застолье - унылое похмелье.

Дряхлый болгарин - хромой и нелепый, желтый, костлявый как вурдалак, Туенэльду с жутким смехом гладит по бедру.

- Это - баба! Женой будешь, ладно? А то старуху нашу Хан-Тэнгре унес...

«Нашел утеху,- скривился Руслан. Думалось трудно, ошметками мыслей кривых. В башку словно клин вколотили, больно мигнуть. - Погоди, она взрежет тебе тощее брюхо».

Гейзерих, с горьким злорадством:

- Возмездие! Предки Тану разнесли, потомки сидят на руинах в оковах...

- Умник! Смеешься? Как это вышло?

- Следили.

- А может, кто выдал?

- Тише, родной.
- Не ты ли? Уж больно доволен.
- Тебе-то зачем это знать?
- Мои русичи...
- Глупый! Молчи. Твоих русичей тотчас отвезли б на ромейский торг.
- А посулы?!
- Верь им.
- Обман?...

- Если и выдал кого Гейзерих, значит, так надо было. - Гот сунул пальцы в кудлатые волосы, сник. Совсем как Добрита, вспомнил Руслан. Тогда, в землянке. Или - в лодке...

- Там, в Тавриде, - жестко сказал Гейзерих, вскинув белую голову, - не только пираты живут. Есть и люди. Много людей. Добрых людей. Кому б ни молились по воле судьбы - Одну, Тору, Христу, потреба у всех одинакова: жить в тишине. Землю пахать. Рыбу ловить. Растить плоды в садах. Растить детей.

...Что предки? Потомки за них не ответчики. Занесло сюда дедов - не ворошить же в могилах ветхие кости, жечь их, топтать. Их надобно чтить. Но и не следовать заветам древних без разбору. Их время и нравы - одно, наши - другое.

Раз уж осели в чужих краях, будьте людьми среди людей. Жизнь - война, говорите? Э, уж когда б человеки дотла истребились. Никого на земле. Всюду - кости. Лишь кости. Поля белых костей. Однако людей - вон их сколько. Смеются. Хлопочут. Значит, живы чем-то иным?...

Он глядит уже не на Руслана - на готов своих, будто к ним, бледный и злой, держит речь.

- Но эти стервецы... провидицы, жрецы... не дают человеку спокойно работать! «Война... Войну. На войну». Нет проходу от них, ошалелых. Под окнами бродят ночами. Торчат на дорогах. Женщин сбивают с пути, мужчин принуждают нивы бросать, где-то гибнуть за деньги в наемных войсках. Или - грабить в горах. На море разбойничать... Зуд кровавый! Гниль. Проказа

А отвечать кому? Разорили б нынче болгар... завтра болгары, хазары - готов под корень всех подсекли. Изрубили в отместку баб, ребятишек. Среди тех ребятишек есть и мои. Я от бешеных псов в Тану сбежал, чтоб жить не мешали. Нет, негодяи, и здесь нашли. Таскают. Страшают. Семейю, мол, изведем, - она у них в руках, в Тавриде. Не болгарин вчера жильё обшарил, когда вы в яме сидели. Один из этих. Невмоготу.

Гейзерих отвернулся от хмурых сородичей, подтянул, гремя цепями, ноги. Испугался, что ли: достанут.

- Думаешь, - слезно вздохнул Гейзерих,- легко мне было их выдать? Тот, угрюмый и длинный,- кивнул он на гота, с чьей флягой не раз встречался ночью юный смерд, - брат мой родной. Я долго молчал. Видишь, пытали болгары. Молчал. Хоть на куски изрежьте. Но, раскинув мозгами, решил: выпал случай - не упущу. За всех отплачу. Своим? А Кубрат... он тоже был не чужой. Рыбу вместе ловили. Уху из одного котла хлебали...

Кубрат? А! Жил на земле такой человек. Недавно. Рядом ходил. И - нету его. Почему бедный старик ничего не сказал перед смертью? Мол, помоги. Или - прощай. Нет. Ничего. Умер без слов.

То есть как не сказал? Сказал глазами.

И вспомнил Руслан, чьими глазами пастух глядел на него перед смертью. Глазами Калгаста. Извет! Это слово дурное, зловеще дремавшее где-то внутри, проснулось, блеснуло, как лезвие. Донос. Клевета. Он предал Калгаста. Теперь - Кубрата, пусть косвенно, предал Руслан.

Жизнь! Треклятая жизнь. Я негодяй, это верно. Чьими, однако, глазами смотрел на меня перед казнью Калгаста волхв Доброжир? Не твоими ли, темными, хитрыми, чертова жизнь? Я -

негодяй? Я ко всем... ко всему - с чистым сердцем... А мне - лгут и лгут. Меня самого предают на каждом шагу. Что я могу? Всюду сволочи. Все - негодяи.

Стой. Все ли? А Калгаст, Идар, Кубрат? И Гейзерих? Если б не гот Гейзерих, куда забрел и кем бы стал Руслан, плетясь за Туснэльдой безумной. Спасибо, друже. Уберег.

«Но от чего уберег? - взметнулось в душе. - И для чего? От вольной, пусть и нечестной, зато развеселой и сытой жизни для этих цепей?» Уж лучше - Туснэльда. Туснэльда? Нет. Ни за что. Не по нутру ее путь. Он выстлан костями.

«...Но и холопом не буду, - хмуро сказал он себе. - Никогда не буду холопом. Пусть в оковах. Сейчас - все равно их сниму. Она - поможет». Руслан ощупал на груди сверток с днепровской землей. Она не даст пропасть. И нестерпимо, хоть головой о камни бейся, его потянуло домой. В свою землянку. К пустому кувшину. Но домой путь отрезан. А попал бы туда, не смог уже жить, как прежде, тихо сидеть в землянке. И пробавляться кувшином пустым. Прошлое прошло. Не вернуть. А впереди? Несет его бешеной жизнью, как молодого лося - половодьем, кидая, точно от острова к острову, где злобно рычат то волк, то медведь, от идола к идолу, от одной ощеренной пасти к другой. И тех же Калгаста, Идара с Кубратом, и Гейзериха - совестливых, бедных чудаков, лучших из всех, с кем столкнулся Руслан среди грязных волн - мечет красный поток, топит, разбив об углы алтарей. Муть и смерть,

Неужто нету нигде за синей, глухой и холодной, как очи грозной Туснэльды, сумрачной далью ясного лика, теплых приветливых рук - рук, не запачканных кровью?

...Если б не Руслан, никто наутро не узнал, кто это сделал. На него самого могли бы свалить. Так тихо (в цепях!) подполз лиходей, сумев не встревожить ни караульных, ни пленных.

- Тебя-то зачем заковали? - сказал Гейзериху вечером хворый Руслан, улегшись в пыльный бурьян во рву. - Ты их спас. Должны отпустить.

- Жди от них. И разве я... ради беков болгарских старался? Чтоб милость от них заслужить? Ну их к бесу. Отделили меня от сородичей милых - и ладно.

- Боишься?

- Помнил, на что иду. А все-таки хочется жить,

- Откуда им знать?...

- Не обманешь...

Руслан услышал - сквозь сон беспокойный - возле себя худую возню, удар и хруст, подавленный вздох - и, догадавшись, вскочил, закричал, поймал в темноте чью-то крепкую руку. Факелы. Стража. Немой Гейзерих, сотрясая оковы, бил ногами твердую землю. И мучительно острым, отрывистым, резким и кратким звоном цепей будто молил: «Стой! Перестань, отпусти».

Голова - черный ком в черной луже. И над нею, с камнем в застывшей руке, белый гот очумелый. Браг Гейзерихов...

Ветер. Северный ветер. И солнце.

Изменчива мать-земля. Не увидишь сам - не поверишь, что может она быть этакой гладкой, просторной. И голой, чистой насквозь и пустой. На двадцать верст все открыто глазу окрест - хоть бы вежа где показалась,

Наткнешься на боярышник колючий, и тот - гнется у ног приземистым кустиком, чахлый, кривой.

Лишь у речек редких уныло качались то ясень, то клен, дуб или тополь. Местами деревья смыкались в скудные рощи; Руслану мерещилось - не Баян-Слу ли там шепчет зовуще, таясь в своем платье лесном за стволами шершавыми...

Готы, которых вели позади, обособленно от русичей, дуря от шума осенней листвы,

принимались тягуче горланить. Похоже, Одну, забывшему про них, на долю скверную плакались.

...А ковылей - ими всю степь обмело, словно хвостами белых, буланых, чалых коней; самих-то коней не видать - будто плотно сошлись и ровно, огромным немым табуном, бегут - не бегут, а плывут навстречу тебе, а гривы, хвосты, на ветру трепеща, извиваясь, стелятся поверху. Вся степь струится, рвется из-под ног волнистой сизой пеленой, течет в неясную полуденную даль. И все живое скачет и ползет, спешит туда, на юг. Стрепеты. Дрофы и зайцы. И зайцем прыгающее перекасти-поле.

Караван, и сам не скорый, настигал стада медлительных овец, верблюдов, кочевые повозки болгар, - правда, они попадались реже, чем даже деревья. И так - от Дона, что там от Дона - от дальних порогов днепровских: идешь, идешь день за днем... и за чудо сочтешь, если встретишь сотню-другую безмолвных, печальных людей.

Неужто горе - пастухи и есть те воины лихие, что способны на быстрых конях, не мигнув, сто и триста верст одолеть? Скучные, тихие. Если - они, то, может, не в крови у них свирепость: что-то иное их понуждает грабить и жечь?

Мало народу в степи.

Меньше, чем птиц и зверей. Караван, в свой черед, обгоняли: в вышине - косяки журавлей, сбоку, держась в стороне,- табуны лошадей, диких, степных, стада горбоносых сайгаков. Но всех опережал синий ветер, еще не студеный, солнцем нагретый, но уже по-осеннему свежий и крепкий...

- Эй. - Руслана схватил грозно-сдержанный взгляд желтых глаз. Конник. Откуда такой? В Тане охрана частью сменилась: многих болгар, что вели русичей от Днепра, не видать,- наверно, и этот из новых. Лицо - точно камень точеный; рус, крутонос и на редкость пригож: сокол степной, да и только, В шапке лохматой, и свита не по-нашему сшита, а что-то близкое в нем, но забытое.-Там, позади, один человек... о тебе вспоминает.

- Кто? - Чует Руслан: готы тревожат. Вернее, один из них. Он, проклятый. Тот самый. Убил человека - простили, для острастки при всех отхлестав. Что проку в убитом, хазарам нужен живой.

- Говорит, брат Гейзерихов. Поклон велел передать. Ты что - готской веры?

- Русич.

- Имя?

- Руслан.

- Ну? - радость в желтых глазах. - Аланское, наше.

Руслан удивлен: - Это как же?

- Рус-Аланы. Урусы. Предки так назывались. Правда, ромеи переименовали их в «роксолан» да «аорсов», но такой уж певуче-трескучий язык у ромеев. Всякое слово, попав к ним в уста, обростает углами.

- Слыхал я от старших, - устало сказал юный смерд, - будто русь это скуфь.

- То есть, скута - стрелки. Мы тоже их ветвь.

- Да? И боги у нас - этаких нету у прочих славян: Хорс да Семарг. К примеру, Карась, с кем вместе иду, - из Хорсовой веси, я - из Семарговой.

- Ну? Наши боги! Старые боги. Теперь - Христос, Уацилла, Из древних - Фальвар, Тутыр и Авсати. Хорс - он хороший и солнечный. Верно? Может, от Хорса ваше название, а? Хорс, аорсы - и Русь. Ну, а Семарг... идол такой. Три птицы в нем.

- И у нас он крылат.

- Выходит, урусы - аланских кровей.

Рассмеялись.

- Ты откуда? - спросил довольный Руслан. Бог с ними, с богами - человек попался хороший.- Как зовут?

- Урузмаг. Я в Тане пристал, хазарам служу. Не служил бы - старый Сароз, горемыка, мир его праху, - был у нас царь такой... назад лет сто пятьдесят - ха-ха! - помог, неразумный, аварам (по-вашему - обры) против хуннских последышей. Авары дальше ушли - и пропали, а болгары, хазары остались - и за алан, бедных, взялись.

- От Роси иду - слышу славянскую речь. А самих-то славян не видать. Кроме нас, неудачных.

- Погоди. Еще встретишь.

Сунул руку в суму переметную, грозный взор - на болгар; дернув щекой, подмигнул русичам - не убьют, обойдется, склонился и быстро вложил Руслану в ладонь белый дырчатый сыр.

- Хлеба нету. Готу тому что сказать?

- Пусть боле не лезет с поклонами.

- Ладно. - Отъехал.

...Сдружились, которые раньше, на родине, вовсе не знали или еле здоровались, даже насмерть враждовали. Чем шире растекался мир, куда их кинула судьба, тем теснее смыкались они - как пальцы сжимались в кулак.

Хлестнет кого буйный страж - звереют, зубами скрежещут. Прут плотной стеной на тугой, по-степному злобно свистящий ременный прут,- и страж, испуганно бранясь, спешит свернуть свою плеть. Осмелели пленные после Таны.

Чем дальше уводили русичей, тем ближе они сходились

И надо же в чертову пасть попасть, вдосталь отведать плетей, чтоб оценить крепость сдвинутых плеч. Будто там, на Руси, никак уж нельзя было бросить раздоры, друг друга чтить, уважать.

Глядишь, не очутились бы в чужих краях...

- Экая даль, - вздохнул Карась со смутной досадой: в ней и тоска по дому, и восхищение певучей необъятностью. Теперь он шагал в паре с Русланом.-

Сколько земли нетронутый, пустой. Распахать бы, засеять - горы зерна, милый мой, можно б насыпать. Вместо этих курганов постылых,- кивнул он на цепь замаячивших слева синих бугров. - Таковую-то землю, жирную, сытую - и без толку держать, стадами топтать. Эх, дурачье.

Сказал он это без злости, скорее - с жалостью даже, и не только к земле, лежавшей без пользы, но и к тем, кто бродил по ней со стадами. Научились в Тане русичи и себя понимать, и болгар, хоть немного, отличать одних от других.

- Пастухи.

- Все равно - не знают ей цены. С умом подойти: и сена хватило б для ихних овечек, и хлеба бабам, детишкам. И по белу свету рыскать не надо. Нет, куда,

Грابتь легче. Ленивы, собаки.

- А старый болгарин - покойный Кубрат... журил русичей: ленивы.

- Ишь ты. На разбой мы, может, и ленивы, а землю пахать... Сюда б русичей.

- Попросись: мол, подвиньтесь.

- Всем бы места хватило, и хлеба, и сена. Вот только ума не хватает человекам.

«Но эти стервецы, провидицы, жрецы», - вспомнил Руслан. С чего ни начни разговор: с земли, или с лаптей, которыми топчешь ее, или даже с трещин на пятках, все равно придешь к одному...

- Ума-то палата, да не дают им раскинуть.

- Кто?

- Бог да бек.

- Да, - Карась поскучнел, боязливо повел головой, чтоб поправить на шее рогатку - и кожу чтоб не содрать. - Беку - зачем ему землю пахать. У него... табуны, - Искоса глянул на небо, тихо сказал: - Ну, а бог? Почему он за тех, которые против ясного смысла?

- Откуда мне знать.

- Волхв толковал: богу тоже хочется есть. Кто кладет ему сытную требу, к тому он и благоволит. А где ее взять, жертву жирную?

- Разбогатеи.

- Хочу, брате! Хочу. А не могу...

- Дед мой, бывало, нас поучал: «Богат, кто силен, а силен, кто умен».

- Боярин иной - дурак дураком, а толстый. Я вроде неглуп, но никак, хоть убей, не изловчусь раздобреть.

- Выходит, все-таки глуп. Суди об уме по достатку. Легко ли добыть, удержать да умножить.

- Было б чего умножать.

- Пучина к тому добавляет, что от отца получил. Отцу же от деда усадьба досталась. Так и идет.

- Откуда оно повелось? Кто первый и как, милый мой, удачу сумел за хвост ухватить? Почему ему перепало, а остальные остались с пустыми руками? Чем он был пред богами лучше других?

- Был расторопным.

- То есть хитрым и жадным. Ага. Значит, древний наш Род, Хорс, Стрибог и Семарг, из-под которых мы на белый свет глядели и людей судили, и через которых люди сходились с нами или расходились, и кому, честно трудясь, мы несли последний кусок, сами не ели, лишь бы их ублажить, - вовсе и не думали про нас, усталых, смиренных, они - за расторопных! То есть за лукавых лиходеев?

В круглых волглых глазах, в губастом, тоже округленном, рту: недоумение, боль, и с нею - страх, как у рыбы, вынутой из воды. И впрямь - Карась.

- Видно, ты верно сказал: мы сброд никчемный, безмозглая сволочь, и нечего нам, остолопам, на счастливых коситься, завидовать им. - Помолчав, проворчал: - Не знаю, как твой, мой дед говорил - раньше, покуда волхвов не развелось, точно клопов, - не угодит если идол народу, зря требу ест, его вырывали и в речку кидали. Неужто правда, а, друже?

- Отстань, Карась! - Устал он голову ломать над этим. Устал от злых богачей, от недобрых богов - их благодетелей. Степь нагнетала в душу сонливость. Пастухам - чем им плохо? Так, может, и надо - бродить наугад, дремать на ходу, пока не помрешь.

...А впереди вставал уже новый рубеж. Полоса голубая. Дым, облака? Нет - идешь, идешь: она на месте, все шире, темнее, сверху - в белых зубцах. Руслан спросил у стража:

- Море?

- Горы, - ответил алан. - Кавказ.

Жутко смотреть. После днепровских порогов впервые встретили лес, и тот, нелепый, черно-зеленой стеною вздыблен над степью. Выше: хребет на хребте, чистый снег, и меж туч - лезвием острым - обледенелый гребень.

Уже зима наверху.

- Там вечно зима, - сказал Урузмаг.

- Это, наверно, и есть край земли. Поди одолей. Немыслимо, чтобы где-то еще, за дикими кручами, ровное место нашлось и люди держались на нем.

- Те, что живут позади диких круч, - усмехнулся алан, - тоже небось, впервые к махине этой приблизившись, судят о ней подобно тебе.

Всюду - камень. Селение в каменных башнях, узких, высоких. Переходили напротив него озорную, узорную, в пене, в крупных, с корову брюхатую, сизых обкатанных глыбах, подгорную речку - повозка, где с присными ехал главный хазарин, резко скривилась... и скинула, гордых, в стремнину. Вопль. Вода - холодна, как в полынье.

Хазар подобрали, вынесли верные конники.

Стучит барабан, дудка пищит. Старые горцы в бараньих папахах, в свитах белых, нарядных, с мечами короткими на животах, встречая - заранее, видно, их известили - грозных гостей, укутали их, украдкой смеясь, озябших и мокрых в черные шубы с прямыми плечами без рукавов, и важно, с почетом, наверх увели. Опять пировать. Всю дорогу от Таны хазары, болгаре - веселые, пьяные.

Горцы в кафтанах и шапках поплоче, обтертых - без охоты к алану: не надо ль помочь. А помочь - не спешат. Он им по-булгарски:

- Друзья, волоките на берег арбу. Ось, видно, сломалась... От самой Таны, стерва, верещала, истерзала мне слух. Кузница где? Ого! Высоко. - И русичам: - Эй, Уруслан, и ты, его приятель, не возьметесь ли ось до ковалей дотащить? Телегу туда не поднять - крутизна да уступы. А? Пройдетесь, на девушек горских насмотритесь. Какая ни есть, а, потеха. Небось надоело: в куче да в куче, точно бараны в гурте. Ну, идете?

Другой бы - плетью хлестнул, и весь разговор. Что значит родство древнее, кровное, общность старых богов. Стой, а при чем тут они? С них - беседу начать, знакомство и только. Мало ли родичей кровных режет друг друга, единому богу молясь. Просто - такой уж он человек. Честный и добрый.

Все - в уступах. Уступами горы, плоские крыши. И поле над полем, уже пустое. Эх! Хлеборобы живут. А то уже мнилось: опричь русичей, на свете сплошь пастухи.

- Какой тут народ? - спросил Руслан у алана. - Иберы? - Припомнил, что от Уйгуна слышал. Вот они, башни крутые. И страшно, должно быть, в них, тонких, высоких, сидеть. Чудится - падают, рухнут сейчас на тебя.

- Адыге. Иберам родня. Те - за горами,

- Тоже хазарам подвластны?

- Все тут подвластны хазарам. И дальним иберам от них достается. Все, да не очень, - мигнул он с угрюмым лукавством. - Законы и вера - свои. Вроде алан адыге: живут племенами, и племена те меж собою в союзе. От буйных болгар, от хитрых хазар откупаются данью.

...Здесь воздух даже на ощупь тугой, чисто звенящий. В груди от него просторно, свежо и отраднo, как от женского смеха. Воздохнешь - и ясно слышишь, как нутро с довольной дрожью жадно всасывает летучую благодать.

Вместо улиц - тропинки вдоль низких оград бело-каменных, а вот и плетень, и кувшины на нем. Всюду женщины моют и сушат кувшины, - люди пьют и едят, как у нас.

Стук да звон. В шапках мохнатых, в ноговицах, чувяках - люд у широких дверей. Заметный народ. Носаты, чернявы. Статны все на подбор. Алан к ним - с важным поклоном. Ось, мол, сломалась. Нельзя ль починить. Озадачены. Видно, некстати явился к ним с делом алан. И прогнать, наверно, зазорно. Совещаются. Экий чудной тут язык - ломкий, шипящий. Пошумев, расступились. Указали место у порога: сидите, не шевелитесь.

Смотрит Руслан - у черной стены распластан на шкуре заросший до глаз, тощий мужик; ноги - в лубках, обернуты войлоком. Возле девчонка сидит с платком на лице: только глаза, длинные, черные, точно кузнечная копоть густая, снаружи. Глянула ими с испугом на пленных, голых до бедер, в цепях, к тому человеку взор отвела - он веки сомкнул - и грохнула чем-то железным по лемеху рядом с его головой.

Очнулся человек, зубами заскрипел.

Тщится не плакать. Пот на выпуклом лбу - точно брызги речные на белом камне. Белый нос уткнулся крючком в искривленные губы. Только задремлет, девчонка - по лемеху ржавому. Кто зайдет со двора, тоже стучит о железо железом. Без того будто звону и грохоту в кузнице мало.

Он со стоном таращит глаза - хворые, впалые. Алые от жгучего дыма, от света углей горящих. Дурные от долгой бессонницы. В них страх и боль. Водит ими по лицам, спокойным, даже веселым, по стенам, неумолимо черным и глухим, пыльному меху кузнечному.

- Это... зачем? - крикнул русич в ухо алану. - Наказание, что ли, такое? - Морщась от чада, от стука и скрежета, хмурый алан подал знак ему смуглой ладонью: молчи. Вздохнул обалдело - не наше, мол, дело.

...Чем же он, бедный, так провинился перед сельчанами - жен, что ли, выкрал у всех, или младенцам пятки отгрыз, - что ноги ему перебили, теперь измываются, вовсе хотят извести?

А девчонка... где ее робость да нежность? Жалость, тревога? В ясных глазах - безмятежность и простодушие. И ни капли сомнения. Кто она - дочь, сестра? А может, жена? У болгар, вон, девчонки тринадцати лет уже замужем. Ей-то он чем досадил? Чистой была, а он подстерег, надругался, - за это и мстит? Не похоже. Рыдала б, стеснялась.

Едва заметит женщину Руслан, пьянеет, немеет, хоть и усталый, голодный и грязный. Живой человек, молодой. Ищет в лицах, бровях и глазах приметы Баян, каждую новую видит через нее. И к этой сперва - с той же меркой, радуясь встрече. Однако теперь, страшной она показалась Руслану. В ней что-то от старой Туснэльды. От веры ее тупой и жестокой: «Так надо».

Кузнецы, раскалив добела концы двух обломков железного стержня тележного, занесли их в клещах над преступником.

...Урузмаг успел схватить юнца за плечи. Аи, глупый! Сиди.

Сейчас зашипит... мясом горелым запахнет...

Два железных куска. Сдвинув их, у излома солнечно-ясные, далее желтые с алым и сизые, они провели с бормотанием ими над ногами в лубках, к наковальне вернулись, и самый большой, бородатый, ахнув, обрушил на стык голубую кувалду. Гром, искры. Молнией блещет ось. На балках - полосы адского света, тени кривые. Будто сюда залетел обрывок грозы, бушевавшей в горах.

И мнилось Руслану - он, обессиленный, потный и бледный, лежит без ног у стены. Ему волосатые темные бесы плющат колени и ступни. Голову. Мозг. Над ним, сторожа, сидит с молотком черноокая тварь...

- Лечение это, по-ихнему - чапш, - сказал Урузмаг, когда русичи, взвалив на плечи готовую ось, ощупью - пальцы б не сбить на ногах, не упасть - спустились по круче к реке.

- Лече-е-ние?!

- Да. Железо целительно. Тот человек - зверобой! Не угодил чем-то Мезитху, адыгскому богу охоты, духу лесному - свалился в горах со скалы. И принесли его к богу кузнечному, имя которому - Тлепш.

- Плешь?

- Кузнец - богу этому жрец. Он скрепляет молотом доли железа: так и Тлепш соединяет сломанные кости.

- А другие... зачем стучали?

- Они - помогали. Уснет - душа улетит, улетит - то ли вернется, то ли забудет.

- Ему бы, хворому, есть да спать, - заметил Карась. - Отдыхать без тревоги. Скорее бы кости срослись, Зверь, ногу сломав, тихо в пещере лежит, рану лижет. Неужто даже до этакой малости, всякой козявке доступной, люди умом не дойдут? Не слепые же все. Глаза, как у соколов, зоркие, разум в них виден - раз уж живут человеки в трудных местах, где часты

несчастья, должны бы давно научиться хоть чуть отличать плоть от железа. Дымом душат, громом глушат. Не лечение - смертоубийство. Говорят в народе: здравый смысл. Какое же надо кривое ума ухищрение, чтоб его, этот смысл, - наизнанку: явное, ясное - не принимать, в чертову заумь - верить.

- Так надо.

- Кому?

- Богу и старцам. Тому человеку. Чтоб хорошо ему было. Ему и всем.

- Ему... и всем? - усмехнулся Карась. - У кузни - овечка на привязи. Она тут к чему?

- Кузнецу приношение.

- А! Если кому и хорошо, то кузнецу и подручным.

- Ну, все равно... люди хотят человеку добра.

- Добра? - изумился Руслан, И побелел. Верно, хотят. Здесь таилось что-то преступно нелепое, мерзкое.

Может, это и есть в мире самое страшное: люди хотят человеку добра - и калечат его. И женщина... ей надлежит любить и жалеть,- жалея, сидит над ним с молотком...

Ночью, голодные, голые, грязные, в рабских рогатках, с босыми ногами, разбитыми долгим путем, лежали они, тесно прижавшись к острой и твердой земле - чужой, неудобной, где-то за тысячу верст от своей, мягкой и черной, и, коченея на воздухе - жгучем, яростно чистом, густо стекавшем с обледенелых высот, слушали гул барабана, странный напев горских дудок.

Днем он казался им резким, визгливым, нескладным. Теперь же, привыкнув к нему, дрожаще-струистому, быстрому, в частых узорах, круто закрученных, четких, они убеждались: добрый напев, ясный, веселый И к месту он здесь. Словно это река со всем своим звоном, галечным стуком, журчанием, плеском легко поднялась с каменистого ложа и потекла над селением - А хорошо! - Карась расправил грудь и лег свободнее. - Горы и степь... И море - ты помнишь? И ветер. Ягнята. Костры... Хорошо на земле. И люди на ней... не то, чтоб уж очень хорошие, но трудовые и честные. Ведь не забава: отары пасти, землю пахать, кувалдой махать. Только сперва кажутся злыми, опасными, - вот как алан Урузмаг, - а разглядишь: человек - он и есть человек. Однако... живет будто во сне, и сон у него - тяжкий и темный.

- Ты умный, Карась?

- Я? Не знаю. Пожалуй, не глупый. А ты? Тоже не скуден. Все умные, друже. Все на земле.- И добавил с печалью: - И все вроде безумных

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ

Дух господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето господне благоприятное.

Исайя, гл. 61 ст.- 1-2

Ветер. Горы и степь. Крутые увалы. Снова в дорогу. В дорогу. В дорогу. Мы гложем даль, даль гложет нас. Где-то здесь обитали (вспомнил Кубратовы речи Руслан) ханы Батбай, Аспарух - пока не напали хазары. Булгары сместились, аланы остались. Еще до увалов, вставших на пути, ветвясь на север от Кавказа, и до Кубани, и редких адыгских селений, в степи, по соседству с шатрами булгар, попадались аланские веси: валы земляные, за ними - дома из плетней, обмазанных глиной.

Плуг да кнут пастуший, да вино, да боевой топорик - они составляли с виду суть жизни гордых алан. Дивились местным бабам русичи - с мечами, щитами; бабы в почете. Позже узнали - не все, лишь княжьих кровей. И поражались мужчинам, высоким, носатым, усатым. Думали: боже! - красивый народ.

Завидуя им, прямым и плечистым, Руслан, не забывший слов Урузмага, искал: что здесь русское?

И находил: в этих плетнях, валах земляных, очагах глинобитных, ямах для жита, лощеных горшках, берегах - точно таких, как у русских, и в песнях, тихих, грустных, бесконечных, словно колыхание ковылей.

Будто он был здесь когда-то.

- Ох, песни! Славные песни.

- Да? - Урузмаг улыбнулся, довольный. - Но, честно сказать, поют лучше всех на Кавказе армене.

Однажды увидел Руслан: юная, в платье до пят, тонкая женщина, взяв полотенце, кувшин, долго стояла утром в углу, скудной струей наливая теплую, с паром, чистую воду в медный блестящий тазик, тихо смеясь. Личико - узкое, темное, нос тяжелый, глаза в толстых веках подслеповато прищурены. Бедро - в сомкнутых лапах его уместились бы. Смех на маленьких круглых губах - плачущий, жалкий.

Тронута, что ли, бедняжка?

Глянула - смотрит Руслан, застеснялась. И, похоже, не оттого, что он смотрит, - приветлива, доброжелательна, видно, он ей по душе, - а оттого, что она совершала что-то убогое и надоевшее, но, должно быть, очень уж нужное. Кому-то, конечно, не ей.

Течет из кувшина в тазик вода - тазик уныло звенит, - стекает вода через край, уходит в канаву. В женщине - скорбь. Жизнь молодая уходит впустую, течет по замшелой канаве.

- Аза, сестрица моя, - пояснил Урузмаг. А! То-то они обнимались дотолы - когда алан и русич сюда забрели водички попить.

- Что это с нею?

- Мужу умыться дает.

- Где ж он, муж? - Смерд удивленно уставился в угол пустой, где робко она хлопотала - ни тени мужской у кривого столба, печально навес подпиравшего под небом синим, холодным.

- Умер полгода назад. Вредный был человек, - тьфу! - мир его праху.

- Умер? Зачем же...

- Так надо. Каждый вечер постель ему стелит, спит с духом бесплотным,

- И долго ей этак чудить?

- Полгода еще.

Злая потеха. Сколько сил у живых: уходит на мертвых. И вспомнил: а на Руси? С мертвыми бабы, правда, не спят, зато на могилы носят припасы, пьют и едят - кормят усопших, которые, - пеплом, костями горелыми смиренно лежат в домовинах.

...Пленных разместили за оградой, в пустом обширном загоне для овец. Дух - невыносимый. Ноги вязнут до колен в зеленоватой хлюпающей каше из катышек, размокших в моче. Ну, что же. Пускай. Как тут быть? Улеглись. В дальнем углу бушевали готы: «Эй русс!».

- Идите вы к черту, - ворчал юный смерд. - Привязались.

Ему с Карасем повезло: у белой ограды, приникшей к холму, в жиже зловонной - камень плоский, большой, на нем приютились. Эх-хе-хе! Карась Руслану в глаза поглядел, Руслан - Карасю; поерзали, подобрались - друг друга чтоб не стеснять, да притихли.

Наверху - усадьба крутая: белый камень в стенах, над стенами - дым, тоже белый; мясом жареным пахнет; люди в белых бешметах к воротам идут и идут, - свадьба, что ли, у них; но

почему же дудок не слышно, песен веселых, - гости все грустные, важные? Ясно одно: на горе - пир горой; про пленных же нынче забыли - бурды повседневной, и той не несут.

- Еруслан! Ой, Еруслан... - Тот, было задремавший, услышав, веки раздвинул. В первый миг показалось ему: кличет отец. В миг второй - осознал: отец-то умер давно; кто зовет? Карась громко стонет: «Убей меня, друже! О камень ударь головой - упокоюсь. Устал...»

Руслану же не до него: хоть сам, заорав, челом загорелым грохнись о камень.

- Это кому тут не терпится сдохнуть? Рано еще! Поживи, погуляй. Цепь на ногах потаскай. Ишь, где укрылись. А я вас ищу... - Урузмаг - верхом на ограде, пьяный и злой. Развернул узелок: хлеб и мясо. - Снедайте, вы, перекатная голь.

Вцепились в еду. Карась:

- Свадьба, что ль?

- Нет. Поминки. По-нашему - хист. Пропал человек.

- Зарезали, что ль?

- Я о живом говорю, не о мертвых. Те в земле уж который год.

- Что-то я не пойму: кто пропал, почему?

- Нет большей обиды у нас, чем сказать: «Мертвых своих держишь впроголодь». Их надо кормить - то есть гостей звать к себе, печь хлеб, резать скот - чтоб всю общину насытить. И так - каждый год. Сородичей мертвых немало. Соседей живых - тех поболее. Не знаю, много ль едят покойные - живых лепешкой не ублажишь. С поминками медлишь - в общине проходу нет мол, вот негодяй! Шкуру сдерут. А кто послушен, того подстрекают на новые траты: он, мол, человек чести. Хороший человек. Я отчего в наймидах хожу, брожу с караванами? Нищий. Хозяйство - дном кверху. Дотла разорен поминками частыми...

Он с кряхтеньем улегся спиной на гребень ограды, руки за голову кинул - и будто хотел засвистеть, но тут же губу закусил, лишь замотал головой.

Руслан бросил кость, кою дотолле глодал; Карась, как слепой, хотевший в реке искупаться, С боязнь спустил ноги в зеленую жижу загона. И, как слепой, пустоту озирая, с испугом сказал:

- Живых... мертвые жрут?

Ветер на миг прорвал пелену испарений, незримых, но осязаемых и гнусных, по лицам хлестнул назидательно; ноздри сузились, свежесть лова, раскрылись искательно, жадно... но тут ветер стих. Снова удушье. Однако в Русланову юную душу вселилось уже - пусть смутным намеком - ужасное, неискупимое: «Живые во имя мертвых гложут живых».

И опять, и опять, и опять - скорбный путь...

Пленные Роду молились, Хорсу, Семаргу. Кто умет хоть чуть волховать, обереги делал для других. Не железные, правда: где его взять, то железо, да и как с ним управиться без молотка, без клещей, без прочих орудий кузнечных? Из прутьев плели, Хитро вязали тряпье. Может, поможет...

Руслан шагал опустошенный.

- Знаешь, - сказал Карасю. - Похоже, все заодно: Теньгрей, готский Водень и Плешь.

- А... наши? - со злостью - Карась.

- Они? - У Руслана язык сразу усох. - Жутко мне, брате. Однако... чем они лучше? Недобрые. Страшные.

- Вроде чертей.

- Молчи, лиходей! Род - он покажет тебе...

- Роду я боле треб не кладу - и не буду.

- Дурень! Уймись. Испепелит... - Но прежнего страха в душе нет уже: только боль да печаль.

- О боге, я слышу, бедные чада, ведете речь? А ведомо ль вам, кто он есть?

Глянули: сбоку идет старик, босой, в ризе рваной. Тот самый, который вчера Руслану рубаху

отдал свою. Он пристал к вшивой грязной толпе в аланском селе, где поминки справлялись, и сразу всех покори́л, удивил - будто веревкой незримой скрутил и без боли их удавил. Тихий, немощный, добрый - а властью, похоже, немалой владел: аланы, болгары, хазары его стороной обходили. А встретясь нежданно лицом к лицу, смирели, просили благословить.

О пленных хлопочет. Стражу просит не бить утомленных, коль упадут. Воды принесет, освежит да подымет, поддержит в пути. Пользует раны мазью целебной, а души - словом приятным и ласковым. Суму на стоянке развяжет, хлеб вынет, разломит, раздаст, а сам ничего не ест. Чем жив человек?

С ним полегчало. Видать, пожалел он Русланову молодость: холодно ночью у гор - с плеч своих рубаху стащил, велел ее смерду тут же надеть.

По-славянски бает, как русич, и по-булгарски - как истый булгарин. И с готами тоже (Руслан услышал краем уха) сердечно толкует на их языке. Носат. Сухой да седой. Лик - точно из воска отлит. Глаза же и брови - словно из сажи, смешанной с маслом. Блестят. И разум в глазах - сокровенный и жуткий...

- Вроде чертей, говоришь? Нет, чадо, не вроде: черти и есть. Бог - иной. Он единый. А те - поганые идолы.

- Ты, Отче, ромей, или кто?

- Пред богом моим «нет ни эллина, ни иудея, обрезания, необрезания, варвара, скифа, вольного или раба, но все и во всем - господь». Павел - Послание к колоссянам. Ибо, сказал он в письме к коринфянам, «все мы единым духом крестились в тело одно...»

Руслан удивился: еще не слышал он о бже, для коего все - дети родные.

С усмешкой - Карась:

- Доселе мы зрили: у каждого рода - свой ненаглядный господь. И роду чужому он враг. Ну, а кто сей всесветный защитник?

- Знамя его - любовь и спасение.

- Имя?

- Христос,

- А! - Карась отвернулся, сердитый. - Ты тоже, похоже, из этих... ромейских святых. Видели в Тане такого. Жизнью земною не дорожит, небо ему подавай.

- Ты дорожишь?

- Ну, еще бы.

- Зачем?

- Как зачем? Ведь я человек...

- Человек? - Он живо метнул - в Руслана, не в Карася - взгляд ножевой: душу ему насквозь пропорол. - А много ли радости в жизни твоей, человек? - тихо, скорей для себя, чем для них, промолвил старик с пронзительно чистой и ясной печалью. Почудилось юному смерду: слабый, смертельно усталый, сердцем приник странный попутчик к его изнуренному сердцу.

- Жизнь земная? - Старик коснулся ладонью рогатки, плотно сидевшей на шее Руслана. - Не это ли знак ее, зримый и жесткий? Она есть юдоль скорби и слез.

Больше старик не отходил от этих двух русичей. На остановках коротких и в долгом пути он с жаром излагал свое вероучение.

Он говорил: нет на земле уголка, где б кровь не лилась. Распри, Война. Голод, болезни. Злоба и ложь. Попробуй доверить кому-нибудь тайну, жизнь или деньги. Опасно. Оступись, упади - никто руки не подаст, затопчут. Даже в единой семье - споры, раздоры: супруги друг другу - первые враги. Жестокость меж ними, непримиримость. А ведь, по сути их жизни совместной, быть не должно на земле двух людей ближе, роднее, вернее, чем муж и жена.

Повсюду - безумие, жадность, разврат. Ни жалости, ни снисхождения. Никто никому ничего

не хочет простить. Если кто-то постучал в твою калитку, знай наперед, что он пришел с дурным известием. Попадешь в круг друзей - приветствия, добрые пожелания; уйдешь - насмешки, злословие. Благодарность? О ней забыли. Дети, окрепнув, уходят: прощайте, отец и мать, чтоб вам издохнуть, нам не до вас; или, оставшись, стараются их скорее сгубить. Люди осатанели. Каждый готов за десять монет соседа или друга, не говоря о прохожем, зарезать. В гости кого позовешь: напьется, утробу насытит - и тебя же задушит, ограбит. В гости пойдешь - оберут, избыют, выкинут ночью за дверь. Это все не к добру. Мухи беснуются, злее кусают - когда? Перед ненастьем. И люди шалеют перед великим несчастьем.

- Мир - хвор! Пусть же он рухнет скорее - вскинув посох, неистово крикнул старика внезапно прорвавшейся сквозь доброту и печаль жгучей ненавистью.

...Руслан на какое-то время оглох. Видит: качаясь и плача, в цепях, еле плетется обросших и тощих людей вереница за желтый увалка за увалом - черное небо в тучах осенних, на лицах - мертвенный отсвет вечных горных снегов, и ни звука вокруг. Ни звука! Будто само человечество вдруг онемело, оцепенело бредет за голый увал, в пустоту, где чернота, одна чернота, безнадежность. - Отчего же оно... худо так на земле? - хрипло крикнул Карась.

- За грех первородный несем наказание. - Что за грех первородный?

- От Адама и Евы, познавших друг друга наперекор соизволению божьему и положивших начало роду человеческому.

Далее он поведал: чем больше плодилось людей на земле, тем хуже они становились. Все помышления их обратились ко злу, всякая плоть извратила свой путь. Первый сын Евы, завистливый Каин, пахарь, убил Авеля, брата, пастыря овец, за то, что братнины подношения, мясо и тук, больше понравились богу. С тех пор и началось на земле истребление людей людьми.

Праведник Ной, упившись вином до положения риз, свалился в шатре; сын его Хам, узрев наготу отца, осмелился осмеять его перед братьями, за что и был проклят Ноем и сделан «рабом рабов» у братьев своих Иафета и Сима. С тех пор и завелось на свете рабство. Патриарх Авраам первым из людей совершил выгодную сделку; уступив за скот, мелкий и крупный, ослов, и рабов, и рабынь, и лошадей, и верблюдов жену свою, Сарру другому мужчине - фараону Авимелеху, выдав ее за родную сестру.

Мужчины Содома совокуплялись с мужчинами и чуть сделали насилие над ангелами господними, посланными узнать, что творится в этом беспутном городе; женщины развеселой Гоморры, вконец развратившись, ублаговворяли похоть, ложась с подругами и соседками.

Исав, сын Исаака, внук Авраама, за чечевичную похлебку продал свое первородство близнецу, брату своему Иакову, - из-за чего лишился отцовского наследства, поскольку перестал считаться старшим сыном, и впал через это в бедность. Лия, дочь Лавана, за несколько клубней мандрагоры купила у сестры своей Рахили, жены Иакова, дозволение переспать одну ночь с ее мужем. Рахиль, покидая с Иаковым отчее становище, украла у Лавана его домашних идолов, - чтоб присвоить их доброту, покровительство, милость. Иаков схватился ночью бороться с самим всевышним, чтоб вынудить у него благословение.

Онан, сын Иуды, внук Иакова, первым додумался до рукоблудия, - не хотелось ему отдавать свое семя Фамари, вдове покойного брата Ира, и он изливал семя на землю. Фамарь переделалась блудницей и ради козленка, которого ей посулил Иуда, легла спать со свекром.

- М-м... - промычал Карась. - Видать, только и было забот у первых людей, чтоб с кем-нибудь лечь. И бог за ними всеми следил?

...Люди делали себе кумиров - идолов каменных, медных, золотых, деревянных - и поклонялись им, забыв об истинном боге. И раскаялся бог, что создал человека, и воскорбел в сердце своем. Прогнал от себя буйного Каина, и поселился тот в земле Нод, вдалеке от райского

сада Эдема. Всемирный потоп господь наслал на людей, голод, чуму и проказу. Пролил дождем на Содом и Гоморру серу, смолу и огонь, испепелил все живое: людей, и стада, и зелень. И умертвил он Онана, дабы впредь никто не изливал расточительно семя на землю.

- И поделом, - согласился Карась,- Ишь, наловчился, паскудник, баб обкрадывать. А как господь поступил с Оврамом, что женой своей торговал?

- С Авраамом? Господь устроил вещим сном Авимелеха, царя египетского, - «знай, непременно умрешь», - и фараон вернул Аврааму жену, не тронув ее, и добавил в придачу еще скота, мелкого, крупного, и рабов, и рабынь, и тысячу сиклей серебра.

Карась:

- Чем же виноват Ове... этот самый... лемех, если Оврам, уступая Сарру, выдал ее за свою сестру? Оврам, вымогатель хитрый, облапошил Лемеха, но пострадал от бога не он, а Лемех, простодушный, доверчивый. Справедливо ли сие? И разве хорошо: Ной, не стесняясь детей, упился до срамоты, а Хам - отвечай?

- Так было угодно богу. Бог волен поступать, как хочет. На то он и есть господь. И пути Господни неисповедимы. Предмет христианского учения есть бог непостижимый, и многие части учения не могут быть объяты разумом. Не допытывайся тайн божественного величия, даже не желай о них узнать, иначе будешь уничтожен блеском славы его.

- Мудрено, - вздохнул Карась.

Старик:

- Избегай дерзостных вопросов и - веруй.

- А что это - вера? - робко спросил Руслан.

- Вера - уверенность в невидимом как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом - как бы в настоящем. Веруй! В светлом господнем чертоге нет места для слов «зачем» и «почему».

- А без «почему» нет человека, - хмуро сказал Карась. - Дитя с каких слов свою жизнь начинает? Чуть подрастет, пробудится в нем соображение, - самое первое слово у него на устах - «почему». Почему да почему. - Не будешь ему отвечать, глядишь - вырос дурень. Ему надобно знать, почему.

- Знание противно вере. Мысль - бесстыдная, быстропарящая птица. Знание принадлежит уму, а вера - сердцу. Оставь сомнения и верь божьему слову, оно непререкаемо.

- На что мне тогда глаза и уши, и разум, и прочее? - уныло вздохнул Карась. - Мы, чай, не бараны.

- Мы суть словесное стадо Христово, он - пастырь наш. Куда поведет, туда и следуй.

- Хм. - Карась окинул усталым взором толпу безмолвных пленных. - Стадо и есть: «скот мелкий и крупный». Дале, старик, повествуй. Господь, говоришь, и так, и этак людей изводил, а они, дурные, не унимались?

В предгорных степях, закручиваясь мглистыми вихрями, пленных настигли первые удары здешней зимы.

Жутко подступать к шумным речушкам с заиндевевшими кустами на плоских берегах, с туманом, повисшим над перекатами ключьями нищенского отрепья. Чтоб дойти до прозрачной черно-зеленой поды, усеянной пузырьками, исходящей паром, точно в котле, надо минуть ледяной припай у берега. Ступаешь по льду, тускло-голубому, мокрому от брызг, или белому, присыпанному изморозью,- босые подошвы крепко прилипают, не сразу отдерешь.

Речки тут разливаются по широкому галечному ложу многими бурными рукавами: перейдешь по мелководью один - впереди их еще три-четыре. Не так трудно шагать по холодной воде (на дне песчаные наносы, на них, мягких, нога отдыхает), как по кочкам и гальке меж рукавами. Оцарапанные, сбитые ноги кровоточат, становятся пестрыми, неуклюжими, тяжелыми от примерзших к ним на воздухе острых мелких камешков.

Поток - проворный. Сорвешься с переката в яму, десятью собаками вцепится жгуче-студеная вода. Вылез из речки - скорей оттирай онемелые ступни тряпьем, жесткой, сухой, седой от мороза травой. После того не идешь, а топаешь, окоченело стуча по твердой стылой земле, версту или две, пока кровь по жилам не разгонишь. А кровь разгонишь - загорается в ступнях боль нестерпимая, гнутся колени - сейчас упадешь.

Так исстрадались на диких бродах, устали пленные от речек злых, что, заслышав где-то впереди недобрый шум воды, принимались кричать. Словно там, впереди, зловеще урча, их ждал исполинский змей-людоед.

Но идти надо, хочешь, не хочешь: стража орет: «Скорей», нещадно бьет плетьюми, а то и булавами, а мостов - нигде никаких.

Каждый переход через дурную речку - пытка, и пытка холодом не легче пытки огнем. Иные трогались умом. Но дивно: никто в караване, кроме готов, дивно изнеженных теплом Тавриды, не простывал, не хворал горлом и грудью. Может, оттого, что русичи были издревле привычны к холоду. Иль оттого, что человек а час невзгод, суровых испытаний живет в свою полную силу, а сила эта - неисчерпаема, неодолима?

У одной из переправ Руслан услышал отдаленный звук, похожий на чей-то печальный зов. В полях сгущалась мгла морозная, над речкою стлался туман, и вдруг - точно кукушка где-то задумчиво закуковала. Словно бы уснул он ранним летом в полдень, у воды на горячем песке, и белая девушка, худенькая, синеокая, бледная от нетерпения, присмотрев в кустах укромную поляну и распустив светлые-светлые: волосы, кличет его голосом тихим и жадным...

Руслан - подъехавшему алану:

- Что это, а?

- Баб албанских, армейских ведут.

Скрип колес и перестук копытный. Хлопанье бичей. Свирепая ругань. Из-за, бугра к реке отряд хазар, возвращавшихся из очередного набега, выгнал толпу глазастых женщин в длинных изорванных платьях.

И на женщин-то мало похожи, хоть и молодые, - уж больно они неуклюжие, крупные, грубые с виду, безобразно толстые или уж вовсе тощие и плоские, темноликие, от холода синие, лилово-смуглые, с густыми бровями, с тяжелыми, будто каменными, мужскими носами и подбородками, с черными волосками на жестких губах. А поют - до слез задушевно и нежно: хор негромкий - будто малых детишек, мерно в зыбках качая, мирно баюкает, а одна - голосит надрывно и скорбно, протяжно, тоскующе, будто узрев, что дети-то - мертвые... - И все-таки женщины.

Казалось, вокруг них еще витает запах парного молока и хлеба, запах мяты, нагретой ясным солнцем зеленых закавказских долин. Но в глазах уже залегла смертно-холодная тень глубоких сырых ущелий, по которым, оторвав от родимых порогов, их гнали в неведомое.

Увидели скопище полунагих, одичалых мужчин - запели громче, с внезапной страстью. Плотная приземистая девушка с круглым личиком, мохнатым от темного пуха, но прехорошеньким, с большущей родинкой на левой ноздре, с короткими волосатыми ногами, взглянув на Руслана, глухо засмеялась, кинула ему ветку с мелкой, черно-зеленой блестящей листвой, приложила ладонь к далеко вперед выступающей груди и назвалась: - Ануш.

Руслан догадался, что назвалась, и, сам не ведая, зачем ему знать, как ее зовут, а ей - как зовут его, чуть слышно проскрипел замерзшим голосом имя свое:

- ...схрслан...

Потом - к Урузмагу:

- Экая песнь! А про что?

- Про любовь, про разлуку.

- Нашли где петь. Тут гласом дурным надо вопить, а они распелись. Да еще - про любовь...

- Истинное пение - в нужде да в горе. Радость... она вроде охмеления, и веселые песни - дурь и ложь. Не замечал? - в них слова всегда шальные и пустые. А что в беде поют про любовь - чем это плохо? Даже в целях блюдет человек свое человеческое.

Алан понуро отъехал. Старик проворчал с неприязнью:

- Язычник.

- Нет, ведь он - твоей веры.

- Только по званию. А внутри - дикарь.

- Все равно он хороший.

- Хорош тот, кто пред богом хорош. И в горе, и в радости надобно к богу взывать, просить его или благодарить, а не любовные песни глупые петь.

Пленным мужчинам пришлось долго ждать в стороне, пока босых, в отрепьях, юных албанок, арменок вели через речку.

Стража ударами длинных бичей отбросила бородачей, ринувшихся было к женщинам, - хазары, видно, испугались, что грязные, вшивые славяне и германцы подпортят ценный товар, предназначенный для дальних восточных рынков. Черт знает, какой подлой хворью могут наделить...

Женщины. Почти голые, с распущенными волосами, они удалились, необогретые, дрожа и то и дело оглядываясь, грустно улыбаясь.

Чему улыбались?

Зачем озирались?

По мужским объятиям соскучились?

Нет, пожалуй: ведь гнали их через горы не дети, не хилые скромники, - мужчины, да еще какие. Не преминут притиснуть при случае. Но те - насильники, грабители и крикуны, а эти - свои, тоже несчастные, обездоленные... Или они улыбались просто из жалости, из сестринского доброго участия? Кто их знает...

Калгаст говорил однажды: чем дольше живешь на свете, чем чаще встречаешься с женщинами, - тем меньше, в них открывая нежданное, новое, их разумеешь. Да они, болезные, и сами, должно быть, толком не знают, чего хотят, кто и чем им может угодить.

Ты крут и властен с ними - значит, злой и плохой; нежен, покладист - ты пресен и скучен.

Пьян - омерзителен, трезв - тошнотворен, овечкой пахнешь. Ты глупее их - им досадно, обидно: какой, мол, это мужчина; умнее - завидно, еще обиднее. Держишь впроголодь - ты никудышный, никчемный, на кой ляд ты им нужен; кормишь вдоволь - дуреют, бесятся с жиру.

Клянут мужчин, а сами без них - ни шагу. Думают одно, говорят другое, делают третье. И черт разберет, когда выявляют они свою суть: когда думают, когда говорят, или когда совершают поступки, подчас нелепые, дикие. Сумасбродное племя. Вечно у них в башках карусель...

Вспомнил Руслан Людожирицу. Вот уж вертушка. Ей, паскуде, хорошо в княжьем тереме, - пожалуй, отстроил уже Ратибор хоромы новые, вместо сожженных булгарами. А рыжей той, что болгары в Корсунь увели, ой как худо, конечно, сейчас: ее для утех никто не купит, невзрачна, - разве что старый и бедный, одинокий гончар или ткач. Небось месит глину или пряжу прядет где-нибудь в подвале. А что с ее дочерью случилось? Наверное, проданы врозь.

Эх, судьба!

И эта Ануш - кто может сказать наперед, куда она попадет, кому достанется, в каких краях ей придется по родной каменистой земле тосковать, свои дивные песни петь?

...И увидел господь, продолжал проповедник, весь мир лежит в грехе. Все люди греховны по естеству своему. И надо кому-то их спасти. Кому? Никакой человек не в силах сие свершить,

вернуть людей с пути непослушания на праведный путь.

И пожалел господь людей, и пожелал сам спасти их от грехов. Он - отец милосердный, бог всяких утешений. Он любит прощать, он дарует прощение. Он кроток и благостен, он многомилостив.

И осенил господь чрево девы Марии, жившей в Назарете, и зачала она непорочно, и родила Иисуса Христа.

Чтоб Иисус Христос спас мир, стал царем иудеев и вечно царствовал над ними.

Чтоб освободил их от всякого порабощения и восстановил их царство, разрушенное врагами, в более цветущем виде, чем было оно когда-либо.

Чтоб увидели его спускающимся с неба с ангелами, славой и могуществом, судить всех живых и мертвых, которых он воскресит, - и управлять всем миром по истине и справедливости.

Чтоб создал он новое небо, новую землю, где будет обитать справедливость, и воздавал во стократ больше тем, кто покинет из любви к нему отца и мать, брата, сестру, детей, жилище, землю и наследство.

Чтоб даровал человеку духа святого и отпустил ему всякий грех единым дуновением своим.

Карась:

- Иисус - это ромейское слово?

- Ромейское. Но - от иудейского «иошуа», что значит «спаситель». Ибо было все это в стране иудейской. - А иудеи кто?

- Есть народ такой на земле, богом избранный. Однако затем бог отвернулся от них, - за то, что предали сына его.

- Как предали и кому?

Из рассказа проповедника следовало, что сын божий Иисус Христос, подросши, стал ходить по стране, звать к себе страждущих и обремененных, творить чудеса: ходить по воде, превращать воду в крепкое вино, кормить досыта единым хлебцем тысячи людей, хворых лечить, мертвых воскрешать.

Он изгонял торгашей из храма, изобличал неправых судей, учил бедных людей, как достичь царствий небесного, где нет житейских тревог и хлопот, забот о пище и одежде; где нет скорбей, и бед, и смерти, страха, трудов, бесславия, зависти, клеветы и злословия; где вечное здравие без хвори, радость без скорби, мир и покой, без опасности, дружество нелицемерное, мудрость без буйства, вечное блаженство.

Кто достоин вечного блаженства?

Он говорил: блаженны нищие духом, ибо им есть царствие небесное.

- Нищие духом - сиречь скудоумные? - любопытствовал Карась.

- Быть нищим духом - сие значит твердо помнить, что у нас нет ничего своего, есть лишь то, что дарует нам бог, и без помощи божьей, без его благодати мы суть ничто.

Он говорил: блаженны плачущие, но не те, кои плачут о предметах житейских, а те, что льют слезы о том, что мы несовершенно и недостойно служим господу богу; думай о грехах своих, о преступлениях, и ясно увидишь, что сердце твое испорчено, развращено, душа осквернена, и ты не что иное, как раб греха и низких страстей, - и обымут тебя страх, горесть и печаль, и ты восплачешь.

Блаженны кроткие, то есть те, кто не ропщет не только на бога, но и на людей, и когда случается что-либо противное их хотению, не предаются гневу, но терпеливо сносят все обиды, предавая притеснителей суду божьему, ибо сказал господь: «Мне отмщение, и аз воздам».

- Это Еруслан, - усмехнулся Карась. - И кроток, и блажен. Видишь, друже, - одной ногой ты, считай, уже в небесном чертоге.

Руслан кинул мрачный взгляд на свою правую ступню, будто обернутую ярко-красной тряпичей: так густо на ней, ободранной, смерзлась кровь.

...Блаженны алчущие правды, но не ложной правды земной, а правды вечной, кою найдешь посредством веры, не в настоящей жизни, а в будущем веке.

Блаженны милостивые, кто не отвечает злом на зло, прощает обиды, кормит голодных, поит жаждущих, одевает нагих, совершая молитву и проповедь.

Блаженны чистые сердцем; она чистота достигается неослабным памятованием о боге, всечасным подвигом во имя божье, отвержением всяких земных желаний и помышлений, всяких пристрастий к земным предметам.

Блаженны миротворцы, что блюдут согласие между людьми, стараясь пресечь несогласие между ними путем уступок прав своих.

Блаженны гонимые за правду, то есть за добродетель те, которых подвергают бедствию и опасности, за то, что они не хотят изменить божьей истине.

Блаженны вы, когда вас будут поносить, и гнать, и всячески неправедно злословить за Христа, ибо нет выше счастья, чем принять поношение и гонение, бедствие и самую смерть за Христа и веру истинную...

Карась:

- Выходит, все - богу, а человеку на сей земле - ничего?

- Ничего, ибо сам он - ничто. Знайте: мы даже недостойны быть чадами божьими, а именуемся ими лишь по одной его милости, дабы стояли пред господом в молитве не только со страхом, как рабы его, но и с благоговейной любовью, как смиренные и покорные дети пред родителями.

- Утешил, - сплюнул Карась. - На кой ляд мне бог да премудрая вера твоя, ради чего я должен ее на шею свою надеть?

- Ради блаженства вечного, - терпеливо пояснил старик, не смущаясь грубостью язычника. - Ради него, оно блаженства, стоит терпеть нужду и гонения на земле. Сам Христос подвергался гонениям за божью правду, которую сеял в умах, был выдан властям учеником своим неверным Иудой Искариотом и распят на кресте, как смутьян.

Почему сын божий позволил себя казнить?

Он сам, по доброй воле своей, взошел на крест.

И, принеся себя в жертву за все грехи людей, унаследованные ими от Адама, омыв их кровью своей от вековечной скверны, сойдя в ад и воскреснув, он раз навсегда избавил людей от греха, примирил их с богом, успокоил гнев бога за их ослушание.

Потому - Искупитель.

И теперь довольно уверовать в Христа, следовать его учению, соблюдать его десять заповедей - и ты приобщишься к спасению.

В этом суть учения Христова.

- Ты говорил: бог един, а их, выходит, два - отец и сын.

- И дух снятой.

- А это что?

- Откровение божье.

- Значит, их трое?

- Он триедин.

- Сам себе отец, сам себе сын, и еще - дух святой? Помню, родился у нас от черной коровы телец о трех головах, - вся наша весь со страху разбежалась. Сама корова - и то... рехнулась от сумления, стала курицей кудахтать, - приврал он из озорства. - Ну, сожгли их в хлеву... и корову, и тельца о трех головах.

- Перестань! - с досадой одернул его Руслан.

- Молчу. - Карасю и самому надоело спорить, перечить. Бог с ним, с богом ромейским. Пусть ромеи пятки ему лизут, что до него Карасю? Но все-таки не утерпел, съехидничал напоследок:

- Грехи-то искуплены, отчего ж на земле не стало лучше?

Руслан удивленно взглянул на земляка. Остер! А ведь прежде, когда они встречались в Семарговой веси или в Пирогостовом погосте, Руслану и в голову не приходило, что Карась нравом и разумом сродни изгою Калгасту, известному упрямством и неуживчивостью.

Был Карась человек, как все, - тихий, терпеливый, лишь иногда у него прорывалось наружу что-то буйное, злое. И люди дивились - мол, чего это он? Хоть и сами подчас то так же дурели. Сколько, наверно, было среди них таких упрямых, острых Карасей!

Но Руслан тогда об этом не думал.

Не думал... Почему? Потому что думать не умел. А сейчас - умеет?

Да, он уже знал, что научился думать. Оказалось, думать - дело трудное. Не легче, чем бревна таскать. Кровь к голове приливает, трудно дышать, устаешь, до того слабеешь, что мнится: сейчас подохнешь.

А тогда ему не о чем было думать. То есть было о чем, да не давали думать, - отец за Руслана думал, думала мать, и старая чадь, и волхвы...

Только теперь, увидав невиданное, услышав неслыханное, все примечая и запоминая, обострившимся от горя и бедствий разумом он и начал постигать нечто новое.

...Лишь через несколько лет он поймет, что думать - вовсе не значит орудовать запавшими в голову чужими она мл и мыслями, а сравнивать, сопоставлять, подмечать тождество и разницу и приходить через это к своему пониманию.

- Отчего не стало лучше? Не на всей земле вера Христова. Тьма народу еще блуждает в языческой слепоте.

Пока проповедник витал в облаках, Руслан оставался тупым, равнодушным к хитросплетениям его речей: неискушенный разум, прочно привязанный «к земным предметам», не мог сразу постичь всю богословскую заумь. Но стоило старику покинуть небесную твердь и слезть на земную, Руслан оживился. Он услышал новое. Новое - и заманчивое.

Волхвы славянские тоже обещают загробную жизнь,- но жизнь такую же, как здесь, суровую, скучную, в драках, трудах и заботах. И булгары. И готы, - правда, у этих в чертоге Одена можно хоть выпить, но за это надо умереть, убивая других.

А Христос обещает вечное блаженство, - и всего-навсего за покорность.

Человек обретает надежду.

Но не странно ли: у готов блаженство на небе - для самых буйных, а муки - для самых смирных; у христиан - наоборот...

- Десять заповедей, - это какие же?

Старик охотно перечисляет, сопровождая каждую заповедь наставительным взмахом указательного перста.

- Первая. «Я есть господь бог твой; да не будет у тебя богов иных, кроме меня».

«Посмотрим», - думает Руслан.

- Вторая. Не делай себе кумира, и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.

Он протянул руку к притихшему Карасю и вдруг сорвал с его шеи ветхий шнурок с медной рыбкой. И - не успел удивленный смерд ахнуть - кинул рыбку в яму с мутной водой. Рыбка, точно живая, блеснув боком, ушла вглубь.

И зря он это сделал, - Карася, уже было совсем примолкшего, опять прорвало:

- Ты, отче, веруй, хоть в пса бесхвостого, а меня не трогай! А то как двину, распадешься на куски, - и станешь триедин, как твой несуразный господь...

- Третья. Не поминай имени господя твоего понапрасну.

- Он твой господь, не мой, трухлявый ты пень!

- Четвертая. Помни день воскресный и освящай его! Шесть дней делай все дела твои, день же седьмой отдавай господу богу.

- Все семь дней я отдаю господу богу!

- Пятая. Чти отца твоего и мать твою, чтобы было тебе хорошо и ты долго жил на земле.

- Читил бы, да нету их, - сгинули с голоду.

- Шестая. Не убий.

- Меня убивают!

- Не убий? - повторил Руслан. Ему, уставшему от зрелища многих смертей, эта заповедь больше других пришлась по душе.

- Седьмая. Не прелюбодействуй.

Карась:

- Где уж тут...

- Осьмая. Не воруй.

- Я сам обворованный.

- Девятая. Не свидетельствуй ложно против друга своего.

В белой мгле злорадно усмехнулся пьяный Калгаст.

Руслан споткнулся, опять разбил правую ступню, брызнула свежая кровь.

Карась открыл было рот, чтоб вновь уязвить проповедника, но Руслан на ходу, не глядя, крепко ударил его ладонью по ехидному лицу.

- Десятая. Не желай жены друга твоего, не желай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего.

Карась оторвал ладонь от разбитой губы, заорал, разъяренный:

- Мой друг сам раб, вол и осел, у него - ни жены, ни скота, ни сел! Только и есть, что драные порты, - пусть уж они у него и останутся, у дурака.

Серое небо. Серый холм. И - черное дерево. Черные птицы.

- Опять лошадиную шкуру хазары повесили, - предложил Карась, кивнув на стервятников, кружившихся над растрепанным деревом.

С недавних пор на пути все чаще попадались большие одинокие дубы со свежими, еще кровоточащими, и старыми, уже усохшими, конскими шкурами на нижних ветвях, - жертва богу Хан-Тэнгре, с коим отождествлялся дуб; начинались исконные хазарские края. Земля под священными дубами - охристо-красная от обильно пролитой здесь крови, зловоние степного капища никак не вяжется с чистым образом ясного синего неба.

- Тоже птица, - стервятник, - брезгливо сказал Карась. - Куры, голуби, куропатки - куда ни шло. Хотя глупее курицы нет твари живой. Ну, соловьи да жаворонки... А это что? Черт те что! Погань. Что ест, тем и пропахла. За тыщу верст чует падаль. Помню, был я малым, в половодье овца утопла напротив нашей веси. На косу песчаную вынесло ее. Прибежал, гляжу - большие носатые птицы ее терзают, когтями кривыми рвут. Откуда слетелись? У нас таких сроду не водилось. Чужие, страшные, - жутко смотреть. Люди кругом, а им хоть бы что: отпрыгнут в сторону, зыркнут желтыми круглыми глазами, опять припрыгают и сутуло сгибаются над мясом тухлым. До сих пор вижу их во сне, - и просыпаюсь в холодном поту.

...На черном кривом стволе - огромный нарост. В лесу дубы прямые, а здесь, в открытых ветру предгорьях, они растут как придется. И этот дуб, поднявшись прямо на семь локтей, вдруг

круто изогнулся в сторону и продолжает тянуться вверх далеко от места, где ему полагалось бы расти.

И на изгибе, как мозоль от дикого напряжения, - багрово-черный нарост.

Испуганные возгласы пленных.

Каких только странных деревьев не увидишь за свою жизнь.

Но такого чудовищного дерева Руслан еще не видал.

С дерева на него глядела... женщина.

Ануш!

Лоб ее перехвачен веревкой, чтоб голова не свесилась. Руки тоже стянуты волосяной веревкой. Она сидела верхом на изгибе дуба, так что сучковатый угол крутого изгиба выступал между голых ног, скрученных внизу.

- Она хотела бежать! Смотрите все, - она хотела бежать! - лениво покрикивал старый косматый хазарин с кольцом-серьгой в левом ухе, отираясь под деревом на такой же косматой лошадке и что-то жуя от нечего делать.

- Господи, упокой христианскую душу! - плачуще произнес проповедник.

Она смотрела, но взгляд ее был со временем не такой, как давеча, на реке. И улыбалась синими губами, но тоже иначе. Мертвые улыбаются по-своему.

Больше всего поразила Руслана не жуткая улыбка, не равнодушный, отрешенный взгляд Ануш, не багровые полосы от ударов плетью по всему телу, не чернота окоченевших ног, а правая грудь, наискось разрубленная надвое, и грубая веревка, втиснутая в глубокий разрез на этой смуглой груди.

Сосок, темный, крупный, оказался на нижней половине, и на самом его конце замерзла алая капля.

У Руслана как-то диковинно задергалась голова, - будто ее, мотая из стороны в сторону, кто-то резко встряхивал за волосы. Не жалость к Ануш, - какая уж тут жалость, закаменело сердце, - и не ужас при виде смерти, - насмотрелся он на нее, - а нелепость, кричащая нелепость того, что случилось, ударила его по душе.

Вот, была у женщины грудь, и женщина небось гордилась, любовалась ею, тугой и круглой. И небось кто-то там, за горами, целовал эту грудь, в страсти припадая дрожащими горячими губами к этому соску.

Веточка, которую она давеча кинула ему, еще у него в руке, а самой уже нет.

Что же ему - только и подбирать после них то черевички, то веточки?

- Смотрите все! Так будет с каждым, кто вздумает бежать.

- Не убий, говоришь?

- Заповедь шестая.

- Что надобно сделать... чтоб перейти в твою веру? - глухо сказал Руслан.

- Не в мою, в Христову. Она ж и моя.

- Ну, в Христову. Надобно пройти таинство крещения, омыться от всех старых грехов, то есть умереть плоти и возродиться для духовной жизни.

- Умереть?!

- Условно. Кто не родится от воды и духа, не может войти в царство небесное, сказал Иоанн.

- Давай.

- Но созрел ли ты для веры Христовой?

- Созрел.

Ледяной ветер хлещет, как сто хазарских бичей. На привале, переговорив с начальником стражи и получив его согласие, проповедник отвел Руслана с Карасем подальше от пленных, за бугор, под которым в бочаге блестел на поверхности мутной воды тонкий серый лед.

- Обнажись, - приказал старик.

Не много времени ушло у Руслана, чтоб обнажиться,- скинул рубаху, порты скинул рваные, и весь тут.

- Сыне, что за узелок у тебя на вые?

- Русская земля.

- Сними, брось.

Руслан взял узелок в руку, хотел сорвать, - но тут вся его сущность взбунтовалась: все равно, что сердце вынуть, бросить.

- Пусть висит, - сказал он робко. - Не кумир же, не идол. Не то, что на земле, - а сама земля.

- Брось.

- Не брошу.

- Брось!

- Ну, тогда... не буду креститься.

- Упрямое ты чадо. Господи, прости неразумным их неразумие!

Старик разбил палкой лед в бочаге, сунул, бормоча молитву, в грязную воду серебряный крест, дунул Руслану в лицо, дунул на воду, чтобы придать ей благодать.

Руслан дрожал, - не от холода, от волнения: шутка ли, сейчас он умрет, хоть и условно, и тут же возродится к новой жизни.

- Повторяй за мною символ виры! Я верую, что есть единый бог...

- ...единый бог...

- творец мира, извлекший его из ничего словом своим, рожденным прежде всех веков.

- ...всех веков.

- Я верую...

- ...верую...

- что слово сие есть сын божий, многократно являвшийся патриархам под именем бога...

- ...хам под именем бога...

- ...одушевлявший пророков...

- ...вши пророков...

- ...спустившийся по наитию бога духа святого в утробу девы Марии, воплотившийся и рожденный ею; что слово это - господь наш Иисус Христос, проповедовавший...

- ...во вши...

- ... новый закон...

- ...во вши... вый закон...

- ... и новое обетование царства небесного.

- ... бесного.

- Я верую...

- ...верую...

- что Иисус Христос совершил много чудес...

- ...шил много чудес...

- был распят, на третий день по смерти своей...

- ...спят на третий день по смерти своей...

- ...воскрес и вознесся на небо, где сел одесную отца своего.

- ...сную отца своего.

- Что он вместо себя послал духа святого, чтобы просвещать свою церковь и руководить ею.

- ...дить ею.

- Что в конце концов он придет с великой славой даровать своим святым жизнь вечную и неизреченное блаженство...

- ...женство...

- ...и осудить злых людей на вечный огонь, воскресив тела, как наши, так и всех других людей.

- ...тих людей!

- Сойди,- указал священник на воду.

Плюхнулся Руслан в ледяную купель, окунулся всем телом...

- Выйди и облачись.

Руслан, цепляясь за пучки сухой жесткой травы, вылез из ямы,- вода на коже стала тут же замерзать: тонкий слой льда заблестел по всему телу, как на кувшине глазурь. Старик надел ему на шею медный крестик, на плечи - новую белую рубаху.

- В знак полного обновления нарекаю тебя, раб божий, христианским именем Роман! - Он размашисто осенил смерда крестным знаменем: будто укрепил его стать и заодно перечеркнул его суть.

Новообращенный поцеловал ему руку, сказал другу, с трудом унимая перестук зубов:

- А ты, Карась?

- Я... погожу, погляжу, - дело темное. Беги к костру, обогрейся, а то прямиком угодишь в небесный чертог...

Почему проповедник сказал, что крещение не дает блаженства на земле, что оно лишь путь к достижению высшего блаженства после смерти, когда душа человека соединяется с богом? Раб божий Роман сподобился достичь блаженства уже здесь, на земле.

Он благодушно улыбается в ответ на угрозы стражей, терпеливо сносит пинки и брань, оскорбления, покорно делает, что ему велят: на стоянках носит воду и хворост, разжигает костры, помогает хазарам ставить палатки, чистить лошадей.

- И впрямь нищий духом, - насмехается над ним Карась. - Ну, чего сияешь? Его бьют, а он рад, дурак.

Роман скользит по его лицу отрешенным взглядом, как по пустому месту, и произносит постным голосом:

- Господи, помилуй.

- И голос-то каким стал отвратным! - ярится Карась, - Ну, погоди, святой старик... утоплю я тебя в бочаге. Испортил мне друга.

- Господи, помилуй.

- Тьфу!

Впервые в жизни узнал юный смерд, что такое истинное счастье. Оно - в безмятежности, в полном душевном покое, когда ничего не ищешь, не ждешь и ничего не хочешь.

Правда, хоть он и «умер плотски», хочется, как прежде, есть и спать. Но ему довольно и той чашки постного варева, которую дают раз в день. И спать дают час-другой. Чего еще надо человеку? И может ли ему досадить, полосуюя плетью, косматый бешеный страж, - душа-то Романова уже в далеком небесном чертоге, куда пропахшему овчиной хазарину, с его немойтой рожей, доступ наглухо закрыт. Смерть? Она желанна, ибо, как говорит проповедник, с её приходом рвутся узы между чистой душой и грешным телом.

А пока... пусть бьют, бранят, - иди себе полегоньку, шепча спасительную молитву: «Господи Иисуси Христе, сыне божий, помилуй мя, грешного», - и не услышишь брани, не почувешь боли.

- Что за река, - неужто все еще Кубань? - спросил Карась, когда пленных вывели к пойме, сплошь покрытой огромными растрепанными тополями, сухим камышом, непролазным колючим кустарником.

- Угру* - ответил Урузмаг. - Течет на восток, в другое море. Благодарите богов своих, что не

лето сейчас, а то б комары вас насмерть заели.

- Видали мы комаров на Дону! И ничего, обошлось.

- Злей здешних комаров на свете нет. Их в тыщу раз больше, чем листьев в этих сырых лесах. Тучей висят, чернее зарослей ежевичных.

- А это что, тоже лес? - показал Карась на высокую, с какими-то плоскими выступами, зубчатую стену, синеющую далеко впереди.

- Это город Самандар, - торжественно объявил алан. - Настало время, други, прощаться.

- Город? А почему синий?

- Тень. Издалека всегда так.

- Сам он дар... Что сие означает?

- Саман - глина, смешанная для крепости с рубленной соломой. Дар - ну, как это... столп, стена, что ли. Выходит, Глинобитный столп. Он сложен из саманных кирпичей. Персы строили для хазар, - потому и название персидское.

- А-а. Что ж, значит, не сегодня-завтра мы, бедные, предстанем пред очами великого хазарского кагана?

- Вчера гонец доложил: кагана нет в Самандаре. На Итиле будет зимовать.

- Ого! Нам еще на Итиль тащиться?

* Угру - хазарское название Терека.

- Нет, наверно, - при наместнике останетесь, при Алп-Ильтуваре, савурском беке.

- Кто - савуры?

- Большое племя хазарское.

- Ну, нам все равно, каган ли, бек ли. Только б дойти скорей до места. Ноги уже не несут. Ты подумай, откуда плетемся - от самого Днепра! Где Днепр, где чертов Угру. Рехнуться можно.

- Жаль, проклятый урус, ты ускользнул от моих когтей, - сказал Роману, подбехав, бек Уйгун, брат покойного Хунгара.

Роман и не знал, что Уйгун в караване! Э, да что ему теперь какой-то Уйгун?

- «Покорные богу», как именуют себя головорезы халифа Абд аль-Мелика, терзают Армению, сеют смерть и опустошение в Иберии, разоряют Албанию. Великая беда. Великая напасть. Возможно ль смотреть без содрогания на адские муки этих трех несчастнейших народов? Господи, помилуй! - проповедник перекрестился.

Алп-Ильтувар, темнолицый, скуластый, с жидкими висячими усами, сказал сухо и строго:

- Тебе-то что, византийцу, до их страданий? «Византийцу? - удивился Роман.- Выходит, он все-таки ромей».

Их было трое в огромном княжеском шатре: Киракос, бродячий проповедник учения Христова, савурский бек Алп-Ильтувар и его новый, особо доверенный слуга и телохранитель, честный христианин Роман, который, придя в Самандар, был сразу определен на эту высокую должность по настоянию и ручательству святого странника.

- Армене, иберы, албаны - наши единовверцы,- ответил Киракос. - Разве зорно заботиться о братьях и сестрах во Христе? Я обязан душою за них болеть.

- Да, - кивнул савур, тонко и понимающе усмехнувшись. - Тем паче, что эти братья и сестры во Христе платили раньше, до прихода «покорных богу», дань твоему императору. И ему хотелось бы вновь взять их под свою добрую руку.

Проповедник внимательно глянул в узкие черные глаза савура.

- А почему бы нет? Сказал Христос слугам Иродовым во храме Иерусалимском: «Воздавайте кесарю кесарево, а богу - богово».

- Богу богово, а беку - беково, - подправил савур Христово изречение соответственно каким-

то своим тайным раздумьям.

Оба улыбнулись, довольные сразу возникшим между ними доверием, взаимным пониманием, сообразительностью.

Говорили они по-хазарски, Роман понимал их с пятого на десятое, но перед ним все же чуть приоткрылось в его новой вере нечто гораздо более связанное с делами земными, нежели небесными.

- Ну, хорошо, - согласно кивнул савур. - Тогда я скажу так: мне-то что, хазарину, до их страданий?

- Именно об этом я и поведу с тобою речь!

- Слушаю.

- Ты, конечно, бывал в низовьях этой вот реки Угру, у которой стоит ваш славный город. И хорошо знаешь нрав ее. Она течет не в низине, - верно? - а на возвышенности из песка, который сама же и нанесла. Буйная река, только валы земляные мощные спасают окрестные селения от потопа и гибели. Так?

- Так. Сам однажды чуть не утонул, когда прорвало дамбу. - Бек это сказал с равнодушным, скучающим видом, но в острых умных его глазах уже разгорался огонь любопытства, нетерпеливого ожидания.

- Ну так скажи, мудрый правитель: как назвал бы ты человека, который разрушает дамбу, чтобы набрать немного глины для починки своей хижины, стоящей внизу, под самой дамбой?

- Дураком бы назвал! Но таких дураков у нас нет...

- А если бы все-таки нашелся один?

- Я приказал бы слуге исхлестать негодяя плетью до самых костей и выкинуть труп в поток.

Киракос, исподволь, осторожно и хитроумно подвопивший савура к этой черте, показал рукою на Романа и произнес торжествующе:

- Что ж, тогда прикажи ему, чтоб он до костей исхлестал тебя плетью и выбросил труп твой в Угру!

Алп-Ильтувара будто уже хлестнули плетью, и пребольно, - он мгновенно передернулся, выгнулся вперед, скривил губы. Очухавшись, князь наклонился к страннику, спросил изумленно:

- Это... зачем же?

- Зачем? - загремел проповедник. - Разве армене, иберы, албаны - не та самая крепкая дамба, которая сдерживает напор «покорных богу» на Хазарию? Но ты, степной дикарь, вместо того, чтоб укрепить эту дамбу, в тупой слепоте, ради мизерной выгоды, разрушаешь ее внезапными коварными ударами. Худо ль было вам, хазарам, когда Елиазар, католикос албанский, привлек сердце вашего кагана к миру и неразрывной дружбе? Князь Вараз-Трдат исправно и честно платил кагану огромную дань. И что? Минуло всего несколько лет, и вы, безумные, нарушив договор, голодной волчьей стаей ринулись в Закавказье и учинили там неслыханный погром. И сейчас, что ни год, разоряете албанские селения. Разве не так?

- Так, - вздохнул Алп-Ильтувар с виноватым видом, сквозь который невольно проступало горделивое самодовольство лихого степняка. - Уж такое наше хазарское дело - громить, разорять.

- Погодите же, не пройдет и двух-трех лет, - «покорные богу» хлынут сюда все сметающим потоком, и вы на себе испытаете участь, которой, что ни год, обрекаете многострадальных закавказских христиан. У халифа сейчас - самое мощное в мире войско. Не мешает тебе это учеть, храбрый князь.

- Э-э, - озабоченно крикнул Алп-Ильтувар. - Все верно, что и говорить. Все ясно. И что прикажешь мне делать?

Старик - внушительно:

- Перейти со всем своим племенем в Христову веру, заключить с Вараз-Трдатом мир и помочь ему остановить «покорных богу».

- Э-э... - Алп-Ильтувар, раскрыв рот, стал перебирать правой рукою редкие волоски левого уса. И вдруг сказал сухо и строго, как в начале беседы: - А что я за это получу?

Проповедник - с готовностью:

- Будешь получать, как и прежде, ежегодно богатую дань. И еще - военную помощь ромейского императора.

- Так-та-а-ак, - протянул задумчиво хазарин. - Не-плохо, неплохо. Ну, а если я... э-э... приму, скажем, учение «покорных богу»? Разве я не отвращу тем самым их нашествие?

Старик, потускнев, пожал плечами.

- Ты, конечно, можешь это сделать. Но тогда тебе придется платить халифу дань. А ее он умеет выколачивать. И подушную подать, и поземельную. И подворную, и поголовную. И любую другую, какую хочешь и не хочешь. Вон, иберы криком кричат от поборов нещадных.

- М-м... Но мы не привыкли дань платить - привыкли ее брать.

- Привыкнете! Нужда заставит.

- Нужда, нужда... Слушай, вот что! И это, пожалуй, самое главное. В нашей стране, как и во всякой другой, есть богатые, есть и бедные. Бедных, конечно, больше. Они, как и везде, недовольны богатыми, а богатые, конечно, недовольны бедными. Что говорит ваша вера о богатых и бедных?

Роман сразу насторожился. Бек и старик заметили это, переглянулись. Проповедник, опустив глаза к багровому ковру, на коем сидел, произнес с расстановкой:

- И богатство, и бедность - от бога, Климент Александрийский говорит: «Богатство есть нечто прекрасное, и добиваться его господь не запрещает». Сам Христос сказал в одной из притч своих: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным...», о чем свидетельствует Евангелие от Луки (глава 16, стих 9). Бедный не должен завидовать богатому и желать отобрать у него его достояние,- помнишь, Роман, десятую заповедь? «Бедный, - как пишет в «Пастыре» Герм,- богат в молитве, и молитва его имеет великую силу перед господом. Богатый подает бедному... Бедный благодарит бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают доброе дело». И сказал Татиал...

- Хватит! Все ясно, - остановил савур многоречивого книжника. - Это все хорошо, Нам это подходит, я вижу. Но... не прогадаю ли я, перейдя в твою веру? Есть и другие мудрые учения,- к примеру, иудейское. Евреев много у нас. От вас, византийцев, спасаются здесь,

- Тьфу! Не поминай при мне христородавцев. Если уж они предали даже бога, то тебя-то, простака, и подавно предадут.

- Что же мне делать?

- Я сказал. А ты подумай.

- Чего тут долго думать? - Решившись, савур перестал запинаться, мямлить, тянуть. - Я, конечно, степной дикарь. Но, наверно, не такой уж простак, чтоб разрушить дамбу и себя же утопить. Ты будто давние мысли мои подслушал. Честно сказать, мне самому надоела наша старая черная вера. В каждом роду - свой, и больше ничей, дух-предок, свой бог, - и никто не хочет признавать иных. - Он развел руками. - Ну, а Хан-Тэнгре, синее небо...

- Оно - над каждым, - подсказал ему проповедник, - и каждый склонен узреть в себе посредника меж богом и людьми. А меж Христом и людьми - один посредник: царь, ибо власть - от бога, и служа ей, люди служат господу богу. Сказано в Новом завете: «Всякая душа да повинуется властям предержащим».

- Вот-вот. Я согласен. Иди к Вараз-Трдату. Пусть пришлет ученых мужей крестить мой

народ. Иди через Дербент, - в горах снег, не пройдешь.

- Пройду с божьей помощью. Госпожи, помилуй!

Бек приказал Роману:

- Ступай скажи, пусть начнут ратное учение. Я сейчас приду.

Роман чуть не задохнулся, выйдя из шатра,- столько дыму от очагов клубилось, витало, слоилось меж громадных стен. Восточной стены напротив, локтей за четыреста, почти не видать,- так, смутная тень в густом дыму, синем под нею, рыжем ближе, в середине города, от утреннего солнца.

Странный город. Второго такого, наверно, нет больше нигде на свете. Четырехугольный, с воротами в каждой стене. К каждой стене примыкает десять башен. Но дивно не это. Дивно то, что внутри, между стен, нет ни хором, ни храмов. Убогое жилье - палатки из войлока да лачуги из плетней, обмазанных глиной, с горбатыми крышами. По сути, не город, а стан военный, или большое торжище, обнесенное толстой, очень высокой стеной.

Чем хуже был Родень, пока его не сжег бек Хунгар?

Глинобитный столп, ишь ты.

И этот убогий город, как слышал Роман, считается чуть ли не самым богатым в полуденных краях.

- Богатство, богатство, - услышал он за собою недовольное бормотание. Обернулся, видит - старик вышел ему вослед. - Несчастные люди, - продолжал проповедник с горечью, - чего ради они его домогаются? Разве не прав был Киприан, говоря, что богатство многих сбило с пути, сделало их рабами своих страстей? Оно сопряжено с тревогой и заботами. Богатому всюду мерещатся убийцы, он боится воров и грабителей, людской зависти, злых наветов. Воистину богатые достойны сожаления.

- Что, что? - Роман изумленно уставился на проповедника. - Как же так, отче? Ведь только сейчас ты говорил обратное: богатство, мол, нечто прекрасное, и все такое...

- То я говорил Алп-Ильтувару, хазарскому беку. А тебе, раб, говорю, - сам Христос сказал: «Богатому так же трудно войти в царство небесное, как верблюду пройти сквозь ушко игольное».

- Что же оно, твое учение, - смутился Роман, - для богатых - одно, для бедных - другое?

- Для всех одно! - Киракос стукнул посохом о землю. - Не богатством, не бедностью люди угодны богу, а верой и праведностью.

- А-а... - Роман пожал плечами. Ладно. Разве его переспоришь, этого книжника. У него на всякий случай припасено изречение.

Хорошо уже то, что, сделавшись христианами, хазары перестанут грабить, убивать. И если б еще Руси веру Христову, - тогда бы хазарам и русичам нечего стало делить.

И сей Киракос, - хоть и показалось Роману, что здесь, в савурском стане, он больше хлопочет о земных предметах, чем небесных, - все равно делает доброе богоугодное дело.

Ибо сказано: «Блаженны миротворцы...»

- Бросар! О, бросар... - Перед Романом - знакомая красная рожа. В серых глазах - болотная муть. Стоит гот, качаясь, криво улыбаясь, в дым пьяный, и все равно - хитрый, сильный, опасный.

Положил огромные лапы на плечи Романовы, тянется к нему губами мокрыми.

- Чего он хочет? Что бормочет? - Роман с омерзением оттолкнул гота. - Чего мне бросать?

- Бросар по-ихнему брат, - пояснил проповедник, снисходительно улыбувшись охмелевшему готу.

- Бра-ат?! Был у него брат, Гейзерихом звали. Он убил его в Тане. Родного брата убил!

- Он теперь не Улаф, что по-ихнему Волк, а Иоанн и твой брат во Христе, а брат во Христе

роднее родного. Ты его не отвергай.

- Йохан, Йохан, - охает гот и, вывернув из-под рубахи медный крестик, точно такой, как у Романа, показывает ему. И опять лезет лобызаться.

- Брат во Христе?! - кричит потрясенный Роман. - Он душегуб! Братоубийца!

- Он омыт от грехов таинством крещения.

Роман обалдело глядит на свежесостряпанного Иоанна, и - теперь уже гот не кажется ему дурным и грозным: стоит тихий, кроткий, даже чем-то жалкий, в глазах, хоть и пьяных, дружелюбие.

И будто молния сверкнула у Романа в мозгу,- это, видать, божья благодать осенила его душу.

Любовь и спасение.

Какое иное учение сумело бы укротить вот это злобное чудище, чьим ремеслом только вчера было кровопролитие?

Блаженны миротворцы.

Роман, вдруг прослезившись, повернулся к старцу, низко ему поклонился, руку поцеловал.

Ив обнимку с братом во Христе двинулся к плетеным лачугам, где разместили пленных. То есть, теперь уже не пленных, а верных слуг савурского бека, его телохранителей.

Бросар! О, бросар...

Святой странник с доброй улыбкой осенял их вослед крестным знаменем.

«Отче наш, иже еси на небеси!

Да святится имя твое.

Да придет царствие твое, да будет воля твоя якоже на небеси, и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим.

И не введи нас во искушение.

Но избави нас от лукавого.

Якоже твое есть царство и сила и слава от века.

Аминь».

...Каждое утро, произнося эту богоданную молитву, которой его научил проповедник, Роман непременно ронял слезу. Ему казалось - он говорит с родным своим, давно усопшим, отцом.

Добрый был человек, веселый. Не зануда какой-нибудь, которому все на свете не так. Никогда не побьет, редко когда накричит. А накричит, то только за дело,- и потом всю ночь не спит, вздыхает, стонет: кается, что обидел, хоть и за дело.

И не помнит Роман, чтоб отец, - когда он, сорванец, уставши от беготни по холмам или в полях натрудившись, приходил домой, - не спросил: «Есть хочешь?» Спрашивал он просто так, вместо привета, - сам знал хорошо: как не хотеть, конечно, дитятке растущему хочется есть. И лезет отец сразу в печь и в корзину - хлеб доставать, рыбу, репу.

Правда, когда нужда заела смерда, сделался он угрюмый и злой. Но зла на сыне, как делают иные, не срывал, - срывал на себе, напиваясь до умопомрачения.

Всю жизнь чад своих кормил и берег, - и умер, бедный и хворый, с голоду...

И вот теперь образ отчий как-то сам собою слился в душе Романа со светлым образом божьим, - и, молясь, видел Роман перед собою не лучезарный лик владыки небесного, а простое доброе лицо покойного отца. Да и он, если рассудить, Небожитель: сожгли его, по обычаю, после смерти, и улетел он дымом в небо синее...

И еще один ясный образ примешивался к этому двойному божьему образу - образ святого странника, от которого принял Роман свою новую чистую веру и который был днесь где-то

далече, за теми горами.

Скучал по нему Роман. Со старцем легко, хорошо. Спросишь о чем - всегда найдет ответ. Любое сомнение развеет. Занеможешь - словом теплым ободрит, обогреет.

Не только по утрам произносил Роман молитву богоданную - до вечера не раз к ней возвращался. День ею начав, ею и завершал. Озорной Карась измывался над ним нещадно, искажая новое имя его так и этак: не скажет - Роман, а злостно - Ремень, или - Дурман, или - Карман, или и вовсе - Баран. А чаще - Отченаш, едко предварил - Сопливый. Несносный человек. Но Роман не сердился на друга, ибо помнил: «Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать и всячески несправедливо злословить за Христа...» - Господи, помилуй!

- Дубина! - ярился Карась. - Усердствовал бы лучше в ратном деле. Молитва - она то ли выручит, то ли нет, а меч и стрела всегда от беды спасут.

- Господи, помилуй!

- Тьфу, дурман несчастный...

Романа, как и всех русичей, обучали в малолетстве делу ратному. Но - как? Бывало, в погожий день какой-нибудь старый дед выведет отроков на холм, за весь, и учит их в цель из лука стрелять, и на дубинах биться, и копыя метать. Чтоб, случись година лихая, сумели супостата отразить. Большого смерду не надо,- его дело землю пахать.

Теперь же его по-иному натаскивали, жестко и трудно, ибо ратное дело должно было стать его ремеслом на всю жизнь: стрелять с коня на полном скаку, обернувшись назад или свесившись, из-под конского брюха, и с левой руки, и с правой, и от груди, и даже - и смех, и грех - промеж ног.

Ну что хитрого, казалось бы, в луке - палка кривая да бечева. Ан нет! Сложен лук степной, и надо знать его, как руку свою, запомнить все части: на конце - кость, изгиб у конца - подзор, на выпуклой стороне подзора - мадяна, к которой прикрепляют тетиву, далее к середине лука - рог, на середине - кибить, тонкая ременная оплетка, чтоб рука не скользила.

Стрела - и та слагается из четырех частей: главная - древко, на одном конце - копыце, на другом - перье и ушко, чтоб тетиву, видишь ты, вкладывать. А у копыя только на конце четыре места надо отличать: острое, грани, рожон и трубку, в которую древко вставляют.

А щит? Тут тебе и венец с каймой, и туло, и наверхие, и яблоко. Яблоко да наверхие есть и на шеломе, но тут еще надо различать и подвершие, и тулье, и венец, и затылок, и науши со слухами, и стрелу носовую с шурупцем.

Все это запомнить, конечно, не трудно, - трудно всем этим свободно владеть: щит под удар так подставить, чтоб меч и копые соскользнули, вреда тебе не причинив, копыем и стрелой точно в цель попасть, и мечом кривым на скаку толстую жердь легко, как былинку, срубить.

С утра до вечера - учение, умаешься к ночи так, что, упав на подстилку в хижине, стонешь, пока не уснешь. Но, хочешь, не хочешь, надо стараться, - а то опять в колодку угодишь, будешь глину весь день месить, камни да бревна таскать и получать за труд чашку пустой похлебки.

Бек не дурак, он жалует старательных - накормит посытнее, одежду даст потеплее, а зима здесь хоть и не такая суровая, как на Руси, однако же ветры злые; деваться некуда - отсюда и верность вчерашних рабов, считай - врагов, новому господину. Бунтовать? Все хазарское войско навалится, изрубит на куски. Страсть не любят хазары чужеземных телохранителей, пригретых князем. Он, хитрый, жалует и тех и этих в острастку друг другу.

Нет худа без добра: за эту зиму Роман окреп, еще шире раздался в плечах, в поясе уплотнился, а лицом стал суше и строже - старше, но краше. И еще - общаясь с аланами, которых тут было много (их, из-за Урузмага, Руслан любил по-братски), он выучил их язык.

Он, конечно, не отставал от других, но всегда за оружие брался с большой неохотой, что замечал зоркий Карась.

- Тебя делу учат, а ты нос воротишь, дурак, - ругал он друга. - Обретай сноровку ратную, пригодится.

- Господи, помилуй! Стрела, копьё и меч суть орудия убиения, а мне, христианину, заповедано: не убивай.

- Хе! И ты мнишь, блюдут христиане оную заповедь телячью?

- Как не блюсти, коли заповедано? - Но, вспомнив рассказ проповедника о кровопролитных сражениях христиан с какими-то «басурманами» там, за теми горами, куда ушел Киракос, он поправился неуверенно: - Ну, может, и убивают... злых иноверцев... отбиваясь от них.

- Иноверцев? Эх, милый! Совсем ты заотченашился, я вижу. Расспросил бы сведущих людей. Тут много пришлого народу. Персы. Христиане. Иудеи. Юргенцы какие-то, из дальних мест. Я говорил с ними. Так вот, дорогой Ремень, единовержцы твои разлюбезные, с тех самых пор, как Христос им дал свое учение, смертно грызутся между собой. В их вере столько разных, друг другу противных, толков, сколько ветвей вон на том - видишь? - дубе. Есть среди них... ну, как их?... - Карась, слегка постукивая себя костяшками согнутых пальцев по склоненной голове, взялся припоминать: - Гвоздики? Мостики? Хвостики? Ну, как? Вроде головастиков. А! Гностики. Тьфу!

Он рассмеялся, очень довольный тем, что вспомнил все-таки столь трудное слово.

- И еще, - он стукнул себя кулаком по колену (они сидели на кошме), - мимо тузите... маму тузите... нет, мама тут не к месту. Кажется, мало тузите, а?

Роман, дивясь нелепости этих названий, - придумают же люди! - сказал сердито:

- Откуда мне знать? Крой дальше. Не все ли равно, мало кого тузить, много тузить? И так, и этак несладко.

- Стой! Мало тузите... Много тузите... Мо-но-фи-зи-ты!!! Ох... Ты только подумай: сорок раз я тогда повторил, чтоб лучше запомнить, - и на тебе. Надо бы нам с тобой, Карман, выучиться грамоте ромейской, чтоб самим прочесть их писания и рассудить, что к чему.

- Надо бы, да кто научит? -

- Э! Пообтираемся тут, кто-нибудь да научит. «Да, - подумал Роман, глянув в ясные очи друга, - этот не то, что ромейскую, любую грамоту на свете одолеет».

- И еще, - продолжал Карась, - есть у них «рьяные», и «настырные», и «обманихи» какие-то. И еще - «яко биты». Невесело им, видать, от собственной веры, вот и сделались «яко биты».

- Врешь, Карась! То «тузите», то «биты». Не может быть таких глупых названий.

- Ей-богу, точно - «яко биты». И все они, друже, ненавидят друг друга лютой ненавистью, хоть все они - братья во Христе. Этих «рьяных», «настырных» их братья во Христе громили, как самых заклятых врагов, на улицах убивали, так что «настырным», к примеру, пришлось бежать неведомо куда. А на «злых иноверцев», друже, добрые христиане охотились, как на зверей, сколько ученых жен и мужей истребили. Самое путаное, злое, подлое и глупое учение - вот что я слышу о вере твоей от здешних умных людей. Ну, как нам быть с шестой заповедью?...

Скис, побелел Роман, - как побелел бы и скис добрый муж, который жену свою, молодую, пригожую, холил, лелеял, гордился ею пред всеми - и которому вдруг, прибежав, донесли, что вот сейчас ее кто-то видел с кем-то в кустах.

- Врешь, - только и смог он сказать.

И Карась, - как Роман его по дороге сюда, в Самандар, хлопнул друга ладонью по лицу. Роман облилиз вспухшие губы, сплюнул розовую слюну - и промолчал, Карась не может врать. Никогда не врал. И если он говорит такое, то, значит, так оно и есть, - если Карась возьмется выпрашивать, то выпросит все как надо.

Да-а. Дело темное, как сказал Карась тогда у бочага, где крестился Роман.

И впрямь, как же быть с шестой заповедью?

- Ладно,- вздохнул Роман. - Вернется странник святой, я его расспрошу.

Всю зиму, до самой весны, ходил он смурый. Он ждал Киракрса. И однажды весной, когда черный лес в пойме Угру затопило талой водой, спустившись с гор, подступил к Самандару с огромной свитой и с дарами Алп-Ильтувару албанский епископ Исраил, дабы обратить дикое племя хазарское в Христову светлую веру.

- «Бог есть любовь», - испуганно пятясь, бормочет странник. - Первое послание Иоанна, глава четвертая...

Нет злее дыма, чем дым горящего войлока. И, видно, от этого едкого дыма плачет Роман.

- Как же, отче, заповедь шестая? - шепчет сквозь слезы Роман. - Она говорит: «не убивай»...

Неподалеку, в степи, горят шатры хазарские. Мычат коровы, блеют овцы. Кричат женщины, дети.

На огромном стволе срубленного под корень священного дуба пьяный гот Иоанн, Романов брат во Христе, рубит тяжелой секирой косматые головы хазарских бахшей. Пьян-то пьян, а рубит сноровисто, умеючи: нацелится - чмок! - и отлетает, оскалившись, голова по ту сторону бревна, а тело со скрученными за спиной руками сползает, дергаясь, - по эту.

Утвердившись на широком пне, епископ Исраил осеняет святым крестным знаменем расправу над упорствующими язычниками.

Видный муж - ростом огромный, в сверкающей тиаре, в просторной златотканой ризе, с твердым, будто каменным, лицом, большими черными, горящими глазами, огромной черной бородой. Грудь у него такая крутая, что подпирает подбородок. Руки - не руки, а ручищи; такой бы сам срубил триста голов и не запыхался.

Вокруг - хазарские воины, готы, славяне. Стоят, смотрят, молчат...

Жителей столицы - хазар, алан и прочих, не трудно было уломать: загнали их в наполненный мутной водой, широкий, в сто локтей, ров, опоясывающий город, и окрестили. Кто успел убежать, тот и остался язычником.

И поползли по окрестным степям и предгорьям страшные слухи.

Бахши - шаманы, знахари и колдуны - всполошились: власть уходит из рук и надежда (завтра им голодать) - и обратились к беку и народу с угрозами, угрозами, пророчили гибель стране, хворь и засуху. Хан-Тэнгре, синее небо, рухнет на изменивших древней вере. Хазарская степь не принимала Христову светлую веру. И пришлось вразумлять строптивых огнем и мечом.

- Как же быть, отче, с шестой заповедью? - наступает Роман на проповедника. - Она говорит: не убий.

- Ради вящей славы господней, - в страхе бормочет святой, видя, как опасно выцветают, прямо-таки белеют, синие очи славянина. - Во имя отца, и сына, и духа святого. Господь велел наказывать язычников и изрек устами Моисея: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их». Сказано в Книге Чисел: «И пошли войною на Мадиам, как повелел господь Моисею, и убили всех мужеска пола... А жен мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в полон, и весь скот их, и все стада их, и все имение взяли в добычу». В Иерихоне воины Иисуса Навина «и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов - всех истребили мечом». И Христос говорил: «Не с миром пришел я к вам, а с бранью», - Евангелие от... глава... стих...

- Хватит!!! - заорал Роман. С этих пор на всю жизнь он люто, смертельной ненавистью, возненавидел всяческое словоблудие. - Кто же он, твой бог, который вчера говорил одно, а днесь говорит другое, совсем обратное вчерашнему?!

- Всесветный лгун! - зло ответил Карась за проповедника. - И учение его - обман, паскудный

и гнусный.

Киракоса затрясло от этих кощунственных слов.

- Ты...- задыхаясь,- так говоришь... о единственно истинной вере?! - Он перестал пятиться, и даже двинулся на них, вскинув посох.

- Единственно истинная? - Карась не испугался его бешеных глаз. - Будь она такой - не распалась бы сразу, едва возникши, на сто разных толков, не похожих один на другой. И коли это - единственно истинное, верное, неоспоримое учение, почему оно само не озарит светом великой правды своей все умы на земле? Что это за правда, которую надо вколачивать в головы обухом? Кому ты поверил, Руслан, друг мой бедный?! На кой ляд тебе хитрый и злой Христос? Поищем бога умнее, добрее...

- Убей его! - крикнул Роману старик. - Ибо сказано в книге Второзаконие: «Если будет уговаривать тебя... друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным...» - да не пощадит глаз твой, не жалея его и не прикрывай его, но убей его...»

- Хватит брехать, старый пес!!! - зарычал Роман. Он будто тронулся умом, был не в себе, - как был бы не в себе человек, который много дней и ночей, много долгих тоскливых лет томился в сырой холодной темнице и перед которым однажды, откинув крышку лаза и крикнув: «Выходи, ты свободен!» - со смехом захлопнули крышку, едва он, ослепший от яркого света, ринулся к выходу...

Роман - какой Роман? - уже вновь Руслан! - сорвал с груди медный крест и ладонью с крестом запечатал уста святого странника.левой рукой схватил старика за белый затылок и так, за голову, поволок в заросли ивняка во влажной низине.

Он сам не знал, что хочет сделать с проповедником, он просто возненавидел его, устал от его бесконечных словоизвержений и хотел заставить его умолкнуть.

Может, он задушил бы мудреца, но тут Карась предложил:

- Не высечь ли нам его? А, Еруслан?

Руслан - обрадованно:

- Давай!

- Я живо нарежу лозы, а ты пока свяжи мерзавца и спусти ему порты.

- Рот, может, кляпом заткнуть? Вопить будет.

- Э, не возись! Пусть вопит. Кто услышит,- вон шум какой в степи. - В степи жутко голосили хазарские дети, бабы. Одурающе пахло кровью.

Но, увлекшись затеей, Руслан и Карась не заметили, как их окружили готы...

Уже в воротах Самандара, куда привезли двух бунтовщиков, Руслан, весь избитый, связанный, услышал, как сквозь сон, голос бека Уйгуна, который злым шепотом говорил кому-то, должно быть, соплеменнику:

- Хазары теперь христиане. Значит, нам, булгарам, надобно принять им назло веру «покорных богу».

Руслан - с яростью - внутренне: «Бог, бог! Кто же он есть?! Дубина в руках хитроумных людей, пугало, которым враждующие племена страшат друг друга?

И кто правит - он людьми, или они вертят им всяк на свой лад?»

ХОРЕЗМ. НОВЫЕ БЕДЫ

... Она схватила его за одежду его и сказала: ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал...

Бытие, XXXIX, 10-12.

У них обычно на устах: «Я иудей, я христианин, поверь мне, я тебя не обману». Зловредные скоты! Кто не говорит ничего подобного и просто признает себя человеком, гораздо лучше вас.
Уриэль д'Акоста.

- Зачем добро губить? - нахмурился Алп-Ильтувар, когда посрамленный старец Киракос, указав на Руслана, потребовал: «Убей его! Ибо сказано: отступнику от веры смерть. - И, ткнув Карася палкой в бок: - Этого тоже, Он хотел надругаться над саном моим и достоинством». - Зачем? Рабы здоровые, крепкие. И к тому же они - не мое достояние. Это имущество кагана. Завтра идет караван в Итиль. Отправлю их и других русичей к его величеству кагану, - он поступит с ними как захочет.

Алп-Ильтувар покосился на проповедника, озорно подмигнул Карасю, - и, не удержавшись, фыркнул.

Обиженный странник ушел, бормоча проклятья.

Князь спохватился: нехорошо он себя ведет, не подобающе беку, помрачнел, напустился на бунтовщиков:

- Наглецы! Тут дело... государственное... а вы из него потеху сотворили. Где это видано: старца святого пороть?!

- Подале б от этаких потех, - вздохнул Карась. - Кровавые потехи. Какой же ты князь, ежели свой народ даешь в обиду хитрым чужакам?

- Даю, - чтобы мой народ меня не обидел. Э! Нашел я, с кем о делах своих толковать. Сидите, помалкивайте. Благодарите меня, что не убил я вас, как хочет того Киракос. Вы мне по душе. Люблю лихих молодцов. Я и сам был смолоду озорной... - И князь, вспомнив, должно быть, какую-то давнюю свою проделку и усмотрев в поступке этих двух русичей нечто сходное, расхохотался.

Карась:

- Спасибо, родной! Спасибо, милый! Дай тебе новый твой бог стать каганом хазарским.

- А? - вздрогнул Алп-Ильтувар, как вор, пойманный на месте преступления. - Ну, ты. Не твоего ума это дело. Молчи.

- Верно, не моего! - с готовностью - Карась. - Молчу, светлый князь, молчу.

- Вы опасные люди, - задумался бек. - Может, И впрямь вас убить?

- Что ты, что ты, светлый князь! - завопил Карась. - Что ты, что ты, наш распрекрасный! Зачем добро губить?

- А ты что скажешь? - савур - Руслану.

- А мне теперь на все наплевать. Хочешь убить - убей. Нашел, чем удивить.

- Обманулся в ромейской вере? - усмехнулся князь понимающе. - На что она тебе? Мне нужна, чтобы править моим народом, моему народу - чтобы мне подчиняться. А тебе, рабу, надо думать, как выжить и, если удастся, домой убежать. Ну, будьте здоровы.

- А князь-то... свойский, - усмехнулся Карась, когда бек вышел из хижины, где их держали

под стражей.

- Вот завтра наденет тебе на шею рогатку - узнаешь, какой он свойский, - проворчал Руслан.

... Не осенял на сей раз Киракос уходящих крестным знаменем. Только один человек и нашелся, чтоб помахать им вослед. И тут - гот Иоанн.

- Бросар! - кричал, зло смеясь. - О, бросар...

- Чтоб тебе сгинуть, - плевался Руслан.

Больше нигде, никогда он не встречался с ним. Также, как и с добрым Урузмагом. Алан Урузмаг покинул столицу еще зимой, обнявшись с Русланом и Карасем и даже прослезившись на прощание. Это был человек. Он-то и был юному смерду в пути истинным братом. Зато впереди ждали Руслана новые встречи - чаще печальные, чем радостные.

Остались вдали сады, виноградники и огороды, среди которых четко, как серый утес на кудрявом зеленом лугу, возвышался город Самандар. Степь началась.

Степь-то степь, но вовсе не такая, как между Днепром и Доном. Там - травы, тут - буруны, то есть песок, застывший волнами. Песок и песок. На Руси его увидишь только на реке, в мелях да отмелях. Там песок - у воды. А тут ее и в помине нету, - отойдя от Самандара на много дней пути, набрали на одну-единственную речку, и та начала уже пересыхать.

Кончились пески - пошли солончаки.

А справа, на восходе, всю дорогу висит синяя мгла, и над нею - всегда облака исполинские, белые.

Руслан - у стража: - Горы?

- Море.

На стоянках подъезжали пастухи, обменять шкуры, мясо, войлок на зерно, котлы да бусы. Разглядывали светловолосых, сбившихся в кучу пленных:

- Готы, аланы?

- Русы.

- А-а...

И однажды, когда караван, миновав солончаковые впадины, вышел снова к пескам, пленные услыхали издалека, с гребня высоченного буруна, тоскливый, будто журавлиный, крик: - Русь!

Обернулись: белая женщина бежит с буруна вниз по склону, машет руками. Высокая белая женщина, почти нагая, - только грудь да бедра прикрыты каким-то отрепьем. Бежит, утопая в песке, задыхаясь, и зовет рвущимся голосом:

- Русь!

Остановились, зашумели.

Из-за буруна выскочил всадник косматый, нагнал, нагнулся, схватил за желтые волосы, кинул ее поперек седла - и ускакал за бурун.

В ушах пленных, под ударами бичей снова тронувшихся в путь, еще долго звучал зов белой женщины:

- Русь!

И пошли по толпе разговоры!

- Как она учуяла нас?

- Родная кровь...

- От тех пастухов, наверно, прослышала...

- Ишь, куда бедняжку занесло.

- Нас, может, и подале занесет.

- Бедная Русь, - вздохнул Карась. - Доколе ей одиноко кричать на буграх?

- Как ей быть, коли хазары весь белый свет заслонили.

- Ох, этих бы хазар!...

- Плетью обух не перешибешь.

- Ничего. Вот Киев окрепнет, возьмет всю Русь под руку свою, - к тому дело шло, когда мы еще были дома, - посчитается он с хазарами.

- Давно бы надо. Не уберем хазар с пути, - заглохнем на тихих речках своих.

Немало слышали дома смерды о вечных дрязгах между князьями, о растущем, крепнущем Киеве. И если б знали тогда то, что знают теперь, не стояли б от этих дрязг в стороне, взяли б князей за крикливые глотки, заставили б их не о чести пустой лечись, не о женах своих, полях да хоромах, - о смердах, о всей Руси, о всем поднепровском славянстве.

Эх, не думали тогда про это... Думал Калгаст - и голову сложил. Не уберегли, волхва испугались.

Где он, волхв Доброжир?

Где его мощь?

Это дома, среди людей тупых, покорных, он может распинаться так и этак, и ему верят, - а вытащи его сюда, под солнце, под ветер и звезды, в степь, обрызганную кровью человеческой, сразу станет видно, что волхв со всей его хваленой мудростью не стоит и плевка.

Поздновато догадались...

Дома, в своих землянках, будто в колодце сидели и видели вместо неба над головою серый пасмурный круг, в котором, к тому же еще, мельтешил, загораживая свет, вонючий волхв. А теперь - будто на гору взобрались, и открылся им ясный простор. Вот как выходит: чем дале уходишь от родной земли, тем боле она виднее.

Не в пример веселому крепышу Алп-Ильтувару, хазарский каган - человек угрюмый, желчный, хворый. Но, пожалуй, хворь точит его не столь изнутри, сколь снаружи - язвой тревожных вестей с окраин государства.

И главная хворь - Русь и «покорные богу».

Киев... Какой еще Киев? Не слышали раньше о городе таком. Откуда он взялся? Ну, с ним крупный спор еще впереди. А пока - надо устроить осенью большой набег, припугнуть его, данью обложить, пусть торчит до времени за спиною хазар, - он опасен, но еще не смертельно.

Но вот «покорные богу»... Хазария обращена темным ликом к югу и востоку. И с юга и востока ей угрожает воинство халифа.

Прибывшие вчера посланцы савура Алп-Ильтувара сказали: «покорные богу» вот-вот нагрянут в Самандар (хорошо, что каган решил зимовать в Итиле). Купцы из Хорезма, гостящие здесь, донесли: войска халифа уже подступают к Хорезму и Согду.

Как быть, на кого опереться? Булгары, ударная мощь государства, род за родом, племя за племенем бросают южную степь, уходят куда-то на Каму. И нет сил их удержать. Строптивый народ. Злой и упрямый. Савуры, аланы тоже гнут свое. Разброд. Нет друзей у кагана.

Разве что - Хорезм.

«А! Заручусь помощью Хорезма, пообещав ему то же; и рабы - русы, которых прислал бек Алп-Ильтувар, весьма к месту, - отошлю их в знак дружбы в дар хорезмшаху Аскаджавару»...

Вот почему совсем недолго пришлось Руслану побыть на волжском острове, в небольшом городке Итиле, которому было суждено лет через тридцать-сорок стать великой хазарской столицей, затем, спустя два с лишним столетия, пасть под натиском Святослава, а еще через много лет, в татарское время, - быть затоплену взбухшим морем...

Море. Не сразу они добрались до него. Долго пришлось трем большим, под парусами, ладьям, где разместились послы хорезмийские, да купцы, да пленные русы, плыть по невиданно широкой реке меж частых островов.

Кусты, камыши на тех островах кишели цаплями и прочей птицей водяной, кабанями, и еще - комарами.

- Не знаю, как угруйские комары, про которых нам говорил Урузмаг, - я их не пробовал... то есть, они меня не пробовали, - сказал Карась на третий день, до крови раздирая ногтями искусанную кожу, - но злее здешних, наверно, и впрямь на свете нет. Скажи, какая несообразность: раздолье, зелень, вода, дичи полно, рыбы - жить бы да радоваться, а нет, тут же и нечисть всякая плодится. Везде так: к полезному, доброму примешивается злое и вредное.

- Скорей уж к злomu и вредному - доброе. Где он теперь, Урузмаг, - вздохнул Руслан.

И заныла душа, обожжена грустью-горечью. Что за напасть. Бывает, живешь с кем-то рядом десять или двадцать лет, расстанешься с ним - и хоть бы что, пусть, наплевать. А бывает - побудешь с ним вместе месяц-другой, и тоскуешь, и помнишь всю жизнь. Ох, как нужна, видать, тебе, человек, доброта и дружба без слов заумных и сладких, когда - может, просто впопад изругавшись и глянув в чьи-то ясные глаза,- разумеешь: этот - свой.

Что-то без всяких слов роднит людей, а что-то разделяет, а что - не понять.

Руслан приглядывался к людям на ладье, - к тем, что возились с ветрилами и налегали на большое заднее весло-правило: чернявые, глазастые, носатые (еще один неведомый народ), но нет никого среди них, похожего на Урузмага. То есть с виду-то они, может, и похожи, но только с виду, - никто на него, на Руслана, и взглянуть не хочет. Чужие. Брезгуют.

И купцы да послы, да их слуги - чужие, недоступные. Спросил Руслан у одного: «Куда нас везут?» Тот злобно скривился, плюнул, и весь ответ.

По длинным одеждам из однородной ткани, с карманами непременно ниже пояса, по кудлатым головам, всегда покрытым шапками, даже во сне (кое-кто из важных путников спал на крыше надстройки, на воздухе, поэтому Руслан, которому, как и другим пленным, отвели место ниже, на жестком настиле судна, видел это), но особенно - по вьющимся длинным прядям волос, свисающим с висков, Руслан определил: евреи, - встречал он таких в Самандаре.

Их главный, Пинхас, день-деньской сидел на ковре, накинув на плечи полосатое покрывало, читая толстую книгу. Вот здоровяк - и плечист, и грудаст, и брюхат, с неимоверно толстыми руками: даст один раз - не встанешь.

Но самым приметным предметом был у Пинхаса нос. Таких носов Руслану видеть в жизнь не доводилось, хотя и насмотрелся он на всякие носы от Днепра до Волги. Вот уж нос, так нос! Расскажешь кому про такой, - не поверит.

Не то, чтоб уж очень огромный, хоть и порядком большой, - тем он дивен, что несусветно крив: круто изогнут и упирается острым концом даже не в губы, а в подбородок, далеко выступающий вперед и кверху. Прямо-таки рог, торчащий вниз, брат ты мой, - а не нос. И где-то в глубокой западине между чудо-носом и подбородком - тонкие крепкие губы.

Как он ест с таким носом? Наверно, отгибает рукой от подбородка, чтоб положить в рот кусок хлеба.

Брови лохматы, как усы, из ноздрей торчат пучки седых волос.

Видный человек.

И день-деньской суется вокруг Пинхаса другой еврей - высоченный, тоже седой, худой, с маленькой головкой на узких плечах, с короткой спиной и широким, втрое шире плеч, тяжелым задом, с длинными прямыми ногами.

- Лейба! - то и дело подзывал его к себе Пинхас и долго и строго что-то внушал ему, положив ладонь на книгу.

В третий же день, к вечеру, ладья Пинхаса пристала к острову, заросшему ольхой, раkitой, камышом (Карась: «Зачем бы это; неужто коптить нас тут будут вместо рыбы?»); хазарская стража сошла на мокрый берег, настрелять диких уток, гусей. Эх, сбежать бы, залечь в непролазных кустах, - хазары век не найдут. Не найдут? Сыщут, как псы. А не сыщут - беглеца комары изведут, выпьют всю кровь. Здесь, на судне, и то до полусмерти заели.

Лейба тоже спустился на сушу. Перед тем, как снова тронуться в путь, взошел с охапкой зеленых ветвей, бросил ее изможденным пленным. Ничего не сказал, - бросил, отвернулся. Да и что тут говорить. Удивленные русичи, - с ними общался только главарь хазарской стражи, кидая раз в день каждому по рыбке сушеной, - мигом расхватили ветви и принялись охлестывать себя, как в бане, глуша зловредных насекомых.

- Лейба! - заорал Пинхас с возвышения.

Угодливо семеня, Лейба поднялся к нему. Пинхас, тыча пальцем в книгу и брызгая слюной, стал его с пылом отчитывать («Ам-хаарец, тьфу, ам-хаарец, трр, брр!!»), затем, когда слуга открыл было рот, чтобы что-то сказать в свое оправдание, ударил его палкой.

Лейба скатился с надстройки, приник к боковой стенке судна. Смешно и жалко смотреть на него, долговязого, с короткой спиной и широким задом, расположенным чуть ли не сразу под плечами, с несуразно длинными ногами. И больно смотреть, как по тонкому, по-женски красивому лицу текут слезы.

Руслан - участливо:

- За что он тебя? - спросил по-хазарски.

- Вы язычники, и мне, еврею, грех общаться с вами, и тем паче - вам помогать.

- Ишь ты. Дал бы и ты ему хорошенько.

Лейба - в ужасе:

- Я - ему?! - И злобно: - И дал бы,- не смотри, что худой, крепко могу ударить. Я его ненавижу! Но он - мой господин. Знатный человек, богатый. А я - ам-хаарец, существо презренное, низкое. Сказал рабби Иоханан: ам-хаареца можно разодрать, как рыбу. И сказал рабби Элеазар: ам-хаареца дозволено убить даже в Судный день, выпавший на субботу. Я-то читать не умею, - Пинхас говорит, что так написано в книге Талмуд. Но я хорошо это запомнил, потому что слышу каждый день.

- Н-да... Запомнишь... Зачем же ты заповедь нарушил, - пожалел, что ли, нас?

Лейба взглянул на него подслеповатыми печальными глазами, развел руками:

- Не знаю...

Пинхас - свирепо: - Лейба!!!

Лейба нехотя поплелся к господину.

Что-то мелькнуло в разуме Руслана, какая-то важная мысль: «Живет ли где на земле народ, у которого бы...», - но додумать сейчас ее не удалось, - она тут же отхлынула, смытая открывшейся впереди огромной сверкающей синью. Море!

...Припав к боковой стенке судна, евреи, зеленые от тошноты, выворачивались наизнанку в прозрачную зелень вскипающих волн. Будто свининой запретной объелись. Рядом с ними рвало хазар и русичей. Евреи их не толкали, дружно теснились плечо к плечу. Вместе с язычниками есть и пить - грех, но, видать, не грех вместе блевать.

Море - оно, наверно, не подчиняется всяким вероучениям, ни тому, ни сему: вот оно и уровняло всех.

И на них всех удивленно смотрит Руслан. Ему больно за ясную зелень морской воды. И невдомек ему, отчего их тошнит.

Зверь не разводит грязь вокруг себя, живет чисто и умирает чисто: почует смерть - забьется куда-нибудь в глушь, в яму, в щель, и нету его. А человек... идешь по зеленой росистой дубраве, дымом пахнет, и на пути кучи золы, гнилого тряпья, костей, черепков от горшков, - близко жилью человечье. Всю округу загадит, пентюх проклятый, - и небесный чертог ему подавай...

Окрыленной душой взмывает Руслан вместе с ладьей на гребень крутой волны, и вместе с ладьей плавно несется вниз. И сердце бьется не торопясь, размеренно и впопад блаженной

качке, и дышится ровно и глубоко. Как на качелях, бывало, в роще за весью родной.

Хорошо ему здесь, и все смутно знакомо, и радостно все взалхлеб, будто когда-то плыл он тут, но давно об этом забыл. Будто вернулся сквозь годы к утраченному в малолетстве. Проснулось в нем что-то певучее, древнее.

Божий чертог, небесный чертог...

Разве земной чертог, человеческий, с дивными лесами, с дикими степями, с грохочущим морем, хуже, чем божий, небесный?

Вырвались в кои-то веки на вольную волю, соприкоснулись с чистой великой стихией, и стало их рвать от крепкой соленой правды, сияющей в ней.

Море. Набежит на солнце облако - и становятся волны темно-серыми, с просинью, точно кони редкой мышастой масти с белыми гривами. Каждая жилка звенит от ветра. И сквозь спинной хребет будто струится холодный ветер. Море, ах ты, море. Спасибо, хоть ты меня утешило на бесконечном и трудном пути моем.

Пустынный берег.

«Будут во аде муки внутренние - и, с тем вместе, внешние: там душа будет страдать, изнывать в страшной печали, унынии и отчаянии, там будет невыносимо мучить совесть - будет сильно и ужасно, по слову писания, точить сердце червь неусыпающий, а тело - отвне - жечь огонь вечно пылающий. Адский огонь столь жесток и лют, что и разум представить не может...»

Так описывал Киракос преисподнюю, куда не миновать попасть всякому грешнику и вероотступнику.

И грешнику Руслану казалось: не успев умереть, он уже угодил в это веселое место. Тут тебе и печаль с отчаянием - внутри, и жестоким огонь - отвне. Пустынный берег. Тупые валуны, о кои ноюще уныло бьются волны. На каменистой почве, на пять шагов - один пучок, сухой травы. Скалы поодаль - причудливы, странны: обточили-то их ветром неутихающим, и похожи они на грибы, на башни, черепа.

Овраги, лощины.

И черные люди в косматых шапках у больших котлов похожи на чертей, хлопочущих у адских сковород.

И сам он, весь этот бесплодный берег, похож на сковороду, огромную, раскаленную, на которую кто-то из озорства набросал камней. Но огонь зажжен не под сковородой, а над нею: круг неба над головой - не просто небо с солнцем, а одни великое, сплошное, яростно пылающее солнце, опустившееся, как в Судный день, низко к земле.

- Сиях-Кух, - пояснил один хазар, снизойдя до ответа Руслану, где очутились, - Черная гора по-хорезмийски. А по-тюркски: Мынгышлак - Тысяча зимовий.

- Откуда тут воду берут?

- В горах есть источники скудные.

Ну, раз тут есть хоть немного воды, значит, это еще ад. Может, только его преддверие.

Позже, когда суда, сгрузив поклажу и путников и загрузив других путников с поклажей, ушли обратно на северо-запад, в Йтиль, и пленные русы оказались под опекой черных людей в косматых бараньих шапках, Руслан, приглядевшись к их мохнатым бровям, точеным носам, сухим лицам, обнаружил в них что-то знакомое, будто где-то уже встречавшееся.

- Какого племени?

- Языры. Не слыхал? Ну, по-иному - аланы.

- Аланы?! - У Руслана сердце зашло. - Я понимаю по-алански. Но у вас речь другая. Говорите вроде по-хазарски, но как-то диковинно, сразу не уразуметь, надо послушать и вникнуть.

- Говорим по-тюркски.

- Почему?

- Здесь тюрки кругом. Их много, нас мало. Но старики между собою объясняются по-алански.

- А-а... Как же вы здесь оказались? Аланские-то края - эвона-где, за морем.

- С восхода пришли сюда.

- С восхода? Разве не с заката?

- Нет. На юго-востоке, на окраине хорезмийских земель, есть озеро Хиз-Тангизи, что значит по-тюркски Девичье море, - из-за наших храбрых женщин тюрки его так называли. Пока большой левый рукав многоводного Окуза впадал в это озеро, мы жили вокруг него, возделывали землю. Но не так давно рукав усох, воды не стало - и пришлось нам переселиться сюда, больше места нигде для нас не нашлось.

Он показал на бурые скалы, и Руслан только теперь разглядел приютившиеся под ними низкие, плоские, тоже бурые, глинобитные хижины.

- А на озеро это как попали?

- Никак. Извечно в Хорезме живем.

- А те аланы, которые у Кавказа, говорят, что они там извечно живут.

- Нет, отсюда туда переселились. Но не вчера это было, лет пятьсот-шестьсот тому назад, а то и больше, - потому и забылось. А мы помним.

- Н-да. Как тебя зовут?

- Арсамух.

- Знал я алана, звали его Урузмаг.

- Урузмаг, Арсамух - разницы нет. Все равно. Так звали одного из наших древних богатырей.

- Я рад, что встретился с вами.

- Чему тут радоваться? - хмуро сказал Арсамух. - Ты пленный, я твой страж. Хорезмшаху служу, караваны сопровождаю. Что еще тут делать? Земля бесплодная, воды мало, ничего не растет. И скот нечем кормить и поить. А жить надо.

Да, жить надо.

И хазарскому кагану.

И хорезмшаху.

И купцу Пинхасу.

И смерду Руслану.

Всем надо жить, вернее - хочется жить, но каждый понимает жизнь по-своему; несходные побуждения сплелись в одну веревку - и с нею на шее Руслан оказался на пустынном восточном берегу Хазара - хотя, может быть, для него было бы лучше давно разбить свою голову о камень.

И, похоже, он окажется где-то еще дальше: тюки с товарами, мехи с водою уже на верблюдах, и евреи, накрывшись полосатыми накидками, уже прочитали молитву «Восемнадцать благословений» - «Шемоне эсре», как поведал об этом Руслану бедный Лейба. И снова - и дорогу. В дорогу. В дорогу. Мы гложем даль, даль гложет нас...

Весь долгий путь по голой плоской возвышенности, что раскинулась между Хазарским морем и Хорезмом, Руслан проделал как бы во сне. В черной обуглившейся памяти удержались лишь искры самых важных событий.

Однажды, проснувшись поздно ночью, открыв глаза и приподнявшись, Руслан в ужасе вскрикнул, упал в полынью.

Перед ним, прямо перед глазами, полыхнуло что-то голубое, ослепительное. Пожар? Откуда он тут? Это южное звездное небо открылось ему. Не знал никогда и не думал, что звезды могут

быть такими яркими, так густо сверкать на небе: россыпи, цепи, связки, огромные гроздья звезд, крупных, чистых. Все небо слилось, казалось, ночью, как днем - в единое солнце, в одну исполинскую голубую звезду. Чудо.

Он облегченно вздохнул.

Он вспомнил, какой чужой и опасной мнилась ночь когда-то, в родном селе. Сколько страхов она в себе таила. Палкой, бывало, его наружу не выгонишь ночью. Таким враждебным был для него, пугливого смерда, ночной холодный мир, где тьма так густа, что ее можно ощупать рукой.

И каким своим, широким и вольным, он стал теперь.

Теперь - это мой мир.

На пятый день неспешного пути по скудной равнине, расположившись на ночлег, караван наутро не тронулся с места. Евреи не выходили из шатров. Ни огня на стоянке, ни запаха пищи.

- Почему застряли? - спросил Руслан у Лейбы, лениво жевавшего у потухшего костра сухую корку.

- Суббота, - ответил Лейба, который, несмотря на запрет, не гнушался разговаривать с нечистым. - Нельзя ничего делать. Субботний день принадлежит богу.

- Им хорошо в прохладных шатрах беседовать с богом! А мы - пропадай от жары...

Дома, где солнце тоже бывает жестоким, но его с нетерпением ждешь после долгой холодной зимы, не померил бы, если б сказали, что можно возненавидеть солнце, - возненавидеть, как живое существо, проклятое, злое, которое хочется убить. Поклонялись ему, - Хорс ясный да светлый... Эти аланы здешние, хоть и страдают от зноя до одури, тоже каждое утро встречают солнце молитвами. Так уж, наверно, заведено у людей: покоряются не тому, что любят, а скорее тому, чего боятся и терпеть не могут.

А еще через день унылого пути случилась беда. У дальних костров (на стоянках евреи держались особняком) учинился тревожный гвалт. Умер, не выдержав жары, старый еврей, чахнувший всю дорогу от Черной горы.

Ну, умер, так умер, - сидел бы дома, не тащился по зову злого духа наживы за тридевять земель.

Не в том беда, что умер дряхлый старик, отживший свое, а в том, что евреи проворно развязали бурдюки... и вылили воду из них на землю. Аланы, вступив с ними в драку, спасли часть воды, но самую малость.

Даже Руслан, впервые оказавшийся в пустыне, уразумел, что вылить здесь воду - значит обречь и себя, и других на верную гибель.

- Смерть приносит ангел Саммаэль, - растолковал ему Лейба, - в виде ядовитой капли на конце меча. Вольет эту каплю хворому в рот - и мертв человек.

- Черт с ним, с ангелом Самосъелом, и с тем, кто умер, - его уже не воскресить! Воду-то зачем выливать?

- Совершив свое дело, ангел смерти оmyвает огненный меч в близлежащей воде. Посему эту воду надо вылить, чтоб не погибнуть.

- Без воды скорее погибнем. Не знаю, как Пинхас, - может, ему какой-нибудь ангел и достанет воды с неба, а нам где ее тут взять?

- Пей, - алан Арсамух протянул ему флягу. - Эх, не хватит воды до Хорезма, Придется пить верблюжьей кровью - одно спасенье.

- Вам хорошо, вам разрешается пить кровь животных, - вздохнул еврей. - А для нас это грех. Сказано в книге Левит: «Душа всякого тела есть кровь его; всякий, кто будет ее есть, истребится». Так Пинхас говорит, - я-то сам читать не умею.

- Не умеешь читать, - вмешался Карась, - откуда знаешь, что написано в этой книге?

- Пинхас говорит.

- А может, он врет, твой Пинхас?

- Нет. Он талмуд-хахам, большой знаток писания. Даже мясо мы едим обескровленное. С кровью - грех.

- А дышать вам не грех?! - загремел Арсамух. - Ешьте прах, пейте мочу, это ваше дело. Но не заставляйте страдать других из-за ваших обычаев.

- Я чем виноват? - Лейба не сводил жалостных глаз с фляги у губ Руслана. Когда воды вдоволь, не хочется пить. Но стоит узнать, что воды уже нет и больше не будет, - как назло, сразу же охватывает яростная жажда. С едою тоже так.

Руслан - несмело:

- Можно дать ему?

Арсамух - великодушно:

- Дай. Только он после тебя не станет пить. Ты - нечистый, а он, видишь ли, благородный. Не дай бог, осквернится.

Лейба, хватая флягу:

- Какой благородный? Я всего лишь ам-хаарец. И все мы божьи дети. И плевать мне на Пинхаса, если хочешь знать. Хоть и сказано в трактате Сангедрин, лист сто десятый, страница первая: «Кто думает плохо о законоучителе, грешит так же, как если бы это относилось прямо к богу». О Яхве! Что пред тобою наша добродетель, наше могущество, наша справедливость? - Он боязливо оглянулся - и жадно припал к фляге, к которой только что прикасались губами презренные язычники. Затем протянул ее Карасю: - Хочешь?

- Хочу.

- Вот и побратались, - усмехнулся алан. - У нас есть обычай брататься вином и кровью. Ну, что ж, а мы побратались водою, то есть тем, что сейчас для нас дороже вина и даже крови.

Вода и кровь. Человечья кровь, конечно, не вода, верно сказано, но без воды кровь тоже не кровь: сгущаясь, она превращается в вязкую патоку. Началось самое страшное, что может быть в пустыне: медленное усыхание под палящим, злобно пылающим солнцем.

Что Пинхасу? Ему хорошо. Одолжил у находившихся в караване знатных хорезмийцев мех воды - и благополучен. А пленные? Никто не поднимал упавших русичей. А считать их - считали: как-никак хорезмшахово достояние, за него придется отвечать.

- Сорок пять, - сокрушался Пинхас. - Учил рабби Элеазар Каппор: «Не по своей воле ты создан, не по своей воле живешь, не по своей воле умрешь». Мишна, трактат Абот. Глава четвертая, раздел двадцать второй...

Умер бы и Руслан. Умер бы и Карась.

Умер бы и Лейба, которому хозяин не давал ни глотка воды.

Если бы Арсамух, бог весть почему, не наливал Руслану из своего, почти пустого, бурдюка каждый день чашку воды, а Руслан не делился ею с Карасем и Лейбой.

Умереть-то они не умерли, но были к этому очень близки, когда однажды в полдень с многоголосым воплем на караван налетел, щетинясь копьями, большой конный отряд.

Переполох:

- Тюрки, тюрки!

- Чего смотрите?! - орал Пинхас алану Арсамуху - Вынимайте оружие!

- Молись Яхве, - отвечал ему алан невозмутимо. - Он спасет.

Руслан:

- Будут грабить сейчас, убивать?

Лучше б убили. Если тюрки схватят его, уведут, - то куда, в какие еще края, неведомо

жуткие, заведут?

- Не должны бы, - спокойно сказал Арсамух. - Инэль-Каган, их вождь, в дружбе с хорезмшахом.

Лейба:

- Все, что делает Милосердный, делает к добру. Берахот, лист...

Арсамух:

- Ох, и вьедливый ты старичок! Зануда ты, я вижу, сам талмуд-хахам, не хуже Пинхаса. Помолчи-ка! Вон, тюрки машут пикой, что-то хотят сказать.

Со стороны степняков донеслось:

- Эй, не бойтесь! Нас послал Инэль-Каган. Воды не надо? Четыреста полных бурдюков. Обменяем на золото.

...Вечером Лейба плакал у костра:

- У меня золота нет, и не было никогда. Говорю Пинхасу: дай взаймы. Дам, говорит, а ты дай сейчас обязательство на пергаменте: будем дома, уступишь мне дочь свою Иаиль. Ах, Иаиль, Иаиль! Я говорю: какой же ты честный еврей, если хочешь единоверца облапошить? За глоток божьей воды просишь дочь, мою единственную радость? Ах, Иаиль. Он говорит: «Праведник Иаков за миску похлебки купил первородство у брата родного, Исава; я же тебе, болван, ам-хаарец, даю за сопливую дочку твою целый мех свежей воды». Ах, Иаиль!

- И ты, конечно, согласился?

- Я?! Господь, сохрани! Лучше мне умереть от жажды, чем отдать мою дочь, мою лилию, этому живоглоту...

Нет, не умер Лейба от жажды.

Руслан делился с ним, а иногда уступал всю свою долю (все-таки старый, слабый человек, а он, Руслан, молодой, он выдержит), - евреи снова стали выдавать пленным русам по две, по три чашки воды. Не выдавать - что скажут хорезмшаху, если все рабы умрут и спросит царь, где же дар хазарского кагана. Откуда было знать Руслану, что добротой своей он навлечет на себя большое несчастье, - и через это несчастье обретет великое счастье?

Воистину, нет худа без добра.

- Аза, Ануш, Баян-Слу... Баян-Слу! Алан, Руслан, Калгаст, Кубрат,- прости, родной. Я виноват. Я не виноват. Идар в огне. Я в огне. Карась, где ты? Сними котел с моей головы. Горячий. Лейба! Ах, Иаиль, Иаиль...

Хворь началась остро и сразу. Руслан горел от внутреннего жара, от дикой боли голова будто разламывалась надвое. Спать он не мог, день и ночь метался в бреду.

В миг просветления услышал над собою разговор. Незнакомый голос:

- Надо бросить его. Зачем тащить? Все равно умрет. Злой дух пустыни тронул беднягу.

Голос Пинхаса:

- Зачем бросать! А вдруг оживет? Есть у меня знакомый лекарь... Отдайте мне руса за три медяка, - большего он не стоит сейчас. Вылечу, подкормлю-продам за десять злотых. Сказано: «Кто не печется о выгоде, тот будет разорен».

- А если не оживет? Пропали три медяка.

- Бог милостив. Сказано в Берешит раббе: «Нет ни одной былинки на земле, которая не имела бы своего ангела на небесах». Может, ангел этого руса поможет ему.

- Что ж, давай три медяка. Прогодаешь - на нас не сетуй.

- Лейба!

- Я здесь, господин.

- Пусть твой сын Аарон сбегает к лекарю Сахру. Надо руса лечить.

- Придет ли Сахр, станет ли он лечить раба? Как-никак - придворный лекарь.
- Придет и станет. Он мой должник.
- Все-таки... упрямый человек.
- Пусть Аарон пообещает ему хорошую выпивку, закуску, - сразу прибежит.
- Но, господин...

- Оставь пререкания! Прочь с моих глаз. Даже в подлых христианских писаниях сказано: «Слуги, со страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Ясно? Беги...

Аарон, юноша рослый, здоровый, точно базарный борец, живо отыскал в путанице городских узких улочек ветхую, простую; без узорной резьбы, калитку в столь же ветхой, во многих местах оползшей, глинобитной ограде.

Не скажешь, что здесь живет придворный лекарь.

Зато внутри - благодать. Огромная шелковица плотным шатром накрывает весь дворик, и под ней, у ручья, в зеленой темноте, скрестив ноги на ветхом коврике, маленький лекарь Сахр выслушивает жалобы хворых, - людей, по одежде простых, неимущих, робко сидевших перед ним на корточках.

- Обожглась, - стонет женщина, осторожно покачивая руку, обмотанную грязным тряпьем.
- Ах, бедняжка! Сделай примочку из ячменной водки. Следующий!
- В желудке боль.
- Примочку из ячменной водки. Ну, а ты чем страдаешь?
- Судорогами в ногах.
- Поставь их в ячменную водку.

И так далее:

- Лихорадка? Ячменную водку...
- Кашель? Ячменную водку...
- Горячка? Ячменную водку...
- Благодетель! Дай бог тебе всяческих...

- Будьте здоровы. Эй! - крикнул Сахр уходящим больным. - Заберите ваши приношения, - лучше детей своих накормите. У меня со вчера осталось два хлебца, мне хватит.

- Смеешься ты, что ли, над ними? - сказал удивленный еврей, когда они остались вдвоем. - От всех болезней одно средство советуешь: ячменную водку, ячменную водку...

- Не до смеха тут, балбес! Советую средство, которое им по средствам. Чудодейственных индийских притираний им не на что купить. А ячмень действительно целебный знак. Даже вода, которой поливали ячменное поле, помогает от многих болезней. Тем более - водка. Хочешь, выпьем? - Он щелкнул пальцами по закупоренному кувшину, охлаждавшемуся в ручье. - Как раз ячменная. А то ты отчего-то бледный. Не сухотка ли у тебя, не чахотка ли? А может, водянка? Ячменную водку...

- Нет, нет! Слава богу, ни сухотки нет у меня, ни чахотки.
- Вижу.
- Да и пить мне с тобою нельзя.
- Это почему же?
- За питье нееврейского вина - семьдесят три поста на меня будет наложено.
- Кем?
- Законоучителем.
- Откуда он узнает, что ты пил нееврейское вино?

Аарон - смущенно:

- Я... должен буду... ему сказать...

- Эх, вы... люди. По рукам и ногам вас опутал Талмуд. Без него ни чихнуть, ни плюнуть не можете. А я вот пью с удовольствием всякое вино. - Он вынул кувшин из воды, откупорил его, плеснул водки в круглую чашку. - И нееврейское, и еврейское, и персидское, и греческое - любое, какое попадется.

Он выпил, поморщился, закусил редькой.

- Нам наша вера велит пить вино, - сказал Аарон. - После молитвы еврей должен выпить. А ты зачем пьешь?

- Зачем? - задумался Сахр. - Трудно сразу сказать. А! - Он озорно блеснул карими глазами. - Наверное, затем, чтоб приобщиться к всемирному содружеству дураков, не выделяться среди них, - ведь они в большем почете, чем умные. Зачем пришел?

- Пинхас тебя зовет.

- Требует долг?

- Нет. Раба надо лечить.

- С каких это пор Пинхас до того возлюбил своих рабов, что зовет к ним придворных врачей?

- Купил на днях по дешевке, надеется на нем заработать. Это рус. Моих лет. Жаль, если умрет.

- Рус? Любопытно. Что с ним такое?

- Лихорадка. Но какая-то особая.

- Ладно, бери мою сумку, - вот эту, козловую. Пойдем, посмотрим. - Невысокий, легкий, по-юношески стройный, хотя ему было уже за сорок, Сахр двинулся к выходу.

- Настали времена, - вздохнул Сахр, когда они, утопая по щиколотку в горячей бархатной пыли, шли к еврейскому кварталу по пустынным безлюдным улочкам города между глухими глинобитными оградами, из-за которых почти не слышалось песен, криков, смеха, иных звуков жизни. - Хиреет город. Вся жизнь переселилась в усадьбы да замки полевые, где каждый князь - сам себе шах, сам себе и господь.

- Пришли.

- Бывал я здесь.

Два столба, между ними, через улицу, протянута цепь. Это «эруб» - застава, за которой живет своей жизнью еврейская община.

- Эх, люди... - опять вздохнул Сахр: - Отгородились от белого света железной цепью и думают - им от этого хорошо.

- А чем плохо?

- Хотя бы уж тем, что человек, по доброй воле своей заточивший себя в темницу и просидевший в ней всю жизнь, перестает быть человеком.

- Ну, нам тут вовсе не худо.

- Знаем. Слыхали.

Внутри этой «исроэл-махалле», представлявшей собою крепость, двор Пинхаса, с его высоченными толстыми стенами и огромными воротами, тоже был настоящей крепостью. Здесь все говорило о прочном достатке, - не то что в жалкой хижине чудаковатого лекаря.

Господский дом со множеством дверей, увенчанных алебастровыми решетками для света (окон тут не признают), с просторной террасой, густая тень которой подчеркивает четкость резьбы на стройных столбах навеса. Вдоль стен, огораживающих широкий, как поле, двор - кухни, конюшни, хлевы, склады для хлеба, для дров и прочего имущества, лачуги для слуг и множество других хозяйственных построек.

На середине двора большой водоем, перед ним глинобитное возвышение для отдыха, утопающее в тени развесистых яблонь. И затейливый солнечный узор, местами падающий

сквозь ветви на ковры, коими покрыто возвышение, причудливо сочетается с их вычурным узором. И с яркими красками ковров соперничают пахучие цветы, которыми обсажен водоем. Не поверишь, сам не увидев, что в этом голом пыльном городе, в скопище желтых лачуг, раскаленных солнцем, прячется этакий райский уголок.

- А, Сахр, - не очень-то приветливо встретил врача Пинхас.

- А, Пинхас, - столь же сдержанно ответил ему Сахр. - Где твой больной?

Больной лежал в дальнем углу двора, в пустой каморке рядом с отхожим местом, на камышовой циновке.

- Ох-хо, - охал Сахр, осматривая Руслана. - Глаза воспалены, лицо тоже. Весь усох. У него обезвожена кровь. Воды не хватало, что ли, в пути? - обратился лекарь к Пинхасу.

За господина несмело ответил Лейба:

- Да, не хватало...

- Хм. Был жар у него, сильный жар?

- Дней пять или шесть он пылал, как печь.

- Ну, так и должно быть. Теперь у него появился желтуха, сыпь на коже, кровь из носа будет течь. Через неделю он бы опять запылал - и умер, если б ты, Пинхас, не сообразил меня позвать. Пустынная лихорадка.

Пинхас - поучающе:

- К нему прикоснулись злые духи «малахе-хаболе», среди которых есть «шедим» - пустынники, кои, по слову рабби Иоханана, делятся на триста видов. И еще есть «цафрире» - утренние духи, и «тигарире» - полуденные, и «лилии» - ночные. И есть...

Сахр прекратил его красноречие резким движением руки:

- Хватит, хватит! Придержи эти оглушительные сведения для своей доверчивой паствы. В пустыне есть нечисть похуже твоих злых духов.

- Какая?

- Блохи, клещи зловредные. Пинхас - уничтожающе:

- Хе! Меня каждую ночь блохи грызут - и хоть бы что. - Он самодовольно почесал волосатую жирную грудь.

- Угрызут когда-нибудь насмерть. Вот что, премудрый книжник. Если ты хочешь, чтоб рус выжил, не скупись, - его надо кормить легкой и сытной пищей: телятиной, курицей, медом, сливочным маслом. Творогу чаще давайте. И больше жидкостей разных: ну, молока, соку арбузного, дынного...

- Водки ячменной, - подсказал Аарон.

- Ни в коем случае! Нет. При этой болезни она вредит. Можно очень слабого вина, разбавленного холодной водой. А снадобье - вот оно. - Он вынул из сумки бутылку. - По три полновесных глотка трижды в день.

Пинхас - плачущее: - Ох, этот мерзкий рус меня разорит!

Сахр - сухо:

- Как знаешь. Не хочешь - вели отнести его ко мне домой. Я его вылечу. Молодой, - жаль, если умрет. Ему жить да жить.

- Тебе-то какой прок от него?

- Какой еще прок? Я лекарь. И к тому же еще - человек. Причем с совестью. Слышал про такую штуку? Но в Талмуде о ней, наверно, не сказано, а?

- О чем?

- О совести, червь!

Пинхас - высокомерно:

- У меня ее вполне достаточно - для своих единоверцев. - Покосившись на хмурого Лейбу,

он закричал, чем-то очень обиженный: - Я в своей общине человек уважаемый! А этот грязный рус? Разве он человек? Он хуже пса. Он раб, язычник.

- Эх, милый! У вас короткая память. В вавилонском плену, и у древних ромеев, и еще недавно - у их наследников византийцев, твои предки тоже считались всего лишь рабами, грязными псами-язычниками. Или за былые унижения вы срываете зло на совершенно безвинных людях? Нехорошо, нечестно. И сейчас - кто ты есть? Это здесь, в своей общине, ты бог и царь. А выйдешь туда, за «эруб», - пресмыкаешься пред каждым встречным.

- Кто, я!? Даже сам хорезмшах, его величество...

Сахр - с нетерпением:

- Ты замолчишь когда-нибудь, проклятый болтун?

Сразу скис гордый Пинхас:

- Молчу! Уже молчу, господин придворный лекарь. - Но сразу умолкнуть ему было трудно. И он добавил, сладко улыбаясь: - Сегодня среда, у нас, евреев, - самый добрый день недели. В этот день было создано солнце. И солнце твоего посещения, о высокий гость, озарило наш убогий двор...

Озабочен Лейба. Вернувшись в свою лачугу, он долго думал, молчал. Жена поставила перед ним миску с холодной куриной ножкой.

- Откуда? - спросил он изумленно.

- С хозяйского стола. Толстая Фуа расщедрилась, кинула подачку. Ешь.

- Нет. - Он сглотнул слюну. - Отнесешь это русу.

Решившись после долгих колебаний, он торжественно обратился к семейству:

- Жена моя Рахиль, сын Аарон и дочь Иаиль! Знайте: этот безродный рус, язычник, спас меня в пустыне от смерти и бесчестья. Как это случилось, - потом расскажу. А сейчас я хочу сказать: относись к нему, Рахиль, как к сыну, а вы, Аарон, Иаиль, - точно к брату родному. От Пинхаса ему не видать легкой и сытной еды. И кто с ним, хворым, станет возиться? Умрет. Придется тебе, Аарон, и тебе, Иаиль, ухаживать за ним. Лучшее, что добудем, ему отдадим. Нам не привыкать к пустой похлебке. Потерпим. Наедемся досыта на грядущем пиршестве праведников, удостоимся чести вкусить от Левиафана и Шор-Хабора.

Аарон уныло свистнул.

- Левиафан, говорит Пинхас, это рыба длиною в триста миль; если б она расплодилась, то могла бы сожрать весь мир. Бог оскопил Левиафана, убил его самку и сохранил для будущей трапезы в раю.

Иаиль облизнулась:

- Мне бы сейчас хоть кусочек той рыбы.

- Шор-Хабор, - продолжал старик, нахмутив брови в ответ на слова Иаили, - это бык-великан, который лежит на тысячах гор, каждый день съедает на них всю траву и выпивает одним глотком всю воду, которую Иордан приносит в полгода. Из сладкого мяса Шор-Хабора бог изготовит в конце всех дней множество вкусных блюд для благочестивых.

Теперь облизнулся Аарон:

- Сейчас бы кусок бычатины на вертеле.

Лейба - строго: - Воздаяние праведным - в будущем!

Седая Рахиль вздохнула:

- Будет ли оно для нас, безродных, не знающих писания?

Лейба - с внезапным озлоблением:

- Будет! Ради чего страдаем? Я, может быть, плохой еврей, но - тоже человек, и к тому же, как говорит добрый Сахр, с совестью.

Какова длина божьей бороды?

Через девять столетий после грека Эратосфена, который вычислил длину окружности земного шара и ввел в научный обиход слово «география», в еврейской общине понятия не имели о его трудах, зато могли точно сказать, сколько парсангов в божьей бороде, а именно - 10 500, то есть 47 250 верст...

О, тут знали много такого, что другим народам, конечно же - темным и диким, даже не снилось.

Тут знали, например, что добрые и злые устремления человека связаны с двумя его почками: правая побуждает к добру, а левая - ко злу.

Тут знали, что:

1. Бог - создатель и руководитель всех существ.
2. Бог един.
3. Бог бестелесен.
4. Бог есть первый и последний.
5. Молиться следует только богу.
6. Слова пророков истинны.
7. Моисей - великий пророк.
8. Тора (Моисеево Пятикнижие) есть откровение божье.
9. Тора неизменима.
10. Бог вездесущ.
11. Бог всеправеден.
12. Бог ниспошлет мессию.
13. Бог воскресит мертвых.

И если кому-нибудь пришло бы в голову спросить, откуда же у бестелесного бога борода, да еще такой внушительной длины, талмуд-хахамы ответили бы ему словами пятнадцатого раздела главы третьей трактата Абот: «Кто открывает в Торе смысл, не согласный с законоположением, тот лишается удела в будущей жизни».

Здесь хорошо знали, что должен, но особенно - чего не должен делать еврей. Запрещалось смешивать молочную пищу с мясной, в силу чего посуда строго делилась на молочную и мясную. (Несчастные турки! Знать бы им, на какие муки в аду они обрекают себя, запивая жирную баранину шипучим пенистым кумысом...)

Запрещалось есть свинину, конину, верблюжатину и даже - зайца, «потому что... у него копыта не раздвоены и он жует жвачку». Так-то. Дозволенным в пищу - кошерным считалось лишь мясо из рук особого резника - шойхета, а всякое иное мясо - тарэфным, то есть нечистым.

В субботу запрещалось рвать траву, прикасаться к некоторым вещам и, конечно, употреблять носовой платок - изволь очищать ноздри пальцами, о правоверный еврей.

И много еще разных разностей запрещалось еврею: 613 заповедей, служивших ему строжайшим руководством в каждодневных поступках, даже в самых пустяковых, заключали в себе 248 повелений и 365 запрещений.

В Хорезм евреи переселились частью через Персию, где сеяли хлеб, разводили виноград, частью через Византию и Хазарию, где занимались торговлей и всяким ремеслом, но для всех был один закон - Талмуд (от слова «ламед», что значит учение).

И, согласно Талмуду, никому в общине не разрешалось роптать на судьбу, хотя тут и было кому и за что роптать на нее. Тому, кто сетовал на бедность, читали вторую страницу девятого листа трактата Хагига: «Бедность так же к лицу Израилю, как красная сбруя белому коню, ибо смягчает сердце и смиряет гордость».

Но спроси кто-нибудь, скажем, у того же Пинхаса, почему, если так, он, как раз известный

жестким сердцем и невыносимой гордостью, не спешит напялить на себя это яркое украшение, купец, конечно, сразу нашел бы точный, прямой, но скорее - туманный, уклончивый ответ в свою защиту. Например: «Труд рук раба принадлежит его господину», - трактат Гиттин, лист двенадцатый, страница первая. Или: «Вечно пользуйся службою рабов», - трактат Нидда, лист сорок седьмой, страница первая...

И выдал бы Лейбе или другому, такому же, как он, бедняку, немного топлива на зиму, еды на субботу. И человеку, получившему жалкую подачку, пришлось бы молча проглотить обиду, - за проявление гнева законоучители наложили бы на него 150 постов. Гнев - грех. Большой грех. Нарушить целомудрие - и то стоит дешевле, всего 84 поста...

Зато в день Рош-га-шано, иудейского Нового года, Пинхас и Лейба вместе и дружно совершали ташлих - обряд грехоизвержения: стояли рядом на берегу реки, вытряхивали карманы, бросали в воду кусочки хлеба,- и грехи их, вытряхнутые в реку, уносились ее течением.

Но, что там ни говори, Лейба мог быть твердо уверен, что, умерев, не останется гнить на улице, - его непременно погребут за счет общины...

Так и жила еврейская община славного города Кята, хорезмийской столицы, своими представлениями о мире, своей обособленной, замкнутой жизнью, - пока сюда не попал по воле недоброго случая юный раб, язычник Руслан. Ему и было суждено взорвать эту глухую жизнь через то, чего не могут обуздать ни 365, ни 3650, ни 36 500 запрещений - женскую прихоть.

- РУ-У-У, РУ-У-У-

К тягучему скорбному зову Калгастовой матери, оплакивающей свое чадо-печаль, прибавились новые голоса, обращенные к нему; казалось, вся планета-женщина взывает единым голосом, нежным, тоскующим: - Русь, Руслан!

Баян- Слу, Аза, Ануш...

И теперь - эта.

Он сразу догадался, проснувшись, что это - она.

- Иаиль!

Она вздрогнула; веник, которым, стараясь меньше пылить, она подметала глиняный пол, слегка обрызганный водою, с глухим коротким треском упал ей под ноги. Обернулась, Однако ее свежее юное лицо вовсе не выражало испуга или смущения.

Наоборот, смеющиеся черные глаза с дивно густыми пушистыми ресницами, немного приподнятый кончик узкого носа, и губы, причудливо изогнутые в углах (книзу и сразу же - усмешливо - кверху), и ямочки на щеках, и бархатная шапочка, съехавшая набекрень, придавали ей беспечный, задорный, даже чуть залихватский вид.

- А! Очнулся? Ну, здравствуй. - Отбросила толстые косы за спину, поставила скамеечку, присела поближе к нему. - Откуда знаешь, как меня зовут?

- Слыхал от отца твоего.

- Имя мог услышать, но откуда ты можешь знать, что я и есть та самая Иаиль?

Учась в Самандаре аланскому языку, Руслан и думать не мог, что эта речь пригодится ему где-то в Хорезме. Но уже в пути он заметил, что язык хорезмийцев, находившихся в караване, очень похож на аланский, только не такой остроцокающий, и евреи часто говорят между собою на этом языке, - так что, приноровившись, можно было сносно объясняться с ними.

- Я еще там, в пустыне, подумал, - сказал Руслан,- дивчина с таким... ну, певучим и мягким именем... непременно должна быть пригожей и нежной. И сейчас, приглядевшись к тебе, подумал: только ей, вот этой пригожей и нежной дивчине, и быть Иаилью.

- О, ты, я вижу, юноша любезный! - Она расхохоталась. - И всем девушкам ты это говоришь?

Ей было приказано относиться к нему, как к брату родному. Но не только поэтому она так вольно держалась с ним. Чистое, еще детское, чутье подсказало ей - он свой, он добрый, хороший.

Перед детьми не притворишься хорошим. Человеку истинно доброму не надо выпячивать перед ними свою доброту. И без того, по каким-то почти неуловимым приметам, - то ли в губах, то ли во взгляде, то ли в движениях, пока он еще не успел ничего сказать и сделать, - дети сразу способны увидеть, хороший он или плохой.

- Ну, где же мне было с ними говорить. Вот уже год в плену.

- Э! - Она беспечно махнула рукой. - Я всю жизнь в плену. Только и слышу: «Вся мудрость женщины в веретене», «Будь скромной, будь скромной». Надоело! Но правда, тебе понравилось мое имя?

- Очень. Оно... знаешь, этакое..., милое, лилейное...

- Ишь ты. А тебя как зовут?

- Но ты же... сейчас меня звала!

- Я? Тебя? Звала?

- Да. «Русь, Руслан».

- Тебе показалось. Я пела: «Рустам, Рустам»

- Что за Рустам?

- Богатырь был такой когда-то в Туране. Хочешь, буду тебя так называть? Руслан и Рустам - похоже.

- Ну, какой же я богатырь. - Он вытянул тощие руки. - Если и богатырь, то дохлый.

- Будешь живой, будешь здоровый! Но ты должен много есть, хорошо есть. Вот, я принесла тебе еды. - Она поставила на циновку медный поднос, сдернула с кувшинов, мисок, чашек, белую ткань. - Вот куриная ножка. Немного телятины. Мед. Тут вода с каплей вина. Ешь. Много пей воды. Но сперва глотни лекарства.

Он заметил, что, оглядывая поднос, она сглотнула слюну.

- Будешь есть со мной?

Она засияла:

- Буду, если позволишь.

- Позволю. Не мешает? - он указал на ее носовое кольцо.

- Есть не мешает.

- А... целоваться? Она вспыхнула:

- С кем? - Губы ее жалостно задрожали. С кем ей было говорить о поцелуях? Не с братом же, и не с отцом. А с матерью - скучно. Сто тысяч нежных слов о поцелуях не могут заменить один подлинный жгучий поцелуй, - так же, как сто тысяч слов о сладости груш не способны заменить одной благоухающей груши.

А губы Рустама - они тут, вот они, вот, лишь потянись...

Это был первый посторонний мужчина, с которым она осталась наедине.

И все, что накипело в ней, давно созревшей, что накопилось в смутных ночных беспокойных видениях и давно рвалось наружу, резко хлынуло ей в голову, в бедра, в низ живота, - и юную еврейку неудержимо потянуло к этому огромному белому русу...

Руслан: - С кем? Ну, с мужем.

Она удивилась:

- Откуда ему быть?

- Я слышал, в полуденных краях, как молоко на губах у дивчины обсохнет, ее тут же - замуж.

- Да. У нас, например, отдают двенадцатилетних.

- А сколько тебе?

Она - с грустью:

- О! Я уже старуха. Шестнадцать.

- Почему же ты до сих пор не замужем?

Она уронила голову, тихо сказала:

- Кто возьмет? Я дочь бедняка, ам-хаареца. А вероучитель твердит: еврей должен все распродать, пожертвовать всем своим достоянием, чтобы сделать женою дочь талмуд-хахама.

Не выйдет это - пусть возьмет кого-нибудь из дочерей великих мира сего.

Не найдет ее - возьмет дочь одного из главарей синагоги.

Не найдет и ее - пусть сыщет дочь казначея благотворительности.

А нет - пусть женится на дочке меламеда, учителя детей.

Только пусть не берет дочь бедняка, ибо ам-хаарецы - подлые, и жены их - гады...

- Вон как. Круто! Зачем же Пинхас... просил тебя у отца твоего?

- Пинхас? Тьфу! Он давно меня домогается. Хочет сделать наложницей. Ну, рабыней для утек.

- Ишь, старый козел! А ты - не хочешь к нему?

- Что ты? Он страшный, весь волосатый. Всегда потный и всегда чешется.

- А я бы... женился на тебе, - вздохнул Руслан. - Хоть сейчас. На такой-то дивчине...

Она побелела, отпрянула.

- Что ты, что ты! Ты не еврей, тебе нельзя жениться на мне.

- А... поцеловать?

Иаиль несколько мгновений смотрела на него безумными глазами. И вдруг запустила маленькие ручки в его желтые космы, прижалась, тягуче застонав, пылающей щекой к его заросшей щеке. Он услышал, как рядом о его губами мелко-мелко, как лепестки на ветру, трепещут ее горячие сухие губы.

Будто гром грянул над головою Руслана! Он ослеп, он оглох, на какой-то миг утратил сознание.

...На Востоке срывают плод, едва он созреет. Перезревший - падает сам.

- Ой, не надо! Застанут. Ой, не сейчас, - Иаиль в страхе рвала из его большущей руки поясной шнур своих длинных широких штанов, обшитых внизу тесьмою, - он вцепился в узелок, как утопающий - в соломинку. Он и впрямь тонул - в невыразимом блаженстве. - Ночью... я ночью приду, слышишь? Ой, не надо! Застанут. Ночью... приду...

И ночью:

- Нехорошо, что мы делаем. Грех! Страшный грех. Но... что не грех? Все грех. Всю жизнь убирать грязь за вонючей хозяйкой - это хорошо? Тьфу! Будь что будет. Я больше так не могу. 84 поста? Пусть. Все равно всю жизнь пощусь. Неужто мне не суждено немного радости? Сколько лет, сколько дней и ночей я тебя ждала. погоди, - темно, не сумеешь. Я сама развяжу. Ну, вот. Ох, милый...

Лекарь Сахр, вновь осмотрев больного, остался доволен.

- Считай, с того света вернулся. Теперь - будешь долго жить. Но что это у тебя на лице? Борода - не борода, черт те что, какой-то желтый пух цыплячий. Детство кончилось, друг мой. Становись настоящим мужчиной. Эй, Аарон! Побрей его, волосы чуть обрежь, причеши. И умыть его надо. Эх, люди...

- Аарон говорит, ты придворный лекарь. Значит, вхож к царю. Узнал бы, куда подевались наши. Среди них есть один, Карась, - его бы повидать.

- Ка-раз? - повторил Сахр. - Хорошо, расспрошу.

И через несколько дней в камерке появился воин в чужом, незнакомом наряде - в белом островерхом колпаке, кожаном панцире, высоких сапогах. Зато лицо - знакомое, родное.

- Карась!

- Еруслан, друже... ох, Еруслан. Но, может, тебя опять по-иному зовут? Скажем, Ерусалим, а?

- Теперь я Рустам, - ответил Руслан, смеясь.

- Ну, добре. Быть бы живу. Какой-то ты ныне другой. Пригожий стал, как девка. И в глазах - этакое, ну, такое... - Карась потешно изобразил на своем круглом лице умильность и томность.

- Это, видно, от хвори.

Но Карась человек сметливый:

- Ну-ну. Приметил я тут во дворе девчонку. Всем бы такую хворь.

- Брось. Расскажи, как живешь, где вы все.

- В шахском дворце, брат, живем. Телохранители. В первый день согнали нас в кучу на широком дворе, выходит старый рубака с белым чубом, с длинными усами висячими, - славянин, из наших, северский, и говорит: «Год усердной службы - начнем выпускать наружу, через два года получите по коню, а через три - по девке для услады душевной. И - не дурить, знаю я вас, ошалелых! Видите? - показывает на острое бревно, врытое посередине двора. - Строптивых мы сажаем на этот колышек». А дела - все те же, что и в Самандаре: рубим, колем, копыа кидаем. Еда сытная. Я, как узнал, что ты живой, - заплакал, ей богу. Не пустили б меня к тебе, да лекарь замолвил словечко. Хороший, видать, человек. А ты - все лежишь?

- Уже подымаюсь, хожу. На работу еще не гоняют. Сил пока набираюсь.

- Госпожа! Ицхок руки обварил кипятком. Без него не управимся. Надо бы в помощь кого-нибудь.

- Ах, проклятые...

В трактате Кетубот (глава пятая, раздел пятый) говорится:

«Вот работы, которые жена исполняет для мужа своего: она мелет зерно, печет, стирает белье, варит, кормит грудью своего ребенка, стелет постель и обрабатывает шерсть.

Если она принесла ему в приданое одну рабыню, то не мелет, не печет и не стирает, если двух рабынь, то не возит и не кормит грудью своего ребенка, если трех - не стелет постель и не обрабатывает шерсть, а если четырех - она садится за кафедру»,

Рабби Элеазар говорит: «Хотя бы она принесла ему сто рабынь, он может заставить ее обрабатывать шерсть, потому что праздность ведет к разврату».

Сто не сто, а двенадцать рабынь Фуа принесла Пинхасу в приданое; и поскольку Пинхас вполне доверял ее честности, и детей у нее не было по причине бесплодности, а за домашней кафедрой ей нечего было делать, потому что она не умела читать («Обучать свою дочь Торе - это то же, что воспитывать ее в распутстве»), то ей ничего не оставалось, кроме как лежать день-деньской, слушая сказки из уст старух, ходить в гости или слоняться по усадьбе, изводя слуг и рабынь бесконечными придираками, замечаниями, оскорблениями.

Крупная, неуклюжая, с большим брюхом и узким задом, сутулясь от жира, давившего ей на загривок и плечи, растопырив толстые руки, она зашагала, переваливаясь, как борец, выходящий на круг, к красильне, где случилась беда.

Еврей Ицхок, попавший в кабалу к Пинхасу за долги, выл у входа на корточках, помахивая красными, в больших, как яблоки, волдырях, ошпаренными руками.

- Растяпа, негодяй, ублюдок! Ты нарочно руки обварил, чтоб день-другой побездельничать! - накинулась Фуа на беднягу. У нее вдруг все сразу затряслось: и толстые губы, и огромный жирный подбородок, и груди, и брюхо, и руки; схватив горсть извести, лежавшей у входа, она бросила ее Ицхоку в лицо. В лицо известь не попала, а на обожженные руки - да. Еще пуше взвыл Ицхок.

- Сделай примочку из ячменной водки, - посоветовал Аарон, прибежавший на шум из цирюльни подле ворот, снаружи.

- Где я ее возьму?!

- Может, хозяйка даст.

- Стану я тратить водку на всякую свинью! А ты почему здесь? Ступай на место, скотина. - В ее деревянном голосе не было ни повышений, ни понижений, никаких переходов, оттенков и тонкостей, - так говорила бы, наверно, колода, если б научилась говорить.

Она сунула свой нелепый, прямой, но слишком крупный (будь он втрое меньше, сошел бы даже за правильный) нос в мастерскую. Большие ноздри дрогнули от чада.

Над глубоко врытыми в землю огромными хумами - корчагами витал ядовитый синий пар. И от него лица красильщиков казались тоже синими.

Длинное помещение со столбами, подпирающими низкий закопченный потолок. Красильных чанов в мастерской - три ряда по шестнадцать в каждом. Из-за этих корчаг, врытых в землю, красильня походила на винодельню, но поскольку «вино» в них было синим и воздух в мастерской был резким и дурным, то заведение это казалось разве что винодельней ведьм и чертей.

Один из работников накладывал в горшки твердые комья индиго и заливал их кипятком. Другой выливал уже размокшую, полежавшую день-другой в воде, краску в большой котел, растирал ее плоским камнем и опять разбавлял водой. Третий, между тем, насыпал в пустые хумы гашеную известь, зернистый белый порошок - поташ, по фунту сушеных ягод шелковицы для вязкости. Четвертый переливал раствор из котла в хумы, размешивал его палкой.

Старший из красильщиков, опытный работник, оглядывал чаны, определял готовность краски по пузырькам на поверхности, по цвету и даже по запаху, и добавлял, по мере надобности, горсть-другую поташа. Еще один извлекал из кипящих котлов шерстяную, хлопковую и шелковую пряжу, окунал ее в чаны и выносил, уже окрашенную, сушиться на веревках на заднем дворе.

Темень, багровый огонь под котлами клокочущими, плеск и шипение, и жара, духота и смрад, - наверно, картину ада описал вероучитель, когда-то случайно заглянувший в красильню.

Фуа - строго:

- Плохо работаете! Мало сделали сегодня.

Старший красильщик - смиренно:

- Не успеваем. Нам бы еще одного человека, краску разливать.

- Этот подлый Ицхок...

- Не ругай его, госпожа. Ицхок - работник хороший, прилежный. Ну, случилось несчастье, - торопились, - что тут поделаешь?

- Все вы лентяи! И ты с ними заодно. Сказано: рабы спят больше, чем другие, раб не зарабатывает даже столько, сколько он проест.

- Не успеваем, госпожа. Нужен еще один человек.

- Что же, мне самой лезть в твою поганую краску?!

Она вывалилась во двор. Ее, одуревшую от жирной пищи, от безделья, этот пустяковый случай привел в неопишемую ярость. Ей хотелось кого-нибудь убить. Проходя мимо Ицхока, она пнула его ногою-бревном - и побежала в отхожее место облегчить мочевой пузырь. Выйдя оттуда с бледным лицом, похожим на блекло-зеленую тыкву, она заметила открытую дверь каморки; ей вспомнился раб, недавно купленный мужем. Она его видела мельком, когда привезли, косматого, хворого, с лицом, пылающим от жара. Может, он уже очухался, желтоволосый урод? Если стоит на ногах - пойдет в красильню.

Скажи ей сейчас кто-нибудь: что случится в мире, или хотя бы в доме ее, если сегодня будет

окрашено на три мотка пряжи меньше, чем вчера, она бы даже не поняла, о чем речь.

В каморке сидел на циновке плечистый пригожий юноша с гладким румяным лицом, Руслану после болезни постоянно хотелось есть; пищи, приносимой Иаилью, ему не хватало (сказать ей об этом он не смел), и он заново обглаживал косточку, оставшуюся с утра.

Фуа бессмысленно уставилась на него небольшими тускло-зелеными глазами, толстая мокрая губа ее отвисла, казалось, от собственной тяжести. После пакостной, осточертевшей рожи Пинхаса новый раб, юный, светлый и свежий, показался ей самым Иосифом Прекрасным. «Старый мерзкий Пинхас уже который день в отъезде, а мне всего тридцать лет, я молода, я красива...», - пришло ей в голову. И дурное томление, которое изводило ее уже который день, сразу получило цель и осмысленность. Но Фуа-толстуха, в чьих любых поступках внезапный толчок, острое внутреннее побуждение обычно преобладали над крохой разума, почему-то сейчас растерялась, смутилась - и ушла, не найдясь, что сказать.

Она догадалась, конечно, что он голодный, - этакой машине нужен целый горшок похлебки в один присест; и если его подкормить...

Через час она вернулась с огромным блюдом горячей рисовой каши.

- Я твоя хозяйка, - сказала она своим тупым бездушным голосом. - Ешь.

- Спасибо, после. - Он постеснялся есть при ней, отодвинул блюдо в сторону.

- Уф, устала! Я присяду к тебе?

Он - удивленно:

- Садись.

- Ты не будешь работать в красильне. Я буду тебя кормить. Я буду тебя беречь. - Фуа закрыла дверь, села на циновку, поджав ноги, уставилась мутными зелеными глазами на его белую гладкую грудь, То ли это получалось у нее помимо ее воли, то ли она считала это утонченным способом заигрывания с мужчиной, - бог весть, но грубые губы хозяйки нелепо смыкались и размыкались, будто она, причмокивая, обсасывала виноградную ягоду. И золотое носовое кольцо каждый раз вздрагивало в ее толстой ноздре.

- Я Фуа, - сказала она, отдуваясь. - Скажи... я красива, я молода? Взгляни в мои рысьи глаза, - они прекрасны, правда? Я нравлюсь тебе?

Он молчал, обалделый.

- Я тебе нравлюсь?

Он не знал, что сказать.

- Я нравлюсь тебе?

Нет, она не нравилась ему. Весь ее облик, нелепый и несуразный, был ему противен. Когда он увидел на ее бледных щеках и тяжком подбородке редкую, но крупную черную щетину (забыла или не удосужилась побриться), у него мороз пробежал по коже от омерзения.

- Что ж ты молчишь? - Она начало резко, рывками, ерзать по циновке и не то всхрюкивать, не то всхрапывать. - Я нравлюсь тебе, да?!

Он кивнул, растерянный, ошалевший, - лишь бы она отвязалась.

Но отделаться от нее было не так-то легко.

- Ты хотел бы... сделать надо мною насилие? - продолжала Фуа. - И ударил бы ножом, зарезал бритвой, если б я сопротивлялась, да? Скажи, ну, скажи!

- Да, - вздохнул он, совершенно сбитый с толку. - Ударил бы. И зарезал...

- Ну, вот видишь. Но я - согласна! Мой Иосиф Прекрасный. Золотоволосый. Мой белый... - Она наклонилась, поцеловала его в грудь - и, привыкшая сразу, без промедления, получать, что захочет, задрала подол на обширный колыхающийся живот - и сняла платье через черноволосую голову.

Она осталась в одних штанах. Руслан увидел: только низ ее штанов сшит из дорогой яркой

ткани, - верх чуть ли не из дерюги. И что-то постыдно-двойственное открылось ему в существо этой женщины и в жизни этой богатой усадьбы: напоказ - красивое, яркое, что скрыто от глаз - дешевое, грязное.

- Насилуй меня... насилуй меня... мой Иосиф Прекрасный...

- Ты что?! - заорал Руслан, подымаясь. - Рехнулась?! - Его охватила злоба. Ишь, вломилась чужая баба - и занимайся ею. Страшно не то, что она страшна, как смертный грех, - страшно то, что она, видно, и впрямь мнит себя молодой и красивой, и еще страшнее - что хочет непременно им овладеть, навязать ему свою этакую... красоту. Он что - навозная лопата? - Отстань, дура! Уходи отсюда.

- Как?! Ты же сказал, что я тебе нравлюсь. Напрасно он пытался ей объяснить, что ничего подобного не говорил, - он просто кивнул, и то потому, что она того добивалась. Ей невозможно было что-либо доказать. Она твердила свое:

- Ты сказал, что я тебе нравлюсь. Ты сказал: садись. Ты сказал, что хочешь меня изнасиловать.

- Но...

- Ты сам сказал!

- Однако...

- Ты хотел ударить меня ножом, бритвой хотел зарезать. Ведь ты говорил это, правда? Скажи, ты это говорил?

- А где тут нож, где бритва?!

- Но ты же сказал, что хочешь меня зарезать?!

- Ну и что, сволочь? Ведь не зарезал. - Будь под рукою нож, он и впрямь бы зарезал ее.

- Я молода, я красива... Ты хотел меня соблазнить, ты хотел меня убить и ограбить. Закон на моей стороне. Попробуй, отвертись. Ты сам сказал...

Он взвыл, схватился за голову - и выскочил вон. Но Фуа успела поймать его за ворот - и рубаха Руслана, разорвавшись надвое, осталась в ее руках.

Жгучий вихрь неутоленной похоти ударил хозяйке в голову.

По благому примеру жены Потифара, начальника царских телохранителей в Египте, зло отомстившей Иосифу Прекрасному за пренебрежение ею, Фуа уже было решила поднять шум на всю усадьбу, расправиться с непокорным рабом, - он, мол, на меня напал, хотел сделать надо мною насилие.

Но она тут же сообразила, что только повредит себе, - скажут, как она очутилась в уединенной камерке и почему одежда порвана на нем, а не на ней. Ну, одежду-то можно самой порвать. Однако - зачем спешить. Успеется.

- Я напугала его, - глухо бормочет Фуа, надевая платье. - Нельзя так сразу. Надо было сперва приучить его к себе. Ночью приду. И обязательно им овладею. Не может быть того, чтобы свежий молодой мужчина устоял перед такой сдобной пышечкой, как Фуа. Я молода, я красива...

- Будь твоя Русь поближе, убежали бы мы с тобою, - плакала ночью Иаиль. - Эта гадина теперь не отстанет. Она нас изведет. Нрав у нее самый гнусный на свете. Который год ее знаю - и никак не пойму: то ли она пройдоха, то ли просто сумасшедшая, или сразу и то, и другое, - если это совместимо. С жиру бесится, свиное рыло. Ох, милый! Убежать бы нам куда-нибудь. Но куда убежишь? И зачем я женщиной родилась? Не зря каждый еврей ежедневно возносит молитву. «Благословен ты, господь, за то, что не сотворил меня женщиной». Ох, нет, нет! И хорошо, что бог сотворил меня женщиной. Иначе б я не смогла тебя полюбить. Будь что будет, - жизнь мою могут отнять, но любви моей никто не отымет.

Фуа, ускользнув от спящего Пинхаса (он приехал к вечеру), долго стояла у входа в камерку,

подслушивала и тряслась от негодования. Пока шли разговоры, она еще терпела. Но когда до нее донеслись страстные стоны влюбленных, Фуа не выдержала.

С грохотом распахнулась дверь, в каморке раздался рев хозяйки:

- А-а-а! Урод желтоволосый, дохлятина, рвань... Спутался с девкой сопливой и еще смеет звать меня к себе, предлагать мне, честной женщине, с ним лечь! Урод, грабитель, рвань... Пинхас, эй, Пинхас, мой верный супруг!

Руслан окаменел от неожиданности. Иаиль нашлась быстрее. Она схватила в углу большой пустой горшок из-под воды и надела его хозяйке на голову. Затем быстро взяла в отхожем месте грязную палку и принялась дубасить ею хозяйку по жирной широкой спине к несоразмерно узкому заду.

Набежали. Шум, гам. Сверкание факелов.

Фуа изловчилась снять горшок с головы, - по усадьбе разлетелся ее грубый голос: - А-а-а! Грех! Лейба, где Лейба? Пусть посмотрит, чем занимается дочь. Пинхас, накажи потаскуху, - она переломала мне кости железной палкой. А рус хотел меня ножом ударить, зарезать бритвой...

Пинхас не заставил себя долго упрашивать. Как, эта дрянь отказалась с ним сожительствовать и пригрела раба? Распутная девка! Он накинулся на Иаиль, стал ее избивать своими огромными кулаками. Руслан схватил его за мощные плечи, но после болезни он был так слаб, что не мог одолеть здорового откормленного торговца.

Спасибо, Аарон поспешил на помощь,- и вдвоем они повергли Пинхаса наземь.

Но, поскольку в усадьбу сбежалась чуть ли не вся община, Руслана сумели втолкнуть обратно в каморку и заперли в ней.

Плакать он уже разучился, я всю ночь без слез, с сухими глазами, изнывал от жгучего горя, раздиравшего грудь: что с Иаилью? Ах, Иаиль, Иаиль...

Наутро в доме Пинхаса сошлись все члены магамата - совета старейшин общины: талмуд-хахамов, великих мира сего, главарей синагоги, учителей-меламедов и прочих весьма уважаемых людей.

Пинхас настаивал на немедленной расправе:

- Сказано в книге Второзакония: «Если... не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют ее камнями до смерти».

- Это - если она вышла замуж за еврея и оказалась не девственницей, - возразил один из старейшин, самый мудрый. - А тут другое. Тут нарушение целомудрия. Но признать, что еврейка вступила в недозволенную связь с иноземцем, рабом, - значит допустить, что это возможно, и тем самым ввести в соблазн других отроковиц и женщин. Но сие у нас невозможно! Пусть недостойная дочь почтенного Лейбы скажет, что раб сделал над нею насилие, - и мы накажем раба, а с отроковицы снимем тяжкое обвинение.

- Да, это выход! - согласились с ним все, кроме Пинхаса. - Община взбудоражена, надобно сразу приглушить смуту.

- Нет! - крикнула Иаиль, когда ее позвали и сказали, каким путем она может спастись. Лицо ее было жутким от синяков и кровоподтеков. - Не делал он надо мною никакого насилия. Я сама... по доброй воле... мы - по обоюдному согласию... потому что любим друг друга. Любим, слышите, вы? Хотите убить - убейте нас вместе. Лучше мне умереть на его добрых руках, чем жить среди вас, жестоких и глупых.

- Ах, вот как?! - чуть не задохнулся Пинхас.

Тот старейшина:

- Лейба, уговори свою дочь...

- Не надо меня уговаривать! Или нет у меня своей головы?

- Уговори свою дочь сказать, что раб сделал над нею насилие, иначе ты будешь предан анафеме, отлучен от народа Израилева.

Лейба рывком втянул голову в плечи, в ужасе пискнул, как мышь. Будто над ним уже загремели грозные слова анафемы:

«Кят, год такой-то...

По произволению городской общины и приговору святых, именем бога и святой общины, перед священными книгами Торы с шестьюстами тринадцатью предписаниями, в них указанными,

мы отлучаем, отделяем, изгоняем, осуждаем и проклинаем Лейбу, сына Мордухаева, тем проклятием, которым Иисус Навин проклял Иерихон, которое Елисей изрек над отроками, которым Глезий проклял своего слугу...

и всеми теми проклятиями, которые были произнесены со времен Моисея до наших дней. Именем бога Акатриэля;

именем великого повелителя Михаэля;

именем Метатрона, князя божественного лика;

именем Сандалфона, слившегося с творцом вселенной;

именем вездесущего таинственного Шемгамфореша, начертанным на скрижалях...»

- Нет, нет! - завопил в страхе Лейба. Отлучение от общины страшнее смерти. Конечно, ему жилось нелегко, но, плохо ли, хорошо ли, была крыша над головою, был хлеб, хоть и черствый, но все же - хлеб насущный. Будь он хоть помоложе... куда он пойдет, бесприютный и нищий, с вечно хворой женой, где найдет теплый угол в этом чужом, холодном мире, среди черствых, презрительно усмехающихся иноверцев? Только и останется ему с Рахилью околеть, как паре дряхлых бродячих собак, на пустыре...

Ему жаль, конечно, Иаиль, - ах, как жаль! - но что поделаешь? Бог сильнее человека. Сказано: человек - червь, ползающий во прахе, сила и знания его - ничто.

- Моя дочь... виновна, - с болью сказал старый Лейба. И пусть примирится со своей печальной участью.

- Отец! - вскричал Аарон. - Ты предаешь родную дочь.

Лейба бессильно развел руками.

- Разве Иеффай Галаадитянин не возвел свою дочь на костер по обету господе богу? - сказал Пинхас ему в утешение.

Аарону повезло: лекарь Сахр оказался дома, и русов, шахских телохранителей, как раз вывели из замка с оружием на конные ратные учения... И со всей яростью, накопившейся в них за долгие дни мучений и унижений, обрушились они на усадьбу Пинхаса, где толпа буйствующих правоверных евреев, запасшись камнями, уже собиралась приступить к расправе над бедной Иаилью.

С грохотом рухнули ворота. Зашатались, затрещали столбы террасы.

Карась увидел, как Руслан во дворе с оглоблей в руках пробивается сквозь дико орущую толпу к безмолвной Иаили, притиснутой к стене у дверей хижины.

...Когда толпа разбежалась, Руслан упал перед Иаилью на колени. Она лежала под стеною, уткнувшись в землю лицом. Фуа с Пинхасом могли торжествовать: где достала, когда припасла злое зелье, - бог весть, - Иаиль в последний миг отравилась.

Руслану вспомнился гот Гейзерих. Гота убил родной брат. А кто убил Иаиль, - разве не братья по вере, по крови, по языку? Рот, который он только нынче ночью целовал, наполнен зеленой пеной. И родная Иаиль была уже чужой, нездешней, - она перестала быть Иаилью...

Иаиль, Иаиль...

- Когда наши предки переселились в Хорезм, твой светлый родитель Сабри, - да будет с ним божье благословение! - выдал отцу моему охранную грамоту (вот она), по которой наша община находится под покровительством шаха и никто не смеет ее беспокоить. Разве мы не вносим в твою казну установленных податей? Мы говорим членам общины: «Кто поступает дерзко по отношению к царской особе, тот поступает дерзко как бы против самого бога». Но вчера твои воины, о государь...

- И большой ущерб они тебе причинили?

- По усадьбе ущерб... э-э... не очень большой. Но они увели моего раба.

- О государь, - сказал придворный лекарь Сахр. - Надоедал ли я, как другие, тебе когда-нибудь нудными просьбами?

Хорезмшах Аскаджавар,- изумительно красивый человек с блестящими черными кудрями до плеч, с блестящими черными глазами, тонким крепким носом и мягкими нежными губами, с блестящей же черной бородой,- откинулся, довольный, на резную спинку трона, подставил потную шею под ветерок от опахал и милостиво изрек:

- Никогда, мой верный Сахр! Но ты можешь просить, что захочешь, - разве я тебе откажу?

- Тогда отдай мне этого раба.

- Но он - чужое достояние. Сперва я должен заполучить его у Пинхаса. Как, Пинхас, - не отдашь ли ты мне одного этого руса... взамен тех сорока пяти, которых ты сгубил в пустыне, вылив воду?

Бледный Пинхас пал ниц:

- Возьми, возьми его, о государь, и делай с ним, что захочешь.

- Я дарю его Сахру.

- Воля твоя, государь.

- Кстати, где он, раб-рус? Увели, увели, куда увели?

Сахр с усмешкой:

- В мой дом.

- А! Хитрый ты человек, Сахр.

- Куда мне до Пинхаса...

В ГОСТЯХ У «ПОКОРНЫХ БОГУ»

*Все лгут: поп и мулла,
раввин и черный маг...*

*Мир по- иному разделите сразу,-
Есть вера у одних, но ни на грош ума,
Нет веры у других, зато есть разум.*

Абуль- аль-Маарри

Лекарь Сахр, в своей потертой легкой свите, вернулся домой с жирной бараньей ляжкой под мышкой. Одинокий и непритязательный, он питался обычно в харчевнях на базаре, - но теперь у него в доме был человек, перенесший тяжелую болезнь и еще более тяжкое душевное потрясение, черствым хлебом его на ноги не поставишь.

Войдя во двор, он сразу заметил, что двор прилежно подметен, полит водою. Рус лежал на коврике под шелковицей, вниз лицом, положив голову на сомкнутые руки. Спит, наверное. Пусть.

Но Руслан не спал. Какой уж тут сон. Услышав легкие шаги, он поднялся, сел, но глаз не

вскинул.

- Ну как, Рустам? Ты весь потный.

- Хочется пить.

- Пить? Да, жарко. Ну и чего бы тебе хотелось выпить?

Руслан, подумав:

- Молока бы холодного...

- Молока?! - изумился Сахр. - Ну и ну. А перед этим, конечно, ты съел бы пару сладких хлебцев, не так ли? Экий чудак! Да разве сладкие хлебцы - еда для мужчины? И молоко - питье для него? Чтоб целый день бурчало в животе... Тьфу! Вот мы зажарим с тобою сейчас мясо на прутьях железных, съедим его с уксусом, луком и жгучим перцем, чтоб во рту горело! И запьем крепким, терпким, холодным вином...

Он принес из-под навеса летней кухни прямоугольную жаровню, древесный уголь в корзине.

Руслан продолжал сидеть, тупой и бесчувственный.

- Любовь, - вздохнул Сахр, разжигая уголь в жаровне. - Ах, любовь... Она неотделима от женщины, а женщина - от красоты. Именем женщины, богини любви, люди называли самую прекрасную звезду, что горит по утрам и вечерам, как обещание юным и утешение старым. - Он помахал над жаровней плоской широкой дощечкой, чтоб раздуть огонь, и в черном угле вспыхнула голубая яркая точка, - точно звезда, о которой он говорил. - Даже на слух это имя звучит как женский шепот ночью, воркующий смех, вздох согласия, как гимн ее телу, как стих красочной поэмы:

Афродита, Венера, Нахид.

По-ассирийски - Ннгаль.

По-вавилонски - Инанна. Любовь...

- Я это слово слышать не могу! - сказал Руслан с отвращением.

- Это почему же?

- Твердим к месту и не к месту - истрепали его, замусолили. И стало оно обманным и подлым. Вон, всякое вероучение, начинаясь со слов «любовь» и «спасение», кончает тем, что человека, которому обещает любовь и спасение, кладет на плаху, возводит на костер или, если не убьет, то, страдая адскими муками в будущей жизни, уже здесь, на земле, обращает его жизнь в неизбывную адскую муку, вечное страдание.

Сахр - довольный:

- Ага! Ты умен. Ты понятлив. Ты, конечно, все хватаешь на лету, и у тебя хорошая память, верно? Что ж, далеко пойдешь! Или ты будешь отъявленным мерзавцем, или добрым благородным человеком: тот, кто столь непочтительно отзывается о святых вероучениях, неизбежно становится или тем, или другим. Станешь мерзавцем - преуспеешь, конечно, в жизни, но, в конечном счете, загубишь себя. Потому что, друг мой, отъявленных мерзавцев - великое множество, у них тысячелетний опыт, и трудно их переплюнуть. Значит, все твои ухищрения пойдут насмарку, и ты прогадаешь, пополнив их многотысячную свору. А вот хорошие люди - редкость, они ценны, они заметны, так что уж лучше старайся стать хорошим человеком. Я тебе помогу, хоть сам и не могу назвать себя вполне хорошим. Но суметь помочь зеленому юнцу сделаться зрелым мужем - тоже неплохое качество, а? Попытаемся, попробуем. Я много знаю. Прямо-таки изнемогаю от своих знаний. И буду рад переложить их половину, или все, в твою голову.

Сахр добродушно рассмеялся.

- Если б ты знал, как мало толковых людей, то есть людей с четким, хорошо налаженным мышлением, умеющих пятью-шестью словами, вполне членораздельно и вразумительно,

передать суть дела так, чтобы тебе сразу стало ясно, что, где, к чему, когда и как, что нужно делать и чего не нужно. У многих людей в голове мешанина, отсюда и мешанина в словах, - и поступках, и в жизни, бестолковщина в мире. Пусть же одним толковым человеком в мире станет больше. Сходи-ка на кухню, друг мой. Принеси нож и горшок, поднос и доску, лук в корзине.

Руслан живо нашел, что нужно, принес.

Сахр продолжал, нарезая мясо на доске кусками:

- Учись разжигать очаг, жарить, варить, мыть посуду, стирать, подметать, шить и все такое. Пригодится. Сколько семейств разлетается в прах, сколько в них шуму и гаму, - режутся, брат, оттого, что не могут решить, кому миску похлебки сварить: жене ли, мужу ли. Всемирная задача, брат. Плюнь. Сам все умей. И будешь царь. Но - черт их знает, этих женщин! - Он сложил куски мяса в горшок, посыпал солью и перцем, слегка обрызгал уксусом, накрыл миской. - Пусть постоит. Когда мясо томишь, много уксусу не лей - станет дряблым. Так вот, женился я на одной. И поставил условие, чтоб ничего, - вовсе ничего,- по хозяйству не делала (чтоб все обиды пресечь заранее, понимаешь?). Все делаю сам. И все делаю отлично, не придерешься. Обрадовалась: вот с кем ей будет райская жизнь! Но через полгода рехнулась, бедняжка.

- Как рехнулась?

- Ну, умом тронулась. Видно, из-за того, что не за что было меня грызть.

Руслан удивленно смотрел на хозяина: шутит или всерьез говорит. Ему и в голову не приходило, что Сахр болтает, что взбредет, чтобы отвлечь его от горьких переживаний.

- Ладно, - вздохнул Сахр, сложив палочки с мясом на жаровне. И умолк.

Руслан - участливо:

- Что, скучно?

- Не скучно - грустно.

- Не все ль равно?

- Нет. Скучно дураку, который не может найти себе занятие. Скука, грусть и тоска - вещи разные, хотя многие полагают, что это одно и то же. Разница между ними огромная, и состоит она в том, что от скуки зевают, от грусти тихонько поют или насвистывают, от тоски - воют. Но мы с тобою не будем ни выть, ни даже свистеть.

Зачем? Жизнь - сказка. То веселая, то грустная, то страшная, но - сказка, и будь доволен уже тем, что просто живешь. Чего шуметь? Что и от кого требовать? Ведь ты мог и вовсе не появиться на свет, и не увидеть ни солнца, ни птиц, ни полей, ни морей...

Жизнь - совершенно случайный дар, радуйся ей, как невероятной удаче, и не сетуй, что она трудна и коротка.

Не горюй! Что было, то было. Человек не может жить без приключений. Спокойствие - однообразие, однообразие - скука, скука - сон, а сон - все равно что смерть. Не горюй! Ни о чем не жалеешь. Ананке,- как говорят ромеи. То есть, рок. У меня, например, было столько утрат, что если б я горько жалел о каждой, то уже давно бы подох. Ни сил, ни жизни не хватит обо всем жалеть.

...А петь мы будем, друг. Пить и петь. - И, успевший между делом хлебнуть целебной ячменной водки, он запел:

Что ж, благоденствуйте пока, -

А мы победствуем...

Схватить удачу за бока

Вдруг сыщем средство?

- Ты же придворный лекарь,- почему не живешь во дворце? - полюбопытствовал Руслан.

- А зачем? Там шумно, тесно, а я не люблю дурацкого шума, суеты, пустой болтовни. И ты не суетись, не стучи, не греми, не кипячись и не дергайся, - возненавижу и отправлю назад, к Пинхасу.

Где уж тут шуметь и греметь, - Руслан был душевно рад, что после стольких бурных передрыг угодил, наконец, в тихую заводь.

...Он сидел снаружи, у входа во двор, на глинобитном приступке, и все щупал и щупал с непривычки большую серьгу в левом ухе.

Сахр сказал ему ранним утром:

- Ходи, броди по городу, отдыхай, - не сидеть же день-деньской взаперти. Но если рус, чужеземец, вольно ходит по городу, люди обязательно скажут: «Чей?» Могут задеть, обидеть. Теперь ты - мой. На этой медной серьге, - мне сейчас принес ее чеканщик, - выбито имя мое. Будешь считаться моим человеком. Н-ну... э-э... м-м... рабом. Только считаться, слышишь? Не прими в обиду. Вденем в ухо серьгу, никто не посмеет тебя задеть. Я сейчас проколю тебе мочку. Не бойся, не будет больно, я лекарь.

Пройтись, что ли, по городу, посмотреть? Ведь он его толком и не видел, - был хворым, когда привезли... Найти бы в еврейскую общину, взглянуть, как живет Аарон. Что с ним сделали? Ведь он бил Пинхаса. Сахр сказал: «Э! Наложили эпитемию, сто пятьдесят, или триста, или пятьсот постов, и делу конец. Общине нет смысла подымать громкий шум, - привлекут внимание Хорезмшаха, он может, рассердившись, наложить такую эпитемию, что Пинхас останется без штанов»!

...Перед Русланом возник, откуда - неведомо, высокий худой человек в светлой просторной одежде.

- Ты - Рустам?

- Я.

- Мир тебе. Хозяин дома?

- Нету его.

- И слава богу. Я слышал, сын мой, о твоей горькой участи. Знаю, что жаждешь утешения. Не хочешь ли пройти со мною, увидеть чистых, святых людей? Наша община - за городской стеною, в предместьях.

- А ты кто?

- Манихей.

Руслан вспомнил о Карасевых «обманихах», - наверно, это один из них. Почему не пройти, не посмотреть? Сахр говорил: калитку можешь не запираешь, никто не залезет, да и красть у нас нечего. Одно богатство - книги в сундуке, но они никому не нужны, никакой вор их не поймет.

- Пойдем.

На подходе к городским воротам Руслан увидел в крепостной толстой стене, изнутри, великое множество ниш с какими-то прямоугольными, на ножках, сосудами из алебаstra или обожженной глины.

- Это что? - удивился русич. - Кладовая в стене?

Манией брезгливо сплюнул:

- Не кладовая - кладбище. В этих ящиках - оссуариях поганые маздеисты хранят кости умерших родичей.

- А-а...

Не торопясь, бредут по дороге между садами, полями к соседнему селению. Ноги до икр тонут в горячей пыли. Босой Руслан чуть ли не на каждом шагу, тихо вскрикивая, поджимает, как аист, то одну, то другую ногу. Будто идет по золе обжигающей, только что вынутой из

очага.

Такую бы пыль раскаленную - там, у хазарских речек, где к ногам примерзала галька...

- По бережку иди, по траве, - советует манихей. - Только - на змею не наступи. Они любят лежать у воды. - И вздыхает: - Тебе опять не посчастливилось.

- Почему?

- В плохие руки попал. Твой новый хозяин - дурной человек, нечестивый. Ты с ним пропадешь.

- А какой он веры?

- Какой веры? Никакой! Он безбожник. Вернее, бог его - кувшин ячменной водки, а церковь - голая женщина. Тьфу! Мерзкий человек. Перейдешь в нашу веру - выкупим тебя из рабства, будешь жить в мире и добрых раздумьях, среди тихих, спокойных людей. Нет веры более истинной, чем наша.

- А... в чем она? - насторожился Руслан.

- Вероучитель Мани, посланец бога на земле (он жил в Иране, в 276 году был казнен за праведность), говорил: «Почему в мире, нас окружающем, существует неравенство, - именно белое и черное, красное и зеленое, справедливое и несправедливое? Потому, что все состоит из двух начал - добра и зла, света и тьмы».

Началось, - подумал Руслан с тоскою, - тот сказал, этот сказал...

- Окружающий мир, - продолжал манихей, - есть воплощение зла. Уничтожить зло на земле невозможно. Оно - извечно. Лишь после смерти человека душа очистится от тьмы и переходит в царство света.

Мы живем замкнуто. Но вступить в нашу общину может любой. Обрядность наша проста. У нас нет ни храмов, ни алтарей, ни пышного богослужения. На молитвенных собраниях мы поем свои тихие гимны, читаем сочинения Мани. Но, чтобы вступить в нашу общину, сын мой, ты должен навсегда отказаться от мяса, вина, от общения с женщиной...

- И все?

- Пока. Подробнее с нашим учением ты познакомишься в тот день, когда надумаешь вступить в общину.

Вступить в общину...

Вот будет смеяться над ним Карась, называя его «обманихой»!

«Обманихи» и есть.

Ну, от мяса отказаться можно бы, - не так уж он много съел его за свою жизнь (хотя и очень приятно вспомнить вчерашнее мясо, зажаренное на вертелах).

И без вина тоже можно прожить.

Но без общения с женщиной...

Стыдно думать о покойной Иаили как о любовнице. Мертва. Но разве на его плечах, на руках, на груди, на животе и на бедрах не сохранилось еще живое ощущение ее прикосновений? Разве он когда-нибудь забудет о ее жгучих ласках? Уйти в манихейскую общину - значит плюнуть на все, что было между ним и нежной Иаилью (все равно что в глаза ей плюнуть), изменить ее светлой памяти, гнусно предать ее, погибшую именно за любовь.

Ему хотелось закричать, упасть на дорогу, зарыться и пыль.

- Нет, отче. - Руслан остановился. - Ешь сам свою репу, пей сырую воду, женщин сторонись, - мне твое учение не по душе. Я к тебе не пойду.

- А! Негодяй Сахр, он уже успел тебя осквернить своей порочностью.

- Не трогай его, - я обижусь. И тебя могу обидеть.

Манихей долго бормотал вслед уходящему Руслану не то проклятия, не то заклинания, смерду было наплевать и на то, и на другое.

«Ишь, святой, - думал он злобно. - И этот заморыш хочет меня в темный гроб затолкать, обещая свет на том свете. Один такой проповедник уже пытался меня околпачить, - вспомнил Руслан ромея Киракоса, которого он вдвоем с Карасем хотел честно высечь. - Нет, шалишь, дураков больше нет».

...А жара! Мозги спеклись, пламя в глазах.

Пойду- ка, посижу в холодке под тем вон деревом, в ручье лицо ополосну, ноги в воду спущу. Только б на змею не наступить. Как сказал манихей? «Они любят лежать у воды». Сами вы, законники, не лучше змей, любите таиться у живой воды, добычу подстергать.

Уф! Хорошо тут, прохладно. Только ручей какой-то странный. Уж больно прямой, с гладкими ровными берегами,- можно подумать, человеком вырыт, - но кто сумеет вырыть такой? Сколько сил на это нужно. Нет, все-таки похоже, человек работал: от большого ручья отходит малый, тоже прямой, и по нему вода, мутная, желтая, задушевно журча, бежит на ячменное поле. В грязи у бережка - следы босых человеческих ног. И вдалеке, на той стороне поля, кто-то ходит с большой мотыгой на плече.

Мать честная. А Руслан-то всю дорогу голову ломал: вокруг сады, поля зеленые, дождей же сколько дней уже нету, да и не бывает их, видно, здесь, - как люди с засухой бьются? Откуда воду берут? Вспомнил Руслан, - алан Арсамух говорил о какой-то большой реке. Может, ему доведется увидеть ее.

Отдохнув, чуть остыв, Руслан стал искать дорогу, по которой попал сюда из города. Заговорившись с манихеем, он и не заметил, где ее потерял. Тут целая сеть дорог и троп меж садами, полями, вдоль мутных ручьев, которых не меньше, чем троп, - легко заплутаться. Город-то - вот он, невдалеке, громоздится стенами, башнями; пойду полегоньку наугад, решил Руслан, авось по какой-нибудь дорожке и дойду до ворот.

Но дорожка, по которой он побрел наудачу, увела его с полей куда-то в сторону от города, и вышел Руслан к полноводной реке, к большому мосту. А, это и есть, должно быть, та большая река! Но и она, с глинисто-мутной, почти красной водой в ровных высоких берегах, уж слишком пряма, везде одинаково широка для природной реки. Неужто и эту махину вырыли люди?

«Видишь, что может сделать человек, - подумал Руслан уважительно. - А мы на Руси ждем дождей, молим о них богов, - идохнем с голоду в засуху. Но, правду сказать, по нашим буграм да оврагам рек самодельных не проложить».

За рекою - бугристый пустырь в густых сухих бурьянах, на пустыре - приземистая круглая башня. В отличие от выцветшей охры городских глинобитных стен, освещенных солнцем, одинокая башня казалась черной, видно, потому, что стояла к нему теневой стороной. Над нею тучей носились птицы. Хотелось рассмотреть ее поближе.

«Живодерня, что ль, - подумал Руслан, учуяв тошнотворно-сладкий запах тления. - Э, куда меня занесло».

Но любопытство, будто за шиворот, потащило его через мост к загадочной башне.

- Не подходи! - услышал он чей-то испуганный голос.

Смотрит: под башней сидит среди желто-серых мохнатых кочек полуголый, в одних штанах, тощий, как смерть, старик. И кочки - не кочки, а огромные, чуть не с медведей, собаки. Экие псы! Загрызут, - что загрызут? - проглотят живьем. Но хоть бы ухом повел один из этих жирных, откормленных псов, - лежат себе, спят, ноздрей не дрогнут. Сам старик - весь иссохший, чем же он кормит такую ораву собак?

- Не подходи! Я нечистый, - снова крикнул старик. Но, заметив серьгу в Руслановой ухе, успокоился. - А-а. Хозяин прислал, - есть покойник? Старик встал ему навстречу, пригляделся к серьге - и вдруг замахал руками, завопил: - Не подходи! Уходи. Ты нечистый.

«Вот незадача - то он нечистый, то я» - усмехнулся Руслан. И спросил:

- Почему?

- Твой хозяин безбожник.

«И дался им всем мой хозяин! Видно, для очумелых этих людей самое страшное - знаясь с безбожником».

- Хозяин, может, и безбожник, - я тут причем? - сказал Руслан примирительно. - Я человек богобоязненный.

- Верно, - сказал старик. - Я и не подумал, что так может быть. Но сейчас я тебя испытаю. Ел ты, как зверь, когда-нибудь, падаль?

- Что ты, бог с тобою!

- Не занимаешься ли мужеложеством?

- А это что такое? - разинул рот Руслан.

- И третий из трех самых страшных, неискупимых грехов, обрекающих человека на вечную погибель: не предавал ли ты своих умерших родичей огню?

- Нет, - солгал Руслан. С волками жить - по-волчьи выть.

- Ну, ладно. Коли так, можешь со мной разговаривать. Чего ты здесь ищешь?

- Вижу, башня, коршуны над нею. Хотелось поближе взглянуть.

- Это «кят», башня молчания. Здесь злые духи дэвы справляют бесовские игры. Будь ты правоверным маздеистом, ты не посмел бы приблизиться к проклятому этому месту.

- А ты маздеист?

- Да, слава светлому богу Ахура-Мазде.

- Зачем же ты здесь?

- Я из особого сословия. Здесь и жилье мое, - он кивнул на крохотные хижины, зарывшиеся в бурьян. - Здесь вся наша община. Мы приставлены к этой башне.

- А что в ней такое?

- Хочешь взглянуть? Разрешу - если дашь монету. Хорошо, что Сахр снабдил его утром серебряной монеткой, - Руслан, не жалея, вложил ее в жадную ладонь маздеиста.

- Мир извечно разделен надвое, - поучал маздеист, ведя Руслана наверх по ступенчатому откосу, примыкавшему к башне снаружи. - В царстве добра, света и правды властвует Ахура-Мазда, премудрый дух, в царстве зла и тьмы - дух лжи Анхро-Мана.

- Слышал я от манихея что-то похожее. Старик - строго:

- Манихеи половину своего учения украли у нас, половину - у христиан.

...Кто ведет чистую, праведную жизнь, после смерти взлетает в светлое место, в чертог Ахура-Мазды, в рай. Нечестивцы обречены томиться в аду, в черных владениях Анхро-Маны. В конце мира, когда явится спаситель Саошиант, родившийся от девы, души праведных людей воскреснут, а грешники вместе с самим Анхро-Маной будут окончательно уничтожены.

«Спаситель, родившийся от девы, - вспомнил смерд Киракосовы рассусоливания. - Видать, христиане взяли его для своей «единственно истинной веры взаимы у этих «чистых» маздеистов».

- Смерть - дело Анхро-Маны, - продолжал маздеист, присев на ступеньку, чтоб отдохнуть. - И самое ужасное, что может совершить человек - это осквернить чистые стихии, землю, воду и особенно огонь, прикосновением к ним гниющего человеческого трупа...

Ступенчатый откос привел к пролому на верхушке башни.

- Входи и не пугайся, если это тебе в новинку.

Руслан вошел - и чуть не наступил на уже очищенный от мяса, кожи и волос, но еще багровый от засохшей крови человеческий череп. Он пошатнулся от зловония. Мрачные полуголые люди из «особого сословия» прилежно соскабливали с костей тухлое мясо. Над

другими трупами, растаскивая кривыми клювами гнилые внутренности, сноровисто трудились коршуны. Они работали бок о бок, люди и стервятники, и не мешали друг другу.

- Мясо с костей знатных усопших мы снимаем сами, - старец кивнул на сородичей. - С остальными справляются коршуны и собаки. Родичи покойных собирают чистые кости и хранят их в оссуариях в нишах внутри городской стены или в особых склепах - наусах за городской стеной.

На дне широкого колодца внутри башни, обгрызая кости, в грудке полуочищенных остовов лениво копошились собаки. Вот отчего они такие жирные. Вот чем их кормит святой хранитель башни молчания...

- Ты больше сюда не приходи, - сказал Руслану маздеист, когда они слезли с башни. - И без того я осквернился, общаясь с тобою, иноверцем.

«Ишь, - вспыхнул Руслан, - сам-то - могильный червь вонючий, а туда же...»

- Посмотрел бы я, какую б ты песню запел, - зло отомстил он маздеисту на прощание, - если б узнал, что я тебя обманул. У нас, русичей, умерших жгут на костре.

Что тут сделалось! Маздеист с визгом упал на землю, стал кататься по ней, будто ему самому прижгли огнем одно место. Монетка, которую он получил от Руслана, выскользнула из-за пазухи. Старик, не боясь оскверниться, проворно схватил ее, спрятал вновь.

...Как Руслан минул мост, как нашел дорогу, как попал домой, он не знал. Уже дома, в тенистом дворе, его вырвало.

- Эй, парень! - со смехом крикнул Сахр. - Ты что, ячменной водки моей нахлебался?

- Тоже - богоискатель! - рассердился Сахр, когда Руслан, продолжая икать и сплевывать от омерзения, рассказал ему о своих сегодняшних приключениях. - Кой бес тебя к ним понес?

- Кого я искал? Манихей сам притащился сюда, навязался на мою шею.

- Да, вздохнул Сахр. - Людей издревле изводит зуд проповедничества, желание непременно облагодетельствовать ближних. И никто почему-то не задумается, а нужны ли ближним их навязчивые заботы. И вообще, нуждается ли еще кто-нибудь в этом благе, кроме них самих?

Если он, вероучитель-дурак, твердит, например, что земля держится на исполинских бычьих рогах, что она - плоская, как поднос, я ему должен верить? Планета не может быть плоской! Лоб - да. У некоторых умников, живущих на этой планете.

Безбожник? У меня есть свой бог. Но отнюдь не кувшин ячменной водки, - хотя и он-то чем плох? Мое божество - знание.

Ты видишь в разных вероучениях только то, что сразу бросается в глаза, и то тебя уже тошнит от них. Но самое главное в них - самое грязное, подлое, лживое, для тебя остается пока еще скрытым. Ужас всякого учения не в том, как оно разделяется с мертвыми (мертвым, друг мой, это безразлично), а в том, как оно разделяется с живыми. Так-то, брат мой.

- Тебе не зазорно?

- Что?

- Братом меня называть.

- Почему же это должно быть зазорным?

- Я... твой раб.

- Брось! Ты - мой друг. И - кровный брат, если хочешь.

- То есть?

- Ну, прежде всего, мы люди. И затем, хорезмийцы и русы и вправду в какой-то мере соплеменники. Ты помнишь родовой знак ваших русских князей? Начерти, если помнишь.

Руслан начертил ножом на земле лежащий на боку овал с двумя точками внутри, сверху пририсовал пару изогнутых в стороны рожек, снизу - пару полусогнутых ножек.

- Вот, - кивнул удовлетворенный Сахр. - Если хочешь знать, это древний знак хорезмийских

царей. Как по-вашему человек? Ну, просто человек.

- Смерд.

- А по-нашему - мард. Есть у вас бог солнечный, Хорс?

- Есть.

- Какая птица ему посвящена?

- Петух. На острове Хортице в честь одного Хорса режут петухов.

- И у нас в честь солнца режут петухов. И зовут петуха по-нашему знаешь как? - «хораз». И страна Хорезм - Солнечная земля. Похоже, когда-то мои и твои отдаленные предки соприкасались очень близко, может быть, через посредство аорсов - алан. Вот и выходит, что мы с тобою - кровные родичи.

Руслан - с сомнением:

- Ой ли! Ты вон какой черный, я белый.

- Ну, это ерунда. Ты просто выцвел на морозе. Поживешь год-другой под нашим горячим солнцем, почернеешь, брат, как уголь.

- Вот что, друг мой, - сказал Сахр наутро. - Раз уж ты такой въедливо-любопытный, пойдем со мной в академию.

- Куда?

- Расскажу по дороге.

...В 489 году византийский император Зенон, рьяный поборник христианства, приказал закрыть в Эдессе высшую школу - академию.

В 529 году другой император, Юстиниан, разгромил в припадке мракобесия Афинскую академию - последний оплот древней эллинской учености в Европе.

Всему составу обеих академий пришлось переселиться в Иран, где, с соизволения просвещенного государя Хосрова I Ануширвана, открылись высшие школы в Нисибине и Гундишапуре. Здесь учили желающих врачеванию, науке о звездах, науке о числах, земледелию.

Но и здесь ученых не оставили в покое. Иран захватили войска «покорных богу», и образованные ромеи и сирийцы перебрались в Согд, в Мерв и особенно - в Хорезм, который из всех областей Турана расположен дальше других и от жестоких «покорных богу», и от христианинующих варваров - византийцев. Здесь, в Кяте, издревле существовала своя академия, прочно связанная с индийским, китайским и греко-бактрийским ученым миром.

Так что в Хорезме, можно сказать, нашла прибежище вся земная мудрость...

- Еруслан!

- Карась!...

Они встретились в проходе одной из трех огромных стен, окружающих Фир - замок хорезмшаха. Карась стоял на страже.

- Поговорите, я подожду, - дружелюбно кивнул лекарь Сахр.

- Я почему невеселый, ты знаешь, - сказал Руслан. - А ты... ты-то почему невеселый, - плохо живешь?

- Не то, чтобы плохо, - проворчал хмурый Карась. - Еды вдоволь. Одежда хорошая. Чистая постель... Только - дело делаем плохое. Намедни в поле нас вывели, - смерды здешние против князей взбунтовались. И заставил нас шах жечь и сечь... Хоть плачь, друже. Они, видишь, хоть и чернявые, - тоже люди. К тому же смерды - свой брат. Разорили целую округу...

- О чем говорит? - спросил Сахр. Руслан рассказал.

Сахр поскуучнел.

...В огромном зале с резными опорными столбами Сахр нашел для Руслана укромное место в темной нише.

- Сиди, слушай. Старайся понять.

- Почему здесь раб? - стал придирается к Сахру один из важных служителей дворца. - Не положено.

- Пусть сидит, - сказал Сахр. - Он будет подносить мне ячменную водку, когда у меня от долгих разговоров горло пересохнет.

- У нас тут достаточно своих слуг, разносчиков шербета.

- Я не пью шербета! - зашипел Сахр, наступая на распорядителя. - Меня мутит от сладкой воды. Пусть сидит.

- Нельзя! Сахр - упрямо:

- Пусть сидит. - И, с презрением отвернувшись от обескураженного служителя, пошел своей дорогой.

На возвышениях между опорными столбами рассаживались на коврах ученые - хорезмийцы, ромеи, сирийцы - народ видный, чистый, спокойный, благообразный.

Служитель:

- О высокоумные! Его величество хорезмшах Аскаджавар Чаган Афригид. изъявил желание осчастливить ваше собрание своим драгоценным присутствием.

Никто не вздрогнул, не взроптал,- только по лицам пробежала тень: будто снаружи, мимо решетчатых окон, заслонив собою свет, пролетела огромная хищная птица.

Поскольку сегодня в академию пожаловал хорезмшах, обычные занятия пришлось отменить, чтоб не наскучить ими повелителю; собрание свелось, по существу, к общей обзорной беседе, освежающей мозг.

Руслан слушал, затаив, как говорится, дыхание. Не очень многое, конечно, уразумел он из сказанного здесь,- да и не пытался особенно вникнуть в смысл речей. Ему сейчас было важнее всего услышать - просто услышать то, чего не приходилось прежде слышать,

...В 500 году древней, дохристианской, эры, то есть за тысячу двести лет до этой беседы, грек Левкипп из Милета сказал, что ничто не происходит без причины и все вызывается необходимостью.

Его ученик, Демокрит из Абдер, продолжая труды наставника, открыл, что все состоит из пустоты и движущихся атомов - бесконечно малых неделимых частиц, различных по форме и по размерам.

Движение - изначальное, вечное свойство вещества. Всякое возникновение вещей - это соединение ранее разобщенных атомов, всякое исчезновение - разделение ранее вместе связанных частиц.

Различные свойства вещей обусловлены расположением, сочетаниями, формой и величиной составляющих их атомов. Атомы несутся в пустоте, причем более крупные наталкиваются на мелкие, оттесняя их кверху.

Из этих движений образуется вращение атомов, в силу чего возникают бесчисленные миры, одним из которых является наш мир и все разнообразные по качествам предметы.

Эпикур с острова Самоса, живший на полтора столетия позже, понимая вселенную как сочетание бесчисленных атомов, движущихся в пустоте, к демокритовым различиям их по форме и величине добавил еще различие по тяжести, тем самым предположив наличие атомного веса.

Через два-три десятилетия Аристарх, тоже происходивший с острова Самоса, высказал великую догадку, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца.

Аристотель (четвертый век древней эры) в трактате «О небе» сказал: «Небо не создано и не может погибнуть... Оно вечно, без начала и конца; кроме того, оно не знает усталости, ибо вне его нет силы, которая принуждала бы его двигаться в несвойственном ему направлении».

Примерно тогда же Ши Шэнь составил первый звездный перечень, куда вошло восемьсот светил. Китайцы постигли определенную повторяемость солнечных затмений.

Эратосфен из Кирены (третий век древней эры) вычислил длину окружности земного шара.

Гиппарх из Никеи (второй век новой эры) открыл предварение равноденствий, составил перечень неподвижных звезд, уточнил календарь, определил расстояние от Земли до Луны. Он же разделил экватор на 360 градусов, ввел понятие долготы и широты.

Врач Герофил Халкедонский открыл неизвестные до него нервы, указал на различие между мозгом и мозжечком. Он установил, что по артериям движется кровь, а не воздух, как считалось ранее, и что артерии пульсируют не сами по себе, а в связи с биением сердца, то есть открыл кровообращение.

Много великих открытий совершили индийские ученые.

Арьябхата (пятый век новой эры) писал, что Земля шаровидна и вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца.

Причиной солнечных и лунных затмений он считает совпадение Солнца, Земли и Луны на одной линии. Ему известна зависимость океанских приливов и отливов от движения Луны.

Индийцы определили диаметр Земли и некоторых других планет.

Они умеют вычислять долготы и широты различных точек земной поверхности.

Они составили солнечные и лунные календари, определили продолжительность года и суток, составили карты звездного неба.

...Их следует считать истинными создателями математики.

Они изобрели позиционную десятичную систему счета и ввели ноль, обозначили дробные величины.

Они нашли общий знаменатель, оперируют с пропорциями, процентами, арифметическими и геометрическими прогрессиями.

Они знают решение многих видов определенных, неопределенных и квадратных уравнений.

Они умеют вычислить объем и поверхность основных геометрических фигур.

Они установили соотношение между окружностью и ее диаметром.

Еще в древних ведийских текстах (Шульवासутра) помещена теорема, которую позже приписали Пифагору.

Уже триста лет стоит в Дехли сверкающий столб из нержавеющей стали...

«...Вот тебе и «господь всемудрый», - усмехнулся Руслан. От обрушившейся на него крутой и твердой, как градовая, лавины чуждых, непонятных слов, незнакомых и недоступных понятий голова у смерда чуть не треснула!

- Голова разболелась, - пожаловался хорезмшах лекарю Сахру, когда все удалились и лекарь вместе с его рабом по царской воле задержались.

- Да. - Лекарь понимающе улыбнулся. - Знание - что свежий, чистый воздух для тех, кто привык к чаду, дыму, запаху дурному. От него кружится, болит голова.

- Ты ему доверяешь? - государь, недовольный сравнением, кивнул своей роскошной бородой на Руслана.

- Вполне.

- Может, мне их, - государь вновь кивнул бородой, теперь уже вслед ушедшим ученым, - всех казнить?

Лекарь Сахр задумчиво опустил кудлатую голову, уставился на хорезмшаха из-под ровных густых бровей. Он знал, чем образумить хорезмшаха:

- Жизнь со всеми ее заботами, тревогами, неурядицами, нуждой и бесконечной канителью мелких и крупных неудач - уже сама по себе наказание человеку. Зачем же еще придумывать друг для друга тысячу разных запретов, ограничений и всяческих видов устрашения?

Слава богу, что, несмотря ни на что, люди мыслят, ищут, находят...

Сириец Мара ис-Сакизсати писал своему сыну Саракриону: «Сократ не умер, так как существует Платон...» Нынче каждый мальчишка хоть что-нибудь да знает о Сократе. Но никто не помнит, как звали людей, казнивших его в Афинах. Никогда, государь, не спешите никого в темницу сажать. Вешать, жечь, травить. Топить, колесовать, четвертовать. Вдруг со временем, как в случае с Сократом, окажется, что как раз казненный-то был прав, был честен, умен, а казнивший - неправ. За что ты казнил бы всех этих умных, честных людей? - Он тоже кивнул бородой через плечо.

- Их дикие знания несовместимы с тем, что говорят мои дастуры, мобеды, гербады и прочие жрецы огня - атраваны.

Сахр опять понурил голову. Правда, теперь он не смотрел на шаха, но он знал, - о, он отлично знал! - чем его допечь:

- Перс Фаоль Дершахи, советник Хосрова Ануширвана (при этих словах Аскаджавар, страсть как любивший высказывания знаменитых людей и желавший тоже прослыть просвещенным государем, с явным удовольствием погладил бороду), в своем трактате о превосходстве знания над верой пишет, что знание, позволяющее познать суть вещей, ведет людей к единодушию, а вера, имея дело с предметами сомнительными, приводит к раздорам. «Наука, - говорит Дершахи, - имеет своим объектом то, что близко, ясно, признано, тогда как вера имеет объектом то, что далеко сокрыто и не познаваемо разумом. Первая не подлежит сомнению, тогда как вторая проникнута сомнением». Так неужели, о государь, ты хочешь отдать предпочтение заумному перед разумным? Если знания этих ученых людей несовместимы с тем, что говорят жрецы, - казни невежд-жрецов, пригрей ученых.

- Что?! Казнить... жр... хр... - Шах, любивший забавляться своей великолепной бородой и как раз засунувший ее, шелковистую, в алый рот, от неожиданности резко втянул воздух - и поперхнулся, чуть не подавившись собственной растительностью. - Казнить... кха, кха... кхазнить жрецов... ведь это все равно, что отрубить себе правую руку!

- Или - срезать бороду.

- Знаешь ли ты, что творится в полях?

- Слышал - краем уха.

- Чернь бунтует, громит усадьбы князей. Хорошо, что я держу вашу академию под своим надзором, не выпускаю ее из дворца, а то бы она, собрав к себе всякий сброд, совратила весь мой народ. - Царь взял с низкого столика круглое серебряное зеркало, пристально, будто не узнавая, оглядел свое холеное лицо. - Хорош царь, который, оказывается, вовсе не священная особа, не тень бога на земле, а такой же человек, как все, и состоит, как блоха или, скажем, собачий кал, - тьфу! - из каких-то глупых атомов... Или ты думаешь, мужик станет смиреннее, если будет знать, сколько верст от Земли до Луны? А в самом деле, сколько? - спросил он вдруг с живым любопытством.

- Триста восемьдесят тысяч верст, - ответил Сахр невозмутимо.

- Ого! Нет, это не пойдет. Человек не должен знать, что и он, и хорезмцах - всего лишь две бесконечно малые частицы, прилепившиеся к другой бесконечно малой частице, именуемой Землей, которая ошалело несется неведомо куда. Тогда он плюнет на все, перестанет чтить бога, усомнившись в нем, и с ним вместе - меня. - Царь бросил зеркало плашмя на ковер, ткнул в него длинным пальцем: - Человек должен знать, что над ним есть небесная твердь с добрым богом, - чтобы попасть к доброму богу, надо чтить царя, сына божьего, живущего на гладкой, твердой, устойчиво-плоской земле, - иначе попадешь вниз, под земную твердь, в ад с его злым черным богом. Оставьте звезды! Занимайтесь врачеванием, числами. Не мутите народ, - или я в прах разнесу вашу богопротивную академию.

- Мы его не мутим.

- Кто же мутит его? Я из всех округов получаю дурные вести.

Сахр пожал плечами.

Хорезмшах - примирительно:

- Ну, хорошо.- Аскаджавар взглянул на узкие окна с белыми решетками из алебастра, на дальний вход, у которого каменными истуканами застыли телохранители, - оглянулся за спину, сказал, понизив голос: - Я хотел поговорить с тобою о другом, - потому и задержал. Выпей, чтоб освежить свою глубокую рассудительность.

Хлебнув ячменной водки, Сахр закрыл глаза и оцепенел. Казалось, он уснул,- но шах понимал, что лекарь настраивается на предстоящий разговор. Чтоб не мешать ему думать, он терпеливо молчал и, ожидая, когда советник заговорит, пока что приглядывался к скромно сидевшему внизу, у помоста, рабу Сахра.

Это из- за него в еврейской общине случился переполох? Да, видный юноша. Крепкий. В глазах - ум. Отобрать у Сахра, взять в дворцовую стражу? Нет, не надо. Сахра лучше не трогать. Рассердится - подсыплет яду в снадобье, а в его снадобьях царь нуждается каждый день...

- Что больше всего тебя тревожит? - спросил, наконец, лекарь.

- Я хочу знать, - вздохнул Аскаджавар, вновь оглянувшись, - кто показывает недругу дорогу? Как случается, что неприятель, пришедший из дальних стран и прежде не только не видевший здешних мест, но, возможно, и не слыхавший о твоей земле, чуть обжившись у рубежей, вдруг вступает в ее просторы, зная, где степь, где горы, где лес. Где перевал, где брод. Сразу находит нужные тропы, спешит от города к городу. И не плутает в огромной, чужой, незнакомой стране, где даже местные жители при усобицах между племенами или городами, решив сразиться, нередко блуждают в чащах, песках, болотах, среди скал, озер, бесчисленных рек, и пропадают бесследно сотнями, тысячами, так и не встретившись...

Кто показывает дорогу врагу?

Не брели же в прежних великих походах персы, скифы, ромеи, готы, гунны, авары вслепую, наугад? Заслать вперед собственных воинов они не могли. Те, со своим варварским обликом, незнанием языка, особыми повадками, не сумели бы затеряться среди коренных жителей, прикинувшись их соплеменниками. Кто же, о Сахр, показывает врагу дорогу? - Царь выжидательно глядел на лекаря. - Купцы иноземные?

- Да. Прежде всего они. Или сами, или их слуги, телохранители, писари. Как с ними быть? - Сахр хлебнул ячменной водки. - Не пускать дальше порубежных крепостей? Нельзя. - Сахр опять хлебнул ячменной водки. - Ущерб торговле. Она движет жизнь. - Он вновь хлебнул ячменной водки.- Следует хорошо принимать гостей. Гости разносят по свету как добрую славу, так и худую. Итак, о царь, пускать их пускай, но ограничивай благодушным молчанием их назойливое любопытство.

Аскаджавар - с сомнением:

- Но купцы, послы иноземные наезжают редко, посещают лишь крупные города. Все, что лежит в стороне от широких дорог, для них недоступно, загадочно. Войско же вражье выбирает именно глухие тропы, чтоб ударить внезапно. Кто ведет его по этим тропам?

Сахр поглядел на шаха исподлобья и ответил резко и кратко:

- Местный житель. Предатель. - И затем: - Дозволишь еще хлебнуть, государь?

- Пей, пей. - Бледный шах утомленно прилег на ковер. - В Мерве тебе не придется пить, - «покорные богу», я слыхал, не любят пьяных.

- В Мерве? - Сахр удивленно вскинул брови. - Почему в Мерве?

- Потому, что ты с ним, - царь кивнул на Руслана, - завтра поедешь туда, к наместнику халифа Кутейбе ибн Муслиму.

- Зачем?

- Посмотреть, что он за человек. Что за люди - «покорные богу». Разведать их силу, их настроение. Ну, и все такое...

Руслану хотелось обнять Карася на прощание, сказать ему: еду, мол, к черту на рога, - но того уже сменили. Жаль.

- А царь-то - остер, умен, - сказал он Сахру уже за воротами замка.

- Остер, - согласился лекарь Сахр. - Умен. Но ум у него вредный. Из-за таких-то умников весь шар земной окутан дымом жертвенных костров. Задохнемся скоро. Видишь, - он показал на высокое ступенчатое строение, над плоской крышей которого, выходя, должно быть, из отверстия, клубился дым. - День и ночь горит. Круглый год. Это храм огня, где жрецы-атраваны приносят жертвы светлому богу.

- Поглядеть бы.

- Не пустят! Мы с тобою, друг мой, люди грешные. Зайдем-ка лучше на базар, купим баранины, репы и сварим дома огненную похлебку с луком, морковью и красным стручковым перцем. Такую, чтобы от двух-трех ложек глаза на лоб полезли. Я, брат, лишнего хлебнул. Ладно, не всякий пьет за счет хорезмшаха.

- И не боишься?

- Чего?

- Так вольно с ним разговаривать.

- Почему я должен его бояться? Я живу в своей собственной стране. Живу открыто, у всех на виду, со всем хорошим и плохим, что есть во мне. Бойтся, таится, милый мой, тот, кому есть что таить.

Они плелись по жаре мимо открытых приземистых лавок, где чеканщики, тонко вызванивания молоточками на небольших наковаленках, делали серьги, кольца, браслеты, узорные чаши, кувшины.

Руслан нащупал на груди узелок с русской землей. Вымоченная дождем и потом, высушенная зноем и жаром тела, она слежалась, затвердела, превратилась в маленький камушек.

- Не думай, что мне жалко денег, - нахмурился Сахр, когда Руслан сказал ему о ней. - Можно, конечно, ее заключить в золотую скорлупку с золотой цепочкой. Но это кощунство! Святыня сохраняет святость лишь дотоле, пока хранится в ветхой тряпице, в которую ее завязали в дни чудовищных испытаний.

- И впрямь, - согласился с ним устыдившийся Руслан.

- Отсчитай нам, любезный, - обратился Сахр к продавцу овощей, - крупной моркови и репы штук по тридцать. Ты знаешь Бузгара? Увидишь, - скажи, пусть как-нибудь приедет ко мне. - И сказал Руслану: - Тебе бы с ним, с Бузгаром, поговорить. Тоже неистовый правдоискатель. Мечтает весь мир переделать.

- А что? Крикнуть бы миру всему, - вздохнул Руслан, - всем людям на свете: «Эй, хватит в ямах сидеть! Вылезайте. Бросьте лживые вероучения, стряхните обманную пыль, вот истина - идите к ней».

Сахр - с тоскою:

- Где? Кто знает ее, настоящую? Что можешь ты? Что могу я? Только отрицать. Мир - огромный сумасшедший дом, и стоит ли надрывать из-за дураков, которые считают себя умными, а дураком - как раз тебя? Знай себе ешь, пей, женщин целуй. Трудись. Отдыхай. Ходи под солнцем тихо, спокойно, не торопясь, - чего еще надо? Эпикур говорил: «Проживи незаметно». А с миром - будь что будет. Умрешь, не все ли тебе равно? Треснет земля пополам, и черт с ней, с загаженной: значит, лучшего она и не заслуживает.

- Ну, нет! - возразил Руслан. Нынче, после всех этих трудных разговоров, разбередивших ему душу, он будто услышал в ней биение бесконечно малых частиц, о которых узнал из беседы ученых, и ощутил под ногами величавое и явственное вращение земного шара. - Не из одних дураков, наверно, состоит он, этот самый... ну, мир? Всю дорогу сюда я видел умных людей. И здесь вижу.- Ему хотелось сказать: можно долго, конечно, и врать, и верить. Но разве он, Руслан, к примеру, сейчас такой, каким был, когда уходил из своей землянки! Столько увидел, столько узнал: будто все пятьдесят, - что пятьдесят? - будто пятьсот, а то и пять тысяч лет, прожил на свете, и с Эпикуром встречался, и с теми, другими. Пусть лгут законники! Он им больше не верит. И настанет время, когда люди, - все, слышишь? - поймут, что им лгут. Когда уже нельзя будет врать, не боясь остаться без языка... Хотелось сказать, но ему еще не хватало слов. И он только промолвил уверенно: - Народ отыщет истину!

Сахр - с горечью: - Или очередную, сотую или стотысячную, блажь.

Руслан - упрямо:

- Настоящую.

- Да? - Сахр с грустным любопытством взглянул на него. И тут же опять потускнел. - Посмотрим, если доживем. Не забывай название нашего города - Кят, то есть башня молчания. А что это такое, ты видел...

У калитки их ждал Аарон, худой и бледный, - видать, законники общины предписали ему немало постов, за буйство. Он упал на Русланову грудь и горько заплакал. Руслан стоял весь белый и холодный. Он разучился плакать.

- Как по-вашему большой водный поток?

- Река.

- А по-нашему - раха, ранха. Похоже? Раньше она и называлась Ранхой. Затем с верховьев вместе с водой пришло иное название - Охш, от которого и получился Окуз.

Так Руслан и увидел эту огромную реку. Западный плоский берег, освещенный только что взошедшим солнцем, тонул в голубой с золотом дымке, сливаясь с водой, и казалось - перед ним не река, а море. Над нею веет легкий ветерок, большого ветра нет - и на реке нет волн; так, лишь легкие узоры водоворотов на гладкой блестящей поверхности. И как-то диковинно, даже жутко видеть столько воды, куда-то стремящейся мимо тебя спокойно, быстро и ровно.

Царевич Аскаджамук, старший сын хорезмшаха, провожавший Сахра к реке, прочитал ему последние наставления: что сказать Кутейбе ибн Муслиму, как преподнести дары, что отвечать на такие-то и на такие-то вопросы. Он был так похож на отца - и ростом, и статью, и бородою, что на рассвете, когда выбирались из города, Руслан принял его за самого хорезмшаха, - даже удивился, какую честь оказывает царь своему послу, его провожая. Только услышав голос, догадался: не царь. У Аскаджавара голос крепкий, густой, а у этого - писклявый.

- Знаю, знаю, - отмахнулся Сахр от царевича. - Идем, Рустам. - Они спустились в большую лодку с тюками, охраной и дворцовым служителем, который должен был в Хазараспе добыть для посольства верблюдов. В другой лодке, вовсе огромной, перевозили лошадей.

Гребцы навалились на весла.

Честно сказать, Руслан с сожалением покидал чужой город, густо синеющий за речною поймой.

Чужой? Нет, теперь он свой. Что бы с ним, Русланом, ни приключилось еще, куда бы его ни занесло, она навсегда останется родной, эта солнечная земля. Потому что в ней лежит Иаиль.

Ах! Лучше б ему весь свой век оставаться в рабах у Пинхаса, день-деньской, обливаясь потом, трудиться на него, - только б Иаиль была жива и он был вместе с нею всю жизнь. Но чертова Фуа... Аарон говорил вчера: «Лейба тяжело хворает, все плачет и стонет, наверно, скоро умрет. Мать Рахиль стала задумчивой, тихой, страшно молчаливой - целый день сидит

неподвижно, глядит в пустоту. А толстая Фуа вовсе взбесилась: бегают по двору, с криком кидаются на мужчин. Пинхас собирается взять новую жену». Скажи, как вредят люди друг другу! Там, в Семарговой веси, мог ли подумать Руслан, что какая-то дурная Фуа, которую он знать не знал и знать никогда не хотел, отравит ему жизнь?

Узрев по ту сторону Хазарского моря пески и чахлую полынную равнину - по эту, Руслан решил, что пустынное мест нет на земле. Но только теперь он увидел настоящую пустыню. Справа от каравана, бредущего вдоль реки, громоздились крутые песчаные холмы - целые горы сыпучего, чистого, без куста, без травинки, желто-серого песка. Страшно смотреть.

Когда посольский караван, отойдя от Окуза, на какой-то день пути одолел, двигаясь на юго-запад, раскаленное песчаное море и вышел к долине другой реки, Мургаба, Руслан впервые увидел «покорных богу».

В больших платках, скрепленных через лоб какими-то обручами, в просторных обтрепанных свитах, они (семь человек) выехали сбоку из-за песчаного бугра, слезли, изможденные, с замороженных коней. В их смуглых лицах, заметил Руслан, в густых, до черных глаз, курчавых бородах, в горбчатых носах было что-то знакомое, еврейское.

- Одних кровей, - пояснил всезнающий Сахр.

- Ассалам ваалейкум! - поклонился старший воин с сединой в бороде.

- Ваалейкум ассалам, - ответил Сахр на их языке.

- Дайте поесть. Который день голодаем.

Они жадно набросились на еду.

- Дозор? - полюбопытствовал Сахр. «Покорные богу» переглянулись: говорить правду - не говорить. Но, видно, они не умели лгать.

- От войска отбились, - ответил старший воин. - С Кутейбой поссорились.

- Поссорились?

- Да. Из-за добычи. Мы простые воины, он наместник халифа, все лучшее берет себе. Мы возмутились. Он же отделяется сто тридцать первым стихом двадцатой суры корана: «Не засматривайся очами твоими на те блага, какими мы (то есть аллах) наделяем некоторые семейства». К тому же он северянин из племени Бахила, а мы - Бен иамина, дети юга. Ну, и... - воин безнадежно махнул рукой, не желая вдаваться в невеселые подробности.

Он вдруг перестал жевать, спросил подозрительно:

- Не христиане ли вы? Мы не то что пищу от них принимать - мы должны убивать их, поганых.

- Не христиане, - успокоил его Сахр. - Но и не «покорные богу».

- Будете ими, - заверил воин. - Мы вас тут всех в Туране обратим в нашу веру. Или - убьем.

Воин тупо уставился на Сахра.

- Думай пока, друг любезный, как выжить тебе самому. Куда вы теперь?

- Не знаю. Все в руках аллаха. Сказано - бог творит, как хочет, он свершитель того, что захочет. Видно, будем бродить в песках, пока не умрем. Будем разбойничать, тревожить Кутейбу. Мы хотели напасть на ваш караван, но увидели - много вас, и решили, что лучше договориться по-хорошему.

- Конечно, лучше! - Сахр велел сопровождавшим его слугам и телохранителям отдать бездомным «покорным богу» запасной котел, мешок проса, кувшин топленого бараньего сала.

Бродяги долго благодарили Сахра, затем их старший дал ему добрый совет:

- Хочешь сразу узнать, как настроен к тебе Кутейба ибн Муслим, посмотри на скатерть, когда будет угощать (если будет). Подадут баранину, значит, благоволит. Говядину - недоброжелателен. У нас в путных домах даже слуга считает оскорблением, если хозяин кормит его говядиной.

- Хорошо, учту. Спасибо.

- «Убьем, убьем», - проворчал Руслан осуждающе, когда они двинулись своей дорогой. - Голодный, а туда же... чванится, видишь.

- Да, - вздохнул Сахр. - Всякое вероучение разъединяет людей, провозглашая всемирную вражду.

- А... объединяет их что-нибудь?

- Объединяет. Должно, во всяком случае, объединять.

- Что?

- Общность нелегкой трудовой судьбы, - ну, как проще сказать: одинаковая тяжкая доля и ненависть к тем, кто их угнетает. Вообще-то, насколько мне ведомо, рабство, объединяя людей на основе ненависти к гнету, не сближает их по-человечески, не пробуждает в них сердечной привязанности друг к другу, а наоборот, убивает это чувство. Горе, нужда, бесконечные неудачи ожесточают людей, они черствеют, становятся ко всему равнодушными.

- И все же, - возразил Руслан, - человеческое в них, наверно, сильнее рабского. Вот я в скольких передрыгах побывал - и уцелел. Почему? Помогали. Всю дорогу кто-нибудь выручал. И находил для меня словечко теплое. Не все хотели убить...

- Так, - неохотно согласился Сахр.

- А ты - ты-то почему мне помог? Я раб, а ты знатный человек, придворный лекарь.

- Я - знатный? - рассмеялся Сахр. - Не всегда я им был, друг мой. Я круглый сирота. Отца не знаю, матери не помню. Рос на улице. Никто не тратил ни гроша на мою еду, на одежду и на учебу. Я сам добывал себе хлеб руками детскими, сам научился читать, а как - не знаю. Научился случайно, когда чьи-то дети долбили на улице или в саду уроки. Лекарь нанял меня за лепешку собирать целебные травы, сушить, толочь их в ступе, помогать ему возиться с больными, - и я незаметно для себя стал врачом лучшим, чем он. А мог бы стать вором. И не удивительно, если б стал, удивительно, что не стал. В такой дикой среде я рос. Природный ум, видно, помог устоять. Потом я попал в академию. Мне некого и не за что благодарить. Всем, что у меня есть, я обязан самому себе. Конечно, и мне помогали, поддерживали. Но вовсе не потому, что я ничего не умел и из-за этого нуждался в поддержке. Наоборот, именно потому, что умел многое - то есть в обмен на мои знания, на мой труд.

- Так что, друг мой, - Сахр невесело усмехнулся, - я, можно сказать, самородок. В природе не бывает чистых высокопробных слитков золота. Самородок всегда облеплен песком, простыми камушками, всякой дрянью, в которой ему довелось лежать в скалах и осыпях. Я и есть такой самородок, облепленный дурной примесью мелких пороков. Но золота во мне гораздо больше, - это надо помнить и тебе, и всякому другому. Чистить и плавить меня поздновато, возраст не тот, и надо ли? Вдруг, лишенный природной оправы, я обращусь в глупую медь? Лучше уж я так и уйду с грехами пустой породы в землю, где найден, отдав свой блеск золотой наряду, то есть тем, кого лечу. Я ведь лечу не только хорезмшаха и его семью. И ты думаешь, мне радостно пить ячменную водку? Это, друг, не радость, а бедствие.

И столько боли, столько безысходного отчаяния послышалось Руслану в его словах, что ему стало стыдно за то, что он растравил Сахру какую-то скрытую рану,

- Эх! - воскликнул Руслан. - Вот бы всем несчастным на земле... собраться в один кулак, раз уж у них одна судьба и ненависть одна, - и уничтожить богатых и знатных, а?

- Если это и будет, то нескоро, - мрачно сказал Сахр. - Слишком много пут и цепей на руках, на ногах, на шеях и, хуже всего, - на душах.

- Скорей бы скинуть эти путы! - загорелся Руслан.

- Не доживем до тех дней мы с тобою, - охладил его пыл грустный Сахр.

Первым, кого они встретили на окраине Мерва, был мужик, работавший в поле у дороги. Он

поливал репу. У него на шее висела на ремешке большая печать из обожженной глины с какой-то надписью.

- Эй! - крикнул Сахр. - Что это ты нацепил на свою шею? Амулет, что ли, такой? Не видал.

- Увидишь - на собственной шее. - Мужик сплюнул густую от жары слюну. - Амулет черного Анхро-Маны. «Покорные богу» нацепили. Это значит, что я должен платить им «джизью» - подушный налог и «харадж» - поземельный. А земли у меня - видишь сколько? - поле сорок шагов в длину, пятнадцать в ширину...

- Почему ж ты не снимешь, не кинешь эту дрянь?

- Нельзя, убьют.

- Так. Заклеймили, значит, как скот.

- Для них мы все - скоты, неверные.

«Верующие! Повинуйтесь аллаху, повинуйтесь посланнику его и тем из вас, которые имеют власть», - коран, сура четвертая, стих шестьдесят второй.

...Из четырех «праведных» халифов, правивших после пророка, лишь один Абу-Бекр умер своей смертью. Омар, Осман, Али пали от враждебных рук.

Но при тех четырех еще кое-как соблюдалось предписание четвертой главы корана - о добыче (сура аль-ганимат), по которой добыча распределялась между воинами, Халиф Муавия первым серьезно нарушил эту важнейшую заповедь, потребовав, чтобы в Хорасане не давали в раздел войску золота и драгоценностей, а, собрав все это, отсылали ему в Дамаск.

Халифы меняются чуть ли не каждый день. И всякий гнет свое. В стране разброд, в войсках - еще больший. И здесь, в Хорасане, как и на родине, идет глухая, но опасная межплеменная грызня. Когда в Хорасан был назначен наместником Абдулла ибн Хазим, - один из предшественников Кутейбы, - воины племени Бакр ибн Ваиля взбунтовались: «Почему эти пожирают Хорасан без нас?»

Теперь стало как будто тише, халифат оправился после восстаний Абдуллы ибн Зубейра в Мекке, Мух-тара в Ираке, сирийских мардаитов.

Но это лишь видимость.

Кутейба знает: со дня на день может вспыхнуть новый бунт. Кто поможет его подавить? Простонародье в Туране, который надобно завоевать для халифа Валида, впрочем, как и везде, строптивное, злое. Одна надежда, - хоть и сказано: «Верующие не должны брать себе в друзья неверных», - стаяться с местной знатью и, опираясь на ее поддержку и помощь, захватить эту неслышанно богатую страну.

И когда Кутейбе, невесело размышлявшему обо всем этом, доложили о прибытии хорезмийского посла, он, внешне спокойный, бесстрастный, но внутренне - празднично-ликующий, сам вышел встречать дорогих гостей.

Сахр и Руслан между тем стояли у широкой лестницы, ведущей во дворец наместника, и поглядывали искоса, стараясь казаться равнодушными, на две кучи отрубленных человеческих голов у входа, по левую и правую сторону. Их мутило от зловония, исходившего от этих громоздких куч, облепленных мухами. Тут было много голов, несколько сотен, и старческих, и юношеских. Ничего человеческого в них, конечно, уже не оставалось. Так, падаль. Должно быть, это головы врагов, убитых в боях.

- Или послов, не угодивших Кутейбе, - усмехнулся бледный Сахр.

Ни бараниной, ни говядиной Кутейба не стал угощать посла. Он угощал его жареными фазанами, что служило, должно быть, знаком особого расположения. Но прежде велел слугам, по обычаю своей далекой родины, вымыть гостю ноги.

После еды завязалась неторопливая, спокойная, по-восточному хитро-вежливая беседа.

Речи Кутейбы сводились к одному; если хорезмшах по доброй воле своей примет веру «покорных богу», обратит в эту веру весь свой народ и поможет Кутейбе войсками, то Хорезм тем самым избежит насилия и кровопролития.

Сахр задавал осторожные вопросы.

- Если коран (мы с ним знакомы) предвечен, это слово божье, а бог не может противоречить самому себе, то как увязать двести пятьдесят седьмой стих второй суры и стихи сто двадцать шестой - сто двадцать седьмой шестнадцатой суры: «В деле веры нет принуждения», «Призывай на путь господ твоего мудрыми, добрыми наставлениями и веди с ними (неверными) споры о том, что добро...» со стихом двадцать девятым сорок восьмой суры: «Мухаммед - посланник аллаха, и те, которые с ним, яростны против неверных»?

И как могло случиться, что коран, ниспосланный в объяснение всех вещей («Нет зерна во мраке земли, нет былинки, ни свежей, ни сухой, которые не были бы в нем обозначены», - сура шестая, стих пятьдесят девятый), упоминает всего три-четыре городка на родине «покорных богу» и не замечает всей остальной земли, других городов и стран, - например, Хорасана, Мерва и Хорезма?

И если коран, как язык бога, вечен, почему он говорит только о делах минувших и не может предсказать событий хотя бы на десять лет вперед, - кроме, разумеется, конца света? Ведь будущее не может вечно жить прошлым.

И еще - если все от аллаха и человек не волен в своих поступках, почему он должен отвечать за свои грехи? Поскольку человек совершенно не волен во всех своих поступках, в том числе и злых, значит, источник зла в мире - сам аллах? Но если бог - источник зла, то в чем же состоит суть божественного благодеяния и справедливости?

И если смысл и цель жизни правоверного - отрешение от всех радостей мира, презрение к земной жизни, терпеливость в нужде, горе и страданиях, довольство ниспосланной судьбой и полное самоуничтожение ради блаженства на том свете, то как понимать яростную защиту тем же кораном богатства, торговли с прибылью, войн, грабежей? Совместима ли отрешенность от благ земных с захватом чужого имущества?

Кутейба, припертый к стене, долго молчал, отирая пот, не зная, что сказать, и наконец произнес угрюмо:

- Я отвечу тебе на все эти вопросы... когда приду в Хорезм.

Но один из его приближенных, большой умник, ретивый законник, не утерпел и всего в нескольких словах, определенно и точно, с восточной образностью, изложил суть учения «покорных богу»:

- Праведный халиф Омар говорил: «Мусульмане едят их, покоренных, пока они живы; когда мы умрем и умрут они, наши дети будут есть их детей, пока они живы».

- Понятно, - кивнул Сахр.

Кутейба густо побагровел, зло покосился на излишне прыткого книжника, - куда лезешь, непрошенный? Кто за язык тебя тянет? Брякнул. Книжник догадался, что допустил оплошность, и растерянно забормотал:

- Аллах сказал: «Когда мы отменяем какой-либо стих и повелеваем забыть его, то даем другой, лучший того или равный ему». Сура вторая, стих...

Ему не дали договорить.

Вбежал взволнованный слуга, крикнул Кутейбе ибн Муслиму:

- Господин! Добыча из Согда. Хусейн убит...

Сразу забыв все сто четырнадцать сур корана (кроме четвертой - о добыче), «покорные богу», и вместе с ними - Сахр и Руслан, тихо сидевший дотоле у входа, шумной толпой повалили наружу.

Площадь перед дворцом была запружена повозками, верблюдами, быками с потными вздрагивающими боками.

У подножья каменной лестницы стояла большая двухколесная повозка, на повозке лежал труп огромного воина, накрытый синим плащом. Привязанный к той же повозке веревкой за шею, переминался с ноги на ногу пленный воин. Руслан и Сахр переглянулись: это был старший воин из тех семерых, кому они дали в песках поесть.

- Он убил Хусейна, - доложил один из всадников, сопровождавших караван с добычей. - Внезапно напали горстью с бугра, обстреляли. Мы погнались за ними, этого сбили с коня, остальные ушли.

Сахр, знавший от своих ученых друзей сирийский язык, понимал гортанную речь «покорных богу» и шепотом пересказывал Руслану ее содержание.

- А, Харун, - угрюмо кивнул пленнику рослый носатый Кутейба. - Вот и встретились. Недолго тебе пришлось вести свою войну в Туране. Эй, сгружайте добычу! Складывайте здесь, на лестнице.

Воины положили у ног наместника тяжелый продолговатый тюк, разрезали грубую мешковину. Кутейба ахнул. Перед ним открылся, ярко блеснув, золотой лик прекрасной согдийской богини Анахиты.

И по мере того, как с продолговатых тяжелых тюков, с натугой сгружаемых с арб, спадали покровы из мешковины и войлока и глазам «покорных богу» представляли все новые и новые золотые идолы, бухарские боги и богини, в толпе воинов все громче нарастал шум восторга и восхищения. Переговариваясь между собою, «покорные богу» от возбуждения заикались или умолкали на полуслове. Иные падали наземь без чувств. Многие плакали от умиления. Большинство же просто вопило хриплыми дикими голосами, ошалело озирая гору чистого золота.

- Видал? - сказал Сахр Руслану. - Молились в полдень, разговаривая с богом, не было слез и стонаний: бормотали заклинания заученно, тупо, равнодушно, как бы стараясь скорее отбыть неприятную повинность. И никаких тебе чувств. А сейчас - видишь? Плачут. Золото! Вот оно, самое главное божество. Золотой истукан правит миром. Именно ему, называя его различными именами и сбивая с толку народы, поклоняется всемирная шайка хитроумных вероучителей.

Мятежника Харуна, убившего разбойничьей стрелой витязя Хусейна - красу и гордость воинства «покорных богу», привязали к столбу перед выстроенными пешими и конными отрядами и, в назидание всем прочим, потешаясь над пронзительными криками преступника, содрали с него, живого, кожу.

Коран запрещает пить вино, зато позволяет курение, - и воины, вдосталь накурившись гашишу, собрались на поминальный пир в десять раз более дурные, чем пьяные от вина.

Гашиш вызывает приступ неудержимого смеха, и по всему стану гремел тупой бессмысленный хохот,- тогда как «покорным богу» надлежало, казалось бы, горько оплакивать Хусейна, раз уж они его так любили.

Они и заплакали, когда благородный воин-сказитель запел о славных подвигах безвременно погибшего Хусейна, Песня была напряженно-ноющей, рыдающей, и от нее и впрямь хотелось плакать. Зато музыка... в ней слышалась угроза: звуки труб, дудок, барабанов, струнных инструментов сливались то в густой, то в пронзительный напористый напев, похожий на гул и визг самума в песках, на родине «покорных богу». Резкий порыв следует за таким же резким порывом, но отнюдь не плавно и размеренно, - не успеет стихнуть один, как на него нахраписто налезает другой. Слушать неумоготу.

- Народ с такой музыкой не победить, - заметил бледный Сахр.

Расчувствовавшиеся воины рвали на себе одежду, царапали щеки, с криком кидались на

землю, катались по ней с пеной на губах.

Затем «покорные богу» мелко изрубили и разделили между собою труп Хусейна, чтобы, поев его благородного мяса, перенять от него отвагу и храбрость. Каждый старался получить хоть крошку. Самое ценное, сердце и печень, преподнесли, конечно, Кутейбе ибн Муслиму...

- Людоеды, - плевался Сахр на обратном пути. - Пожиратели трупов. Умный народ, способный, но - одурачен... как и всякий другой.

Руслан никогда не слышал, чтобы Сахр, говоря о каком-либо народе, назвал его темным, диким, никчемным. О каждом народе он отзывался с любовью и гордостью, будто сам принадлежал к нему:

- О! Это умный народ, очень умный народ. Ясная голова, зоркие глаза, золотые руки.

- Евреи? О! Это дельный, толковый народ.

- Персы? О! Это древний, мудрый народ.

- Китайцы? О! Это искусный, трудолюбивый народ.

- Каждый народ по-своему замечателен, просто загляденье.

Говорить: я лучше, скажем, кочевого тюрка, потому что я - рус или хорезмиец, это от невежества, древнего дикарства. Сказать: я лучше, потому что знаю грамоту, умею строить города, каналы, расписывать мн стены, посуду, а он этого не умеет, - можешь, пожалуй. Но помни: он знает и умеет то, чего ты не знаешь, и не умеешь. И помни другое: знания и умение - дело наживное. Глядишь, тот же тюрк-пастух научится всему этому, да еще тебя же и обгонит, если будешь сидеть сложа руки, полагая, что знания - твой природный дар, и не надо их развивать, сами придут...

Ругая кого-нибудь, Сахр никогда не упоминал его племенной принадлежности. И если Руслан спрашивал, кто тот человек - хорезмиец, согдиец, перс, грек, еврей, Сахр отвечал:

- Не имеет значения. Ну, еврей. Но еврей тут не при чем. Глупость, мой дорогой, как и болезнь, не отличается по языку, ни цвету глаз и волос.

Он вполне убежденно считал глупость тяжелой хворью. Человек - это разум. Нет разума - нет человека.

Слушая Сахра, Руслан внутренне пел. Такое ему открывалось в его речах... И все чаще думал Руслан: если со всем, что он увидел и услышал, вернуться в глухую Семаргову весь, сколько можно сделать с этими знаниями в родном селе...

- Научил бы ты меня грамоте, - обратился он к Сахру.

- Хочешь? - загорелся Сахр.

- Давно хочу.

- А я давно хочу тебе сказать: учись грамоте. Но какой? Ближе всех из просвещенных народов к Руси - византийцы. Но языка греко-ромейского ты не знаешь. А по-нашему - можешь говорить. Осталось буквы усвоить. Дело нетрудное. Парень ты острый, в три дня их одолеешь. По дороге и научу. Все книги индийцем, греков, персов, сирийцев переведены на хорезмийский. Будешь читать, непонятное - спрашивать.

- Что я пойму? На каждой строке придется спрашивать.

- Не беда! Спрашивать, когда не знаешь, не стыдно. Индийский лекарь Чарака пишет: «Если ты сомневаешься в чем-либо, дружелюбно обратись к другим... испроси у них совета». И откроется перед тобою мир огромный, звездный, сияющий - добрый мир знания. Доведется вернуться на Русь - всех волхвов ваших диких разоблачишь и разгонишь.

- Доведется ли? - вздохнул Руслан.

- Кто знает? Все может быть на этой беспокойной земле. Я знаю одно: я сделаю тебя искусным лекарем. Я в силах это сделать. «Нет лучшего дара, чем дар жизни», - говорит Чарака. Вернуть умирающему жизнь - никакой бог не способен это совершить. Сушрута, тоже

индийский лекарь, пишет: «Пусть твоим вероучением станет человечность».

- Рождение - страдание...

Болезнь - страдание...

Смерть - страдание...

Присутствие того, кого ненавидим, - страдание, отделение от того, кого любим, - страдание.

Короче, пятичленная привязанность к существованию - страдание...

Так поучал в развалинах древнего храма завернувших к нему из любопытства путников одинокий монах - весь иссохший старик с бритой головой, босой, с шафранно-желтым тряпьем на плечах.

- Сказано в Махавагге: «Из чувства возникает желание, из желания - привязанность, из привязанности - бытие, из бытия - рождение, из рождения возникают старость и смерть, несчастье, скорбь, страдания, унижение и отчаяние». Освобождение от страданий дается полным уничтожением всяких желаний.

Он запел, раскачиваясь, дребезжащим голосом:

Я отрекся от всех желаний,

Отбросил полностью ненависть.

Для меня окончен самообман,

Я истлеваю, догораю.

Я смерть свою жду без страха,

Жизнь покидает меня без радости.

Терпеливо изнашиваю свое тело,

Умудренный, яснопознавший...

- О сокровище на лотосе! Сказано в Тхерагатхе: «Разрывая все связи, обретаешь спокойствие». Железную цепь не зови тяжелой цепью. Не противься злу. Стань сам владыкою своих страстей - и над тобою не будет владык.

- Так-так - Сахр прикусил губу. - Значит, чтобы спастись от страданий, надо отказаться от всего человеческого на земле, а лучше всего - умереть? Но Чарака и Сушрута...

- Сын мой. Не поминай в храме безбожников. Слушай Будду. Он говорил: «Подобно тому, как воды океана имеют лишь один вкус - соленый, так и учение мое имеет лишь один вкус - вкус спасения». Жизнь - страдание, цель жизни - уход из нее, спасение - в загробном мире.

- Ну, этот вовсе... Тьфу! Еще один спаситель... - Руслан встал, махнул рукою, пошел прочь. Он чуть не наступил на большую, как полено, полосатую ящерицу. Она раздулась, угрожающе зашипела. Руслан обернулся. - То-то не очень-то много тут у тебя последователей! Разве что ящерица? Но даже ей, видишь ты, жизнь дорога.

Вслед ему с неясной улыбкой, показавшейся Руслану издевательской усмешкой, глядел из ниши в стене огромный глиняный Будда, под которым и приютился монах.

- А что, неглупое учение, - сказал Сахр, присоединившись к Руслану на пятнистом от редких кустов, серо-желтом плоском берегу Окуза. - Самое подходящее для нас. Мы с тобою достаточно настрадались. Может, плюнем на все, а? Поселимся тут. Разлюбезное дело - сиди, весь день свой пуп созерцай...

- Э, нет! - Руслан стиснул пальцы в огромный кулак. Глаза побелели. В нем давно, как воду в закрытом котле, подогревали ненависть медленным пламенем лжи и обид, - и вот она заклокотала, жгучая ненависть ко всей неправде на свете. - Тут по свету рыщут «покорные богу», хотят меня съесть, а он - «не противься злу». Хватит меня дурачить! Всю жизнь бьют, пинают, гоняют. За что? Нет, хватит. Кто-то должен мне заплатить за мучения.

- Все равно мир не переделать.

- Мир, мир! А я что такое? Мир - я сам. Мне, хочешь знать, дела нет до твоих далеких

планет, дайте здесь, на земле, вольно вздохнуть.

- Здесь? Ишь чего захотел! Никогда на этой несчастной планете не перестанут играть в жизнь и не начнут жить по-настоящему. Вечное лицедейство, то смехотворное, то - чаще - кровавое. Видишь эту реку? - Он кивнул на огромный гладкий поток, плавно бегущий перед ними. - Совокупность всех событий, крупных и мелких, происходящих на земле по какому-то, никому не известному, закону, называется историей. История - исполинская река, истоки которой в тумане тысячелетий, устье - неведомо где. Река эта странная, особая, у нее свои, трудно постижимые, причуды. У нее двойное течение. Сверху - пена, дохлые ослы, коряги, щепки, навоз. Сверху - лодки, птицы, лягушки, змеи, пескари, комары, черт знает что. Но все это занимает лишь тонкий, самый верхний слой воды. Главная масса воды - внизу, и крупные рыбы - внизу, а вся шваль - наверху. Так и история. Наверху - все случайное, муть ложных вероучений, суеверия, вымыслы, домьслы, заблуждения. Все это где-то в пути застревает, засоряет мели, отмели, заводи, боковые протоки, пропадает бесследно. А настоящее - в глубине. Истинные знания, мощные водовороты - все, что движет жизнь - в глубине, в трудно постижимой глубине. Ты только начинаешь плавание, посмотрим, куда тебя занесет. А я, брат, ни внизу, ни наверху. Устал мутную воду хлебать, о коряги лоб разбивать. Я - на берегу. Сижу, зеваю, ячменную водку пью, в речку поплеываю. Не желаю в ней бултыхаться. Хочешь - лезь, а меня уволь.

- А дадут ли?

- Что?

- Ну, сидеть, зевать на бережку?

- Приспособимся как-нибудь.

- А хорошо ли это?

Впервые увидел Руслан, как Сахр краснеет.

- Смотри-ка! - воскликнул лекарь, стараясь укрыть за шутливостью горькую досаду. - Яйцо начинает курицу поучать.

УТРО ПСОВОГО ЛАЯ.

*Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.*

*В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь...*

*И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...*

*Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.*

А. Блок. «На поле Куликовом».

Осень. Но в Хорезме по-прежнему знойно. Разве что ночи стали темнее.

... Ах, эти длинные, длинные, длинные черные ночи! Одинокие. Бесконечно жестокие... Отчего я несчастен, печален, зол и порочен? Не оттого ль, что чужой на жарком Востоке?

Мозг до глаз моих серых, до глаз моих серых болью нагружен. Телу белому дальше некуда сохнуть. Отчего, нуждаясь во всех, никому я не нужен? Хоть бы мне тут однажды ночью подохнуть...

Примерно таким все чаще бывало у Руслана состояние духа, когда, всю ночь промаявшись

от плотной неотступной духоты, он поднимался утром весь расслабленный, потный, с тяжелой головой.

И всю ночь, всю ночь он видел Иаиль! Не ту, с пеной на губах, под стеной, чужую, безмолвную, а ту, ласковую, нежную, с которой они шептались и обнимались в темной каморке. Когда она была живой... Живой! Была ли? Или она ему примерещилась? От Днепра он шагал и шагал, изнывая от жажды, - и вот, когда достиг родника с живой водой, родник усох, едва он припал к нему горячими губами... Так внезапно, нелепо, Зачем! Наваждение дикое, чудовищное. Немыслимо это.

Было, еще в Самандаре: маленький, весь в золотушных болячках, мальчишка, которого бросила мать, день-деньской слонялся между шатрами и напевал с видом серьезным и строгим:

Человек сам не стареет, - Заставляет горе.

Так - то. Мальчишке тому было всего пять лет...

Пребывание у Сахра, и вообще в Хорезме, утратило бы всякий смысл, если б не учение. Как и предвидел врач, юный смерд быстро усвоил хорезмийские буквы, созданные, по словам Сахра, еще в древности на основе какого-то арамейского алфавита. Руслан уже начинал понемногу читать что попроще. Случалось, Сахр принимал по утрам больных - бедных горожан, земледельцев из окрестных селений, Руслан помогал ему возиться с ними, и это тоже было хорошее занятие.

Но иногда на русича находила такая черная тоска, что он готов был бросить все и бежать. Уйти наугад, наудачу на запад - и лучше умереть в лесах по дороге на Русь, чем пропадать тут в чужой лачуге. Он вспоминал свою землянку, и такой желанной, просторной и уютной она ему теперь казалась...

- Ты Рустам? Здравствуй. Я - Бузгар. Слышал обо мне?

- Говорил о тебе хозяин.

Мог ли подумать юный смерд, что этот низенький плотный человек с круглым веселым лицом внесет, вместе с переметной сумой, перекинутой через плечо, крутую перемену в его судьбу?

Руслан, уже немного знакомый с местными обычаями, положил перед ним свернутую гостевую скатерть с едой, - в каждом хорезмийском доме есть такая особая скатерть, развернуть которую вправе лишь гость.

Насытившись, Бузгар сказал с доброй завистью:

- Повезло тебе!

- В чем?

- В хорошие руки попал. Сахр - человек необыкновенный.

- Да? А я недавно слышал обратное. Не любят его.

- Кто не любит? - грозно встрепенулся Бузгар.

- Ваши, эти... жрецы.

- Э! Жрецы... Кого они любят, кроме самих себя? Ты думаешь, почему Сахр прозябает в этой несчастной лачуге, тогда как ему в царском замке отвели бы роскошное жилье? Потому, что там он не смог бы принимать больных. Простых людей в царский дворец не пускают. И почему он бедный? Все, что получает от хорезмшаха, он раздает. Нам, бедному люду. Случилось в прошлом году... весь урожай мне пришлось отдать за долги, за воду поливную, господину, князю нашему Манучехру. Без хлеба сидим зимою. Мать-старуха плачет, старик ругается. Куда деваться? Иду к общинному жрецу. Он говорит. «Я бы помог тебе, но тороплюсь - в Хазараспе празднуют тысячелетие храма огня». Я говорю: «Храм огня в Хазараспе стоял тысячу лет и, дай бог, простоит еще столько же, а я умру завтра с голоду!» Ну, дал он мне... одну сухую, как доска, лепешку. Спасибо, надоумил кто-то добрый: «Ступай к Сахру». И что?

Сахр купил мне два мешка зерна. И этим спас. Народ его любит,- какая еще любовь нужна человеку?

- Отчего же он... всегда невеселый, задумчивый?

- Кто знает? Этих ученых людей трудно понять. Сказать: не ко времени и не к месту он здесь? Нет. Раз уж кому-то нужен, и многим нужен, значит, ко времени, к месту. Может, его сушит мечта о какой-нибудь дальней голубой планете? Этим сумасбродам,- засмеялся Бузгар,- до зарезу надо знать, что творится в небесных сферах.

Он прилег на локоть, уставился на мутную воду в ручье, запел тонким смешным голоском:

Что ж, благоденствуйте пока,

А мы - победствуем...

- Я слышал эту песню от Сахра, - оживился Руслан, радуясь знакомому напеву.

- От меня он ей научился. Так поют у нас в селениях:

Схватить удачу за бока

Вдруг сыщем средство?

Бузгар вскинул тяжелый, не меньше, чем у Руслана, смуглый кулак:

- Сыщем! Хватит нас мордовать. Скоро такое начнется в Хорезме... всю ораву дармоедов мы разгоним.

- Вы? Кто это - вы?

Бузгар - вместо ответа:

- Тебе сколько лет?

- Девятнадцать.

- Был женат?

- Когда бы это я успел? Уже год в полоне. «Успел бы, - подумал он с грустью, - да князь увел Людожирицу в Родень».

- Мне - тридцать семь, - вздохнул Бузгар. - И все равно холостой. Живу и тружусь в отцовской усадьбе. Почему? Нечем платить за невесту. Ну, на выкуп как-нибудь бы наскреб, - залез в долги на всю жизнь, но женился. Не на ком - вот беда.

- Что же, в общине у вас девушек нету?

- Нету.

- Куда же они девались? - поразился Руслан.

- Князь наш их всех в свой замок забрал. И забирает, какая чуть подрастет. Они у него - в младших женах, рабынях, наложницах, в «приемных дочерях». Ковры ему ткут. И по ночам его убаживают. А я до сих пор хозяйство свое завести не могу. Не я один: каждый второй в общине - холостой. Мужу без жены, ты знаешь, гнезда не свить. И чахнет, идет на убыль народ трудовой. И государство через то хиреет...

В Хорезме, по словам Бузгара, назрели примерно такие же события, какие произошли в Иране лет двести назад.

При шахе Каваде в персидском государстве случился полный распад. Князья, владельцы обширных земель и больших крепостей, тяготясь верховной царской властью, решили скинуть ее, обзавелись своими войсками. С царской властью, конечно, ничего не стряслось. Зато простонародью - досталось. Совсем разнуздались богачи. Рыщут по селениям, как волки - по загонам овечьим, отнимают землю и воду у вольных крестьянских общин, хватают самих крестьян, их жен, сестер, дочерей. Разброд. И тогда против жадных князей выступает Маздак, бедный пахарь.

Он говорит простонародью:

«В мире извечно идет борьба между злом и добром. Зло действует слепо и неразумно, добро - разумно, сознательно. Свет и тьма переплетены, но свет на земле преобладает, хотя еще и не

достиг полной власти.

Кто в поте лица пашет землю, выращивает хлеб - носитель добра и света.

Кто не работает и зарится на чужое - носитель зла и тьмы.

Причина всех бед на земле - раздельная собственность».

- Все это я слышал недавно от манихея, - зевнул Руслан скучаяще. Болтуны. Надоели со светом и тьмою, с добром и злом.

- Да, но манихеи зовут в тихую келью, обещают счастье в загробном мире. А Маздак учит: «Чтобы здесь, на земле, наступило царство света, силы добра должны уничтожить силы зла. Надо отнять у богатых и знатных землю, скот и воду. Все люди равны. И должны сообща владеть всем, что есть на земле».

Далее из Бузгарова рассказа следовало, что крестьяне, возглавляемые Маздаком, подняли в Иране бурное вооруженное восстание. Они убивали крупных земельных владельцев, сносили их дома и хранилища.

Шах Кавад, который сперва, боясь непокорных князей, заигрывал с восставшими, испугался крестьянских дубин, примирился со знатью и призвал на помощь эфталитов - «белых гуннов».

Маздак погиб, но учение его сохранилось. Здесь, в Хорезме, огромное множество его последователей. Весь простой народ, можно сказать. Их название - хурремиты, то есть, краснознаменные. Красный цвет - цвет святой чистоты, добрых помыслов, храбрости. На левом берегу Окуза, в Ургенче и Хазараспе, собирается под красным знаменем Хурзада большое крестьянское войско. Скоро начнем повсюду громить богатых, делить их землю.

Потрясенный Руслан пошарил, точно слепой, вокруг себя и, будто внезапно прозрев, схватился за оберег на груди - узелок с русской землицей.

Наконец- то он пришел к тому, к чему шел, сам того не зная, может быть, всю жизнь. С громом разверзлось перед ним исполинское земное пространство, которое он одолел, пройдя через тысячу испытаний, но теперь оно, со всеми испытаниями, выпавшими на долю Руслана, открылось ему в ином, не замутненном пылью пустых словес, ясном и прозрачном свете...

- До вечного света и тьмы, - проговорил он с дрожью, - и прочих премудростей мне дела нет. Свет - он свет и есть, тьма - тьма. А вот, чтоб землю отнять у богатых и сообща ею владеть, и землю, и всем другим имуществом, - это мне по душе. Человеку, - я знаю теперь, - нужно немного, но чтобы это было твердо, нерушимо: спокойно жить и работать. Здесь, а не там, сейчас, а не потом! Вдосталь есть, вдоволь пить. И чтобы зимою было тепло, а летом - прохладно. И чтоб дети его, и другие родные, были вместе с ним, и никто их у него не отнимал. Ну, а тех, кто мешает ему спокойно жить и работать, - Руслан насупился, - я согласен, надо убивать. Не станут мешать - всем хватит хлеба и места под солнцем. А будущую жизнь и райскую награду за терпение пусть законники всю возьмут себе и утешаются ею, когда подохнут. Такое учение - в самый раз по мне.

- И ты - в самый раз по мне, - сказал Бузгар уважительно. Он даже поднялся с ветхой циновки, сел (стыдно лежать, услышав такую речь). - Иди к нам, хурремитам,- предложил он открыто и просто.

- Я - хоть сейчас! Но... отпустит ли хозяин?

- Э! Не отпустит - тайно уйдешь. Пусть сидит один в своей норе, пьет ячменную водку. Я тебя доставлю, куда надо.

...Стучат в калитку. Обычно она стоит открытой, но Бузгар, явившись, тщательно запер ее,- не надо, чтобы его тут видели.

Услышав стук, Бузгар кинулся в сарайчик. Руслан пошел открыть, и во двор ввалилось нечто громоздкое, закутавшееся в просторную светлую накидку. Оно отвернуло накидку - и Руслан остолбенел, увидев ненавистно-знакомую тыквенную рожу.

Фуа!

Видать, она давно не брилась: мясистые щеки ее густо заросли мохнатой черной бородой. Она обсосала незримую виноградинку и сказала, улыбаясь сквозь усы:

- Ну вот, я пришла, мой лев.
- Зачем?
- Ты же сказал, мой Иосиф Прекрасный...
- Что?
- Что меня любишь.

Руслан уронил руки. Нет, тут он ничего не мог поделать.

- Прогонишь - яду приму! Будешь отвечать. - Жутко смотреть, как эта огромная неповоротливая туша корчит из себя маленькую обиженную девочку. - Я у матушки, у батюшки одна дочь. А ты хочешь... - Еще более жутко видеть, что она сама непоколебимо верит тому, что говорит. - Ах, я несчастная, бедная, что будет со мною?

- Ничего я не хочу! - вскричал Руслан. - Хочу, чтобы ты сейчас же пошла отсюда к черту, исчезла на веки вечные, оставила меня в покое.

Фуа, по своему обыкновению, начала трястись и не то всхрюкивать, не то всхрапывать.

- Но ты же сказал...
- Ох, Бузгар! - Руслан упал на циновку. - Вытолкай вон эту стерву.
- Ты сам сказал...
- Бузгар!

С детства учили Руслана: нельзя женщину обижать. Ни ругать, ни - господь, сохрани! - ее бить. Но, оказывается, бывают в жизни случаи, когда не то, что бить - ее хочется убить, на куски изрубить, на свалку выкинуть.

- Я у матушки, у батюшки одна дочь. Ты меня обманул. Обольстил и покинул. Будешь отвечать. - Она сорвала с толстой руки дешевый медный браслет, швырнула его в мутную воду канавы. - Ты украл у меня золотой браслет! Я тебя в темнице сгною. В каменоломнях век свой закончишь. Дохлятина. Падаль.

- Бузгар!

Бузгар, как человек восточный, дикий, не стал долго рассусоливать: схватил толстуху за волосы, подтащил к выходу, дал ей пинка - и закрыл калитку.

- Разбойники! - донеслось снаружи. - Я вам покажу!

- Плохо, что она меня увидела, - угрюмо сказал Руслану взволнованный, запыхавшийся Бузгар.

- Знает тебя?

- В том-то и горе. Я ее мужу должен пять монет...

Так и не смог Руслан понять, что она такое: просто хитрая, подлая тварь, или - сумасшедшая. Или то и другое вместе. Если это совместимо,- как говорила покойная Иаиль.

Сахр - смеясь:

- Счастливый день! В доме гость и со мною гость. Проходи, Зуфар. - Он пропустил вперед высокого, очень смуглого, молодого, хоть и с бородою, опрятного человека.

Руслан узнал его - видел среди ученых, когда Сахр водил слугу в академию.

По местному обычаю, разговора не начинали, пока не наелись жареной баранины. Ну, как водится, хлебнули немного ячменной водки. Бузгар вынул из переметной сумы пару больших сочных дынь, - они пришлись весьма кстати, особенно Руслану, у которого во рту дико горело от уксуса и красного перца. Без уксуса, перца, без лука и чеснока, без тмина и мяты здесь почти ничего не ели. В первые дни жизни у Сахра бедный Руслан чуть криком не кричал от каждого куса,- затем, правда, стал привыкать понемногу к острой пище, но, конечно, доселе не мог к

ней как следует привыкнуть.

- Как твоя «История Хорезма»? - обратился Сахр к Зуфару. - Скоро закончишь?

- Скоро. Шесть книг уже есть, осталось четыре.

- Что говорит о ней хорезмшах?

Зуфар досадливо пожал плечами:

- Что он может сказать? «Мне, - говорит, - наплевать на древних твоих массагетов и саков. Я - Хорезм! Если б ты написал историю царской династии Афригидов, я бы достойно тебя наградил». Я отвечаю: «Народ Хорезма состоит не из одних царей». Он беснуется: «Народ? Чтоб ты пропал вместе с этим крикливым, буйным народом! Он мне не нужен. И ты не нужен со своей дурацкой историей».

- И верно, - с усмешкой подзадорил его Сахр; похоже, не первый раз затевали они разговор об этих вещах. - Кому нужна твоя история? Ради кого стараешься? Ради потомков?

- Ради них тоже.

- А знаешь ли ты, как называют люди развалины поселений, в которых когда-то жили их разлюбезные предки? «Ведьминой горой». «Чертовым городищем». «Прибежищем злых духов». И похуже. Смеются над предками; неучи, дикари. Вот тебе и благодарность потомков. Человеку, друг мой, безразлично, что было вчера. Он хлопочет о завтра.

- Ну, то от невежества. Смеяться над далекими предками - все равно, что поносить родных отца и мать. Ведь мы не с неба свалились: в наших жилах течет живая кровь тех неучей, дикарей. И не в том ли, Сахр, наша с тобою задача - людей просвещать?

- Просвещай, просвещай, - нахмурился Сахр, - пока они тебе башку не оторвут.

- «Кому нужна история...» - Зуфар беспомощно оглядел собеседников. - Я тупею от недоумения, когда слышу подобное. Завтра? Завтра - это сегодня, умноженное на вчера. Вот, скажем, ты, друг Рустам, вдруг проснешься наутро с совершенно пустой памятью, начисто забыв, что знал, полностью утратив свой житейский опыт. И что будет с тобою? Не отойдя от двора и трех шагов, ты погибнешь, - попадешь под колеса первой же повозки, ибо не будешь помнить, что она может задавить. Или утонешь в ближайшем канале. Или здесь, не выходя из дому, сгоришь в очаге. Человек без памяти - не человек. Даже не червь. Ибо даже у червей есть опыт и память: знают, куда, как и зачем им надо ползти. История - опыт и память народа. И никакой народ не может существовать, не зная своей истории. Верно, Бузгар?

- Верно, верно. - Бузгар бросил озабоченный взгляд на калитку, затем на свою переметную суму.

- Ты чем-то встревожен? - насторожился Зуфар.

- Фуа, Пинхасова жена, здесь была...

- Фуа?! - Зуфар мигом вскочил. - Тебя видела?

- Да.

- Чего же ты тут сидишь? Давно надо быть за сорок верст отсюда.

- Не бойтесь, - попытался успокоить их Сахр. - Кто станет ее слушать? Всякий знает, что дура.

- Э! - Зуфар всплеснул руками. - От дур все беды на свете. Собирайся, Бузгар. Скорей! Я пойду с тобою, провожу до городских ворот.

- Не забывай, о чем говорили, - кивнул Бузгар Руслану на прощание. - Я к тебе забегу как-нибудь тайком.

- Буду ждать.

Бузгар удалился, Руслан остался, но душа его ушла с Бузгаром, будто крепыш унес ее в своей переметной суме. Много хороших людей видел Руслан с тех пор, как покинул Самаргову весь, но никого не полюбил так сразу и горячо, по-братски, всем существом своим учуяв в нем

родное, кровное, свое. Он бы заплакал, если б давно не разучился плакать.

- О чем это вы с ним говорили? - любопытствовал Сахр.

- Так... о том, о сем.

- Ого! - воскликнул Сахр ревниво. - У тебя уже свои тайны?

- Тайны, не тайны... тебе будет скучно слушать. Не о звездах шла речь - о земных делах.

- Понимаю. К Хурзаду тебя зовет. Он и меня сколько раз уговаривал уйти из Кята.

- А ты боишься?

- Я ничего не боюсь, друг мой. Но зачем? Какой в этом смысл? Нет силы, которая сокрушила бы тупое чудовище, именуемое властью.

- Но Маздак же сумел одолеть богачей?

- Сумел. На какое-то время. Затем они его одолели. Будь уверен, хорезмшах тоже найдет кого позвать на помощь: белых ли, черных ли, желтых ли гуннов. Или того же Кутейбу ибн Муслима. Кровь. Напрасные жертвы. Новое горе. И - все опять пойдет по-старому.

- И пусть! - разъярился Руслан. - Кровь - разве она и так не льется каждый день? И нет напрасных жертв? Нет горя? Надо ж хоть раз, пусть на десять дней, взять свое! Отплатить живоглотам за все обиды! Раз уж народ подымается, он, наверно, знает, на что идет. Там, на Окузе, ты говорил: история - река большая. Сверху - мусор, дерьмо, снизу - золото, крупная рыба. На берегу, мол, сижу, гляжу. А ведь к берегу - не то же ль дерьмо волной прибывает, а? Эх, ты - ученый! Бузгар, простой человек, - и то знает свой путь. Был у нас... Калгаст. Он плыл глубью. Убили его... из-за глупости моей. Хочу вину свою загладить перед ним... и его заместить. На берегу? Ладно, сиди, царю угождай. Завидная участь - служить тому, кого ненавидишь. - Он горько усмехнулся. - Ведь ты никому ничего не должен. Сам всего достиг. Из материнской утробы сразу ученым вылез. И книги сам придумал... и академию эту, науки разные. И не хочешь подумать, любомудр: раз уж на сей земле мог объявиться этакий умный Сахр, то, значит, она способна таких родить и растить. И ей ты обязан умом своим высоким. Но вот она подымается на большое дело, а ты - в кусты. Тьфу! Стыдись.

- Ого! - развеселился лекарь, выслушав сбивчивую гневную речь русича. - Так-так... - И, тут же потускнев, уныло махнул рукой. - Не петушишься. Ломал я голову над этим всем. Мало ли, что я тогда сказал: я говорю сегодня одно, завтра-другое. И не всегда то, что думаю. Так, от скуки озорую. Честно сказать, я давно собирался к Хурзаду. И Бузгара - помнишь, репу на базаре покупали? - через старика одного за тем и вызвал к себе. Поговорить хотелось, да, видишь, не удалось. Сам нашел бы дорогу к Хурзаду, но решимости не хватало. Живу, - думаю, - тихо, спокойно, книги читаю, зачем мне лезть в эти дразги? Малодушие. Ты, конечно, прав. Здравое судишь. Что ж будем делать?

- Уйдем к Хурзаду! Сейчас.

- Сейчас? Хм... посмотрим...

- Трах! - распахнулась калитка.

Аарон?

Бледный, потный. Пейсы - пряди волос на висках - раскрутились, разлохматились, точно кисточки на коровьих хвостах.

По его виду казалось: сейчас завопит еврей, упадет, начнет по земле кататься, пейсы выдирать. Но Аарон, явно стараясь унять душевную дрожь, не спеша сел на циновку, вздохнул и сказал почти спокойно, даже с какой-то странной рассеянностью:

- Их убили.

- Кого? - похолодел Руслан.

- Бузгара, Зуфара.

- Кто, где?!

- У городских ворот. Стража. Русы ваши. Твой друг... как его - Караз.

- Карась? Не может быть!

- Я видел своими глазами. Пинхас приказал мне найти хозяйку, отвести домой. Я отыскал ее у ворот. Хотел утащить - кричит, в глаза мне плюет. Выходит Фарнак, начальник городской стражи. Она отзывает его в сторону. Слышу: «Сахр, Бузгар, Рустам». Словом, мятежник Бузгар, мол, скрывается в доме Сахра. Я рванулся было сюда бежать, предупредить, но вижу - двое идут. Один - Зуфар, другой - человек с лицом, завязанным тряпицей. Но Фуа, стерва, сразу узнала его: «Бузгар!». Фарнак - страже: «Хватайте!» Кинулись. Те двое сопротивлялись. Крепко сопротивлялись. Ну, их убили. Секирами зарубили. Сахр, тебе надо бежать.

- Сюда не сунутся,- сказал неуверенно лекарь.

- Сунутся! Фарнак обозлен - ранил его Бузгар...

Немало смертей видел Руслан за свою короткую жизнь, но ни одна, - даже смерть Иаили, - не потрясла его так, как смерть этих двух, своей безобразной никчемностью, глупостью. Только сейчас тут сидели, ели, пили, говорили... И вот их уже нет. Немыслимо. Уму непостижимо.

Бедный Бузгар. Жил холостым - хоть бы умер женатым. И Зуфар - куда уж каким опытом, памятью он обладал, и все же попал под колесо, железное, шахское. Сколько людей на земле гибнет просто так, без всякого смысла, не успев совершить предназначенное! И никому за это не стыдно. Кому стыдно, тот и гибнет.

- Вот тебе и дура, - жестко молвил Руслан. В этот час он дал себе клятву: если Фуа опять попадетсЯ ему на дороге, он убьет ее с ходу, без промедления.

Он не знал еще, что не всякую клятву можно сдержать, что между намерением, даже самым твердым (тем паче таким, как смертоубийство), и его исполнением - путь не меньший, чем от Днепра до Окуза.

Руслан взял в сарайчике ковровую переметную суму и, перекладывая в нее со скатерти хлеб, холодное мясо, прочую еду, сказал Сахру, не глядя:

- Ты как хочешь, я ухажу к Хурзаду. - Аарону: - Пойдешь со мной?

- Возьмешь? - встрепенулся еврей.

- Возьму. Дорогу покажешь.

- Может, и меня возьмешь с собою, о светлейший? - бледно улыбнулся лекарь Сахр. - Видно, мне волей-неволей придется мятежником стать.

Две сумы - Русланову, Ааронову - набили всяческой снедью, в третью Сахр сложил самые дорогие его сердцу пергаментные свитки. Вооружились длинными ножами. Аарон разведal: на страже у ворот по-прежнему русы, среди них Карась, а Фарнака не видно.

- Что ты наделал, дурень? - накинулся Руслан на Карася. - Таких людей убил. Таких людей...

Справа от ворот, под стеною, у ступенек, ведущих на башню, лежали, раскинув руки и ноги, два трупа с лицами, накрытыми мешковиной. Убитых, как водится, отдадут священным псам на съедение. Но никто не соберет костей их в урну, не спрячет в нише на городской стене.

Преступники.

Над лужей крови, небрежно присыпанной пылью, роились мухи.

В суме у Руслана - половина дыни, принесенной Бузгаром. Что, если положить ее рядом с багрово-серой лужей, - оставят ли мухи кровь, перелетят ли на дыню? Э! Мухи - это мухи. Они не прочь полакомиться и сладкой дыней, и кровью того, кто вырастил ее...

- Откуда мне было знать, кто они? - побелел Карась. - Думал, душегубы какие.

- Ты сам душегуб!

- Я человек подневольный. Прикажут: хватай и бей, хватаю и бью. Прости уж, родной.

- Никогда не прощу! На всю жизнь ты предо мною виноват. Может, и нас схватишь,

убьешь? Или отпустишь на волю?

- Ступайте с миром. Да поскорее, пока Фарнак не вернулся. Пошел доложить шаху про этих, - он кивнул в сторону убитых. - И спросить, как быть с твоим хозяином и с тобою. Эта толстая баба, которая с бородой, черт те что тут про вас наплела. Эх, Еруслан, Еруслан...

- Надо бы их обшарить,- сказал один из грабителей, нетерпеливо поглядывая на тугую суму Сахра,- Русланова и Ааронова были уже тощими.

- Не надо, - вздохнул старший.- Князь не любит, когда его опережают. Сам обшарит. Эй, вы, а ну, топайте к замку! - Он ткнул Сахра острием копья.

- Не смей! - Сахр показал ему серебряный перстень с царской печатью. - Я приближенный хорезм-шаха.

Старший грабитель:

- Плевать нам на хорезмшаха, ха-ха-ха! Наш бог и царь - князь Манучехр.

Это несколько успокоило Сахра. Он знал буйного Манучехра, лечил его. Может, с ним удастся договориться по-хорошему, не выдаст шаху, которого не очень-то жалует? Услышав имя Манучехра, встрепенулся и Руслан. Не об этом ли Манучехре говорил Бузгар? Значит, судьба привела смерда в общину покойного друга.

«Ну что за несчастная доля! Буду я когда-нибудь хозяином себе или так и умру в неволе?»

Аарон - тот держался спокойно, мужественно. Вырвавшись в кои-то веки из-под гнета своей глухой общины, где его человеком не считали, он узрел себя, наконец, значимой личностью: его преследуют, как и других достойных людей, он делит с ними опасность, он с ними с честью пройдет сквозь все испытания. Это - жизнь, и такая жизнь к лицу мужчине.

...Их схватили на третий день в береговых зарослях против Хазараспа, где беглецы слонялись в надежде раздобыть лодку. Что теперь будет? Вот неудача.

Теперь, осенью, вода не такая густая, глинистая, как летом, но все равно вблизи она мутная, бурая. Зато впереди, вдалеке,- ясно-голубая, в ней отражается небо. И в ней отражается огромная глинобитная крепость с высоченными стенами, громоздкими башнями. И шахское войско ее не одолеет.

В этой стране все постройки, от царского дворца до отхожего места, возводят из глины. Усохнув, слежавшись, она становится твердой, точно камень. Ни дождь, ни град, ни снег ее не берут.

Но ничто, ни глина, ни камень, ни даже сталь, не может устоять перед человеческой жестокостью. Убогие скопища небольших крестьянских усадеб, что ютятся по обе стороны канала, по широкой дамбе которого ведут задержанных, совершенно пустынно, запущены, кажутся давно покинутыми. Ни людей, ни скота вокруг них не видать.

- Видишь запруду?- говорит Руслану лекарь Сахр. - Заметь, где стоит крепость. В голове канала. Вся поливная вода - в руках Манучехра, значит, жизнь и смерть всей общины в его руках.

Перед крепостью - загоны, хижины, палатки. Целый поселок. Под тростниковыми навесами хлопчут гончары, дымятся печи для обжига посуды, кузнечные горны, гремят кувалды. Тут швецы, сапожники и шерстобиты. И больше их, чем в городе на базаре. Руслан вспомнил усадьбу Пучины. Должно быть, сей «дехкан» Манучехр - тоже боярин здешний. Но богаче, важнее русских. Почти что князь. Недаром его все именуют князем.

Сахр - Руслану:

- Зачем ему шах, зачем ему город и весь остальной Хорезм? У него все свое. И впрямь он здесь - бог и царь.

Внутри замка, под - большим навесом, примыкающим к стене, у диковинных высоких

станков множество женщин, девушек, девочек. Видно, не очень-то сыто им тут живется, - костлявые, черные. Ковры ткут. Среди них, наверно, и та, что должна была стать женою Бузгара, но не стала ею.

Манучехр - круглолицый, с круглыми глазами, с круглым носом и ртом, и сам весь круглый, как арбуз, полулежит на груди круглых подушек, набросанных на глинобитное возвышение под шелковицей. Перед ним, на земле, переминается с колена на колено оборванный мужик.

- Смилуйся, господин! Отсрочь долг. У меня десять детей, и все голодные, разутые, раздетые, и сам я голодный...

- Скотина, о-ох! - Манучехр схватился за поясицу. - А, Сахр, как живешь? Посиди, подожди, покончу с этим, тобою займусь. Десять детей? Я, что ли, состряпал твоей жене десять детей и бросил их? Не можешь прокормить - не делай. Работать - голодный, а на бабу лезть - сытый. Иди, еще раз потискай ее, если ничего больше не умеешь и не хочешь.

- Работать я умею, ты знаешь. Если б дал больше воды, урожай у меня был бы получше. А детей плодить - это мое... как его... природное право.

- Природное... что?... право! Ишь, умный, ох! Скажи, какое словечко заковыристое где-то подцепил. Это все ваша проклятая академия, Сахр! Коль уж ты, чертов Шауш, заговорил о правах, то мое природное право, - я сильный, ты слабый, - тебя в колодки забить, всю ораву твою себе забрать, сыновей сделать рабами, дочерей - наложницами. Дочери есть?

- Одна, - потемнел Шауш. - Ей десять лет.

- Как зовут?

- Фамарь.

- О! Красивое имя. Но оно - не наше, еврейское, что ли?

- Еврейское. А что, я не могу назвать свою дочь, как хочу?

- Можешь, можешь, милый! Главное: умеет ли ткать?

- Не умеет. Где бы это ей научиться? У меня нечего ткать. Ничего не умеет.

- Я - ох! - научу...

- Совесть есть? - вскричал Шауш.

- А у тебя? Он нищих плодит, а я виноват.

- Ну, это от бога,- смутился Шауш.

- Выходит, твой бог - детородный член? И молись ему. Дал детей, пусть их кормит.

- Помилуй, бесстыдник!

- Э! Миловал я одного... Бузгаром звали,- он, скотина, в знак благодарности всю округу против меня взбунтовал. Слава Ахурамазде, говорят, убили его в Кяте. Угомонился, проклятый. Не приведешь к вечеру дочь - берегись. Пошлю своих молодцов, всех детей отниму. А пока, для вящей прыти, получишь сорок плетей. Эй, всыпьте ему! Здесь, - ох! - на глазах у всех. Может, мне полегчает от воплей его.

Манучехровы головорезы - схватили Шауша, стали раздевать.

- Стой, Манучехр, - сказал Сахр. - Не стыдно тебе?

- Чего?

- Пороть на глазах у женщин, позорить отца десятерых детей? Пожалей человека.

- Что вы, как бабы, мусолите: стыд, жалость, совесть? Меня этакой чушью не проймешь. Я толстокожий.

- Похоже, - вздохнул Сахр. - В стране зинджей, где живут люди черные...

- Есть такая? - удивился Манучехр.

- ...водится, пишут в книгах, некая ядовитая муха...

- Ух ты!

- ...укус которой смертелен для всех домашних животных...

- Ох!

- ...кроме ослов.

- А? - Манучехр натужился, соображая. - Что ты хочешь этим сказать?

- Что хотел, то уже сказал. Сколько должен тебе Шауш?

- Шесть золотых.

- Из-за каких-то дохлых шести золотых человека изводишь! А стоимость всего имущества твоего составит, наверно, тысяч шестьдесят?

- Ты мое достояние не считай. Не шестьдесят тысяч - триста шестьдесят! Если не больше. Но скопил я их - по шесть золотых, ясно тебе? И не быть бы мне Манучехром, не сидеть здесь, в богатом замке, если б я каждому прощал шесть золотых долгу.

- Хорошо. Где-то у меня завалились шесть золотых. Сейчас найду... - Сахр порылся в суме с рукописями, достал серый узелок, развязал, высыпал шесть тяжелых монет на круглую ладонь Манучехра. - Смотри-ка, вот повезло! Как раз шесть золотых. Хватит, надеюсь?

- Сойдет. - Круглые глаза Манучехра впервые сузились, сделались, как у тюрка. - Я их, конечно, возьму. Но дурак Шауш все-таки получит свои сорок горячих! Еще не было человека, который, угодив сюда, ушел бы, не отдавая плетей. Такой закон у Манучехра, что поделаешь, дорогой? Даже хорезмшаху перепало - его нечаянно били ночью на конюшне, приняв за пегую кобылу. Га-га-га! Ох!...

Лекарь Сахр - скучаяще:

- И меня будешь пороть?

- А почему бы нет? Го-го-го! Ты тоже бунтарь! Вчера был гонец от шаха. Приказано: Сахра схватить, где попадется, и препроводить под стражей в столицу. Так что, умник, твоя жизнь в моих руках... - Желая подчеркнуть свое могущество, Манучехр сделал неосторожное движение ладонью - и в его пояснице белой молнией вспыхнула чудовищная боль. - Э-э-й-ю-ю! - завопил он диким голосом. И затем, сквозь жалостные всхлипывания: -А моя... ох!., а моя жизнь - в твоих руках, друг Сахр. Лег, понимаешь, потный, горячий, на сквознячке, получил прострел. Спаси... Клянусь покойной матерью, я тебя не трону. Ох! Избавь от этих страшных мучений. У-у-й-ю-ю...

- Эй, вы, людоеды, - сказал Сахр княжеским дружинникам. - Отпустите Шауша домой, грейте песок в сухом котле.

Старший дружинник выжидательно поглядел на господина.

- Делайте... что велит, - пропищал Манучехр и с умирающим видом сомкнул веки.

- А как же... сорок плетей? - уныло спросил дружинник, сожалея о неудавшейся забаве.

Шауш шепнул ему на ухо.

- Дай их своему хозяину - сразу вылечишь! - И убежал.

...Проглотив три обезболивающих опийных шарика, Манучехр повеселел, вновь бодро выкатил глаза. Блаженно поглаживая поясницу, растертую каким-то жгучим пахучим зельем, и поправляя на ней плоский мешочек с раскаленным песком, он сказал снисходительно Сахру:

- Спасибо, помог. Не забуду. Я не выдам тебя хорезмшаху. Оставайся здесь. Мне, видит бог, тоже нужен свой придворный лекарь. Чем я хуже Аскаджавара? Хе-хе-хе. - Он взглянул на сонного Аарона. - И брадобрей домашний не помешает. Ведь ты брадобрей, верно? Я видел тебя у Пинхаса. - Князь перевел взгляд на Руслана; тот сидел недоступный и сумрачный. - И телохранитель-чужеземец пригодится, который не знал бы нашего языка и здешних обычаев и потому не мог завести себе друзей в общине. (Руслан: «Ты опоздал, хитрый князь. И язык уже знаю, и обычаи, и друзей тут у меня много».) Оставайся, а? - В голосе богача послышалось нечто детски-просительное.

- Великая честь служить столь знатному вельможе, - ответил Сахр осторожно. - И я - всей

бы душою, да жаль - не могу.

- Это почему же?

- Хурзад меня ждет.

- Хур... а! - Безмятежно круглое лицо Манучехра странно задергалось и вытянулось самым невероятным образом, как отражение на заколыхавшейся поверхности воды. - Да. Ведь вы с ним приятели, помню. Ждет? Чего ж ты сразу не сказал?

- Кто и о чем меня спрашивал? Схватили и притащили. Грозилась высесть.

- Оставь. - Тень огромной заботы легла на искаженное лицо Манучехра. Глаза помутнели. - Шуток не понимаешь? Ступайте с миром. Возьмите еды на дорогу - изголодались, наверно, в бегах? Я велю вам лодку дать. Эй! Проводите их. Скажите там, на переправе, чтоб этих троих перевезли на левый берег. И пусть кто-нибудь только посмеет их обидеть! - Он хмуро взглянул на Сахра исподлобья. - Слушай, друг. Замолвишь... если что... словечко за меня перед Хурзадом?

- Замолвлю, - пообещал Сахр зловеще.

- Не забудешь?

- Не забуду...

- Сахр, стой! Эй, Сахр...

Руслан - с отчаянием: «Опять влипли».

По обыкновению здешних речников, лодку вытянули, бредя по берегу, далеко вверх по течению, чтобы стремнина не пронесла ее вниз мимо противоположной пристани. И вот, когда гребец оттолкнулся было уже веслом от суши, путников настиг чей-то окрик.

Чей? Из прибрежных кустов с треском вырвался весь истерзанный... Шауш. Он держал за руку голую девчонку. Совсем голую. Смуглые плечи, плоская грудь ее, живот исполосованы глубокими царапинами. И тощее лицо Шауша, большие руки - в царапинах, ссадинах, Свежая кровь. Оба с ходу свалились в лодку.

От пристани с криками бегут по сырому берегу, размахивая копьями, Манучехровы слуги. Случилось что-то неладное. Надо спешить.

- Отчаливай! - приказал Сахр гребцу.

Лодку вмиг подхватило мощной струей бокового течения и отбросило далеко от берега. Над нею мелькнули две-три стрелы, ветер унес их в сторону.

Сахр покосился на голую девчонку. Невзрачна. Кожа очень темна, нечиста, в мелких пупырышках. Лицо плоское, нос совершенно нелепый, широкий, приплюснутый, с толстыми ноздрями. Руки какие-то вывихнутые, ноги кривые. Зато глаза - только и есть в ней заметного, яркого, что большие черные глаза с необыкновенным разрезом: будто их поменяли местами, и узкие наружные уголки пришлись к переносью, а округлые внутренние - к вискам. В такие глаза можно смотреть часами - и ничего в них не понять.

- Фамарь, - пояснил Шауш, уловив взгляд Сахра.

- Прикройся. - Лекар бросил ей свой халат. И - Шаушу: - Что с вами стряслось?

- Обманул Манучехр! И тебя, и меня. Вы только покинули крепость, его головорезы нагрянули ко мне в усадьбу, схватили Фамарь. Видишь, всю исцарапали. Вырвалась. Я кричу, долг, мол, вернул, - но разве их чем-нибудь проймешь? Еле отбил дочку, - спасибо, соседи подсобили. Я и бросился с нею напрямик через чащу к реке. Еле, видишь, успел. Большой шум в общине. Снова бунт. Сегодня ночью все уйдут на левый берег.

- Но мы же и вправду уплатили долг? - изумился Сахр.

- Э! Чего ждать от него? Грабитель. Вымогатель. Сукин сын.

- А как же другие дети?

- Остались, - всхлипнул Шауш. - Теперь Манучехр всю семью к рукам приберет. Н-ну, - он

стиснул кулак, - я вернусь, я найду своих детей!

Руслан вспомнил булыжную решимость Добриты, вот так когда-то плыли они вместе по реке. За тридевять земель Руслана занесло, но ничего, по сути, вокруг не изменилось. Земля, правда, другая, и небо другое, другие деревья, а горе всюду одинаковое. Ну, на земле, может, и не изменилось ничего, зато сам Руслан уже не такой, каким он был тогда.

Стражник, сопровождавший лодку и поначалу обалдевший от неожиданности приключившихся событий, обрел, наконец, дар речи и резко приказал гребцу:

- Поворачивай назад!

- Это зачем же? - нахмурился Руслан. Стражник опешил: он никак не мог предполагать, что этот белый чужак говорит по-хорезмийски.

- Мне велено перевезти троих. Поворачивай, ну?

- Тебе-то что, скотина, троих ли, пятерых ли? - Аарон схватил его за шиворот. - Заболеешь, что ли, умрешь, если бедных людей спасешь?

Стражник схватился за рукоять меча:

- Мне велено...

Плюх! - Лучше б он не перечил такому здоровенному буйволу. В один миг ретивый служака очутился в воде. Шауш, не долго думая, хватил его багром по голове, обернулся, желтый и страшный, к гребцу:

- А тебе что велено?

- Мне? - Гребец боязливо пригнулся, покрепче ухватился за весла. - Мне велено плыть к левому берегу. И я плыву. Ох, не трогайте меня! Довезу. Хоть пятерых, хоть десятерых. Мне что?

«Так - то», - подумал Руслан удовлетворенно. Который раз он позавидовал крутой быстроте, с которой на Востоке люди переходили от слов к делу.

Уже на берегу лодочник сказал:

- Назад мне пути нет - Манучехр шкуру сымет. И что я теряю на правом берегу? Одинокий. Бездомный. Всю жизнь бултыхаюсь в реке. Рыба, не человек. Возьмете с собою?

- Пойдем.

- Сахр, - отозвал Шауш лекаря в сторону, - мне с дочкой возиться недосуг. Надо воевать. Придем к Хурзаду - там тьма людей. Разный народ. Будет Фамарь со мною - всякий сможет девочку обидеть. Держи при себе, а? Ты человек известный, при тебе ее. никто не посмеет тронуть.

- А если я сам ее трону? - усмехнулся лекарь.

- И сделай милость! - воскликнул Шауш, приложив руку к груди. - Возьми ее насовсем. И выкупа не надо. Пусть лучше тебе достанется, чем гаду Манучехру.

- Тьфу! На что она мне, чудак? Только и забот у меня - сопливой девчонке нос вытирать.

- Она тебя не обременит! Кусок хлеба в день - и довольно с нее. Не избалована. Держи ее, Сахр, при себе. Умоляю. Мне она будет помехой.

- Ладно. Но смотри, - уступлю кому-нибудь за кувшин ячменной водки - не обижайся.

И с тех пор Фамарь молча и покорно, как собака, повсюду следовала за лекарем. Руслану она казалась глухонемой: не отвечала, когда с нею заговаривали, и ни разу никого ни о чем не спросила. И ни разу в тупых и прекрасных глазах этого дикого, робкого, на всю жизнь запуганного существа не блеснула искра глубокого разума.

На берегу к нашим путникам присоединились трое беглых крестьян.

- К Хурзаду?

- К нему.

- Вместе пойдем.

- На каждом шагу слышу: Хурзад, Хурзад, - сказал Сахру Руслан. - Кто он такой?
- Сводный брат хорезмшахов. Рожден рабыней.
- Отчего ж это он встает против брата? И почему человек царского рода заодно с чернью?

(На тропе, ведущей к Хазараспу, к путникам присоединились семеро беглых крестьян. К Хурзаду!)

- Дело сложное. В Хорезме разброд. - Раньше было так: царь, служилая знать, трудовой народ. Был какой-то порядок. Теперь же на первое место лезут «дехкане» - богатые землевладельцы, подобные Манучехру. И чернь у них в кабале, и на старую знать им наплевать. Смекаешь? Ну, хорезмшаха они еще могут терпеть, - он пустое место, власти у него никакой, зависит от «дехкан» и потому для них удобен. Он - за них, потому что никому больше не нужен.

(У древнего кургана, заросшего верблюжьей колючкой, к путникам присоединились десять беглых крестьян. К Хурзаду!)

- Вот и получилось,- продолжал Сахр, - что царь и «дехкане» оказались на одной стороне, а служилая знать, люди военные во главе с Хурзадом - на другой. Хурзад умный человек, знает, на кого опереться. Самая крупная сила в Хорезме, которую можно выставить против «дехкан» - трудовой народ.

(У соленого озера, застывшего зеленой стеклянной глыбой в камышах, путников сердечно встретили сто мятежных крестьян. К Хурзаду!)

- Но суть, конечно, не только в расчетах. Хурзад - настоящий хорезмиец. Он любит нашу землю, нашу реку, наши обычаи, песни, предания. Не будь у него душевной привязанности ко всему этому, ты думаешь, сумел бы он так легко и свободно сойтись с чернью? Она-то ведь тоже не дура. Знает, кому верить, кому - нет. Тут, правда, другие слова уместнее - не «кому верить», а «с кем поладить». С кем заключить союз. Разумеешь? Народ не так уж глуп, чтоб верить царю, а Хурзад - второй царь в Хорезме. Но поладить с ним, пока их чаяния совпадают, народ трудовой, конечно может. Народу тоже надо на кого-то опереться. Ему нужен вождь.

- Ну, и выбрали бы вождем... кого-нибудь из своих, самого толкового.

- Э! Страшная вещь - вековая привычка. Не так-то легко отвергнуть династию, с которой народ был связан столько столетий. Связь между ними - особая. Как у всадника с конем. Хозяину нужен конь, конь привыкает к хозяину. Один ездит, другой норовит его скинуть, когда становится совсем неспособен. И все-таки они неразлучны, составляют как бы одно существо, И к тому же, Хурзад - воин. У него большой боевой опыт. А мужик - он и есть мужик. Ему землю пахать, а не мечом махать. Чтоб одолеть «дехкан», ему нужен воитель Хурзад.

- Н-да. Хитро.

- Хурзад... Тут, наверно, не обошлось без честолюбия. Или - тщеславия. Зачем человек домогается власти и почестей? Это недоступно моему пониманию. Человек я, как ты видишь, не очень уж глупый, всякое чувство могу вообразить, но властолюбие для меня - загадка темная. Зачем из кожи лезут? Так ли уж сладостна власть? Один египетский царь возвел для себя гробницу - самое высокое сооружение на земле. Видно, чтобы оставить потомкам свое громогласное имя. А имя-то как раз и не помнит толком никто. «Хеопс, Хеопс». А он был вовсе не Хеопс, а Кхуфу. Да и самого, - то есть, тело его засмоленное, - через каких-то три года восставший народ выкинул из гробницы. А ведь старался, сколько людей уничтожил, сколько сил человеческих потратил на свою пирамиду. А кому и зачем она нужна? Разве только как пример, что люди могут многое сделать. Они, конечно, все могут. Да силу их надо расходовать со смыслом. Сперва хорошее жилье для них построить, а потом уж упираться лбом в небо. Вот тебе и Хеопс...

Сахр засмеялся, и Руслан впервые уловил в его смехе столько яду.

- Или возьми, - продолжал Сахр, - удивительную судьбу шаха Ездегерда Третьего. Могучий

персидский властитель, разбитый «покорными богу», покинутый всеми, никому не нужный, скитался в одиночестве в окрестностях Мерва, где мы с тобою побывали, пока какой-то бродяга его не зарезал, прельстившись роскошной царской одеждой. Уж лучше б он честно и терпеливо, как все, возделывал землю, плоды выращивал, - и оставил после себя хоть несколько цветущих деревьев. Может, и пришла ему в голову эта добрая мысль перед смертью, да поздновато...

(У моста через канал, за которым с грозным беззвучным ревом вздымались гигантские стены Хазараспа, города Тысячи коней, путники влились в толпу из трехсот восставших крестьян. К Хурзаду!)

- Смотри, тут люди разной веры, - заметил Сахр. - Больше всех, конечно, маздеистов. Но есть и евреи, - судите по пейсам. Радуйся, Аарон! И христиане, - судите по крестам: несториане, якобиты. (Руслан вспомнил Карасевых «настырных» и «яко битых».)

- А «рьяные»?

- Ариане? Их здесь нет. Они где-то в Европе. Ни разу я не видал, чтоб люди так дружно, с таким единодушием и рвением шли на молебн. Потому что бог все у них брал - и ничего не давал взамен, кроме обещаний. Но теперь у них - новый бог. За тысячелетия законники придумали огромное множество разных богов. На все случаи жизни свои боги, божки, духи-покровители. Чихнут - подходящего бога поминают. Даже у воров был свой Гермес. Не было только бога Свободы. Нигде, никогда, ни у одного народа, ни у одного племени. Каково? Свобода - первый враг всякому вероучению, ибо суть любого учения направлена как раз на ее подавление.

Чей - то визг. Путники встревоженно обернулись. Фамарь, о которой все забыли, корчилась в ближних кустах под ражим молодцом.

Слава богу, он не успел ничего ей сделать. Руслан рывком поднял распаленного дурака за шиворот, Аарон пнул в пах. Удалец с воплем упал, подогнул колени к животу.

Сахр дернул Фамарь за ухо.

- Иди рядом с ним! - кивнул он на Руслана. - На шаг не отставай.

Раздумья Руслана после беседы с лекарем:

«Чего больше между людьми - того, что разделяет их, или того, что сближает? Что их разделяет? Язык. Повадки. Вера. Но ведь все это преодолимо!

Многие языки сходны, а непонятные можно быстро выучить. Повадки и даже вера меняются на глазах.

Что сближает людей?

То, что все они - люди. Люди, одинаковые в главном. Люди, и это важнее всего.

Почему же они живут в дикой вражде?

Ведь в дружбе им всем было бы легче. Его, Руслана, например, спасла и спасает только чья-то дружба.

Есть огромная несуразность в устройстве человеческой жизни. И состоит она, как убедился Руслан, в том, что одни - до отрыжки сытые, а другие - до икоты голодные.

Отсюда все беды на земле, вражда как внутри племен, так и между народами».

И он всей душой откликнулся на слова Хурзада, когда тот, встретив их, сказал, явно довольный:

- А, Сахр. Я знал, что рано или поздно ты придешь ко мне. Сейчас место каждого честного человека - здесь, среди них. - Он показал тяжелой рукой на огромное шумное скопище повстанцев.

Длиннющий, сутулый до того, что казался чуть ли не горбатым, с каменно-строгим лицом, в немыслимо заношенном кафтане, Хурзад повернулся к стене, под которой стоял на коленях какой-то человек в богатой одежде, со связанными за спиной руками.

Приглядевшись к этому румяному упитанному человечку, Руслан еле удержался, чтоб не дать ему пинка.

Обнаженная лысая голова. Безобразно вздернутый нос. Верхняя губа глубоко втянута под толстую нижнюю, выступающую далеко вперед. А подбородка, считай, вовсе нет. Было в лице, у него нечто крысиное, гнусное.

Бывает, попадетя человек с таким паскудным выражением на лице, что не успел он рта раскрыть, слова сказать, ничего плохого тебе еще не сделал, а уже хочется крепко съездить его по морде. Просто так. От омерзения.

- Как же мне поступить с тобою, Сабри? - Хурзад в задумчивости провел пальцем сверху вниз по точеному хищному носу. - Это мой главный подрядчик,- разъяснил он Сахру. - Человек он дельный, расторопный: и зодчих умелых сразу найдет, и лепщиков, и резчиков по дереву, и ваятелей. И все остальное, нужное. Но вороват, сукин сын! Приказал я ему пристроить к выступу южной башни, самой уязвимой, ниже верхних бойниц наружную стрелковую галерею из жженого кирпича. И что же? Он, подлец, соорудил из палок и глины какую-то - видишь? - зыбку голубятню, - один удар камнемета, и все рухнет. А кирпич тайком отвез в свою усадьбу, снял с работы людей - и пристроил к старому дому новый. А, Сабри? Или тесно тебе было в старом доме? Я видел его - добротный, просторный, На три таких семейства, как у тебя, места хватило бы вдоволь. Или я плохо плачу тебе за службу? У них беру последние монеты,- он кивнул на столпившихся вокруг крестьян, - тебе отдаю полными горстями. Задумался ты хоть раз, где мы живем, в какое время живем, что в эти дни затеем? - Хурзад безнадежно махнул рукой. - Если к хорошему делу примажется - негодяй, самое святое дело становится преступлением. Казнокрады несчастные! Когда перестанете грабить державу? Весь белый свет разорили. Ладно бы, если ты был дураком, но ведь умный, ученый!

- Прости, государь, - гадостно всхлипнул Сабри. - По глупости... Я и есть дурак, совершенный дурак.

- Дурак?! - взревел Хурзад.- Почему же ты сразу не предупредил нас об этом? Почему обманывал, прикидываясь умным?

- Бес попутал. Прости, государь. Жадность... Ненасытность...

- А, жадность, - кивнул Хурзад удовлетворенно. - Ну, я тебя сейчас насыщу.

Он что - то шепнул есаулу. Живо принесли из кузницы жаровню с пылающим углем, щипцы, бронзовый тигель. Хурзад покопался в сумке на поясе, вынул плоский слиток золота. Глаза у Сабри загорелись: может, Хурзад сменит гнев на милость, наградит, чтоб поощрить его честность?

Хурзад бросил слиток в раскаленный тигель. Через некоторое время золото, точно кусок желтого масла, подтаяло, осело, размякло - и растеклось сверкающей лужицей.

- Сейчас я тебя насыщу, - проворчал Хурзад зловеще. Он железной рукою стиснул снизу казнокраду челюсть - и Сабри, охнув, широко раскрыл рот. Хурзад взял щипцами тигель - и точным движением влил ему в рот расплавленное огненное золото.

- Все видели? - Хурзад отпихнул ногою судорожно бьющееся тело Сабри. - Не забывают...

«Н - да, - подумал остолбенелый Руслан. - С таким - не балуй. Никому спуска не даст».

- Ты еще не разучился ячменную водку пить? - обратился к Сахру грозный вождь. - Пойдем. Захвати всех своих.

- Беда мне с ними, - вздохнул он уже в шатре. - Вздорный народ. Расскажи Сахру, Бувайх, что случилось вчера, - кивнул Хурзад молодому человеку с тонким лицом, тонкими усами и тонкими руками.

- Э, тошно вспоминать. Нелепая история.

- Расскажи, расскажи! - загорелся Сахр. - Я любитель нелепых историй.

- Она, может быть, не столь уж нелепа, скорей, поучительна. Я работал с утра в новой башне. Внутри. Краски растер, развел на клею, делаю роспись по сырой штукатурке. Изображаю подвиги древнего витязя Рустама. (Руслан: «Должно быть, об этом витязе пела тогда Иаиль».) В башне прохладно, тихо, уютно. Вдруг вломился какой-то верзила, потный, усталый и злой, орет:

«Ишь, где укрылся! Хорошо ему тут. Ты бы пошел глину месить, таскать ее, бить». Я говорю:

«Зачем шумишь? Не надо». Люди на крик сбежались. Он - свое: «Отчего это мне не шуметь? Ты прохлаждаешься здесь, а я снаружи под солнцем жарюсь. Чем я хуже тебя?»

Я - ему:

«Я делаю, что умею. И ты делай, что умеешь».

Он вопит:

«Всякий олух, если только он не слепой, может кистью по стенке водить».

Кое- кто ему поддакивает:

«Верно, верно! Много ли мудрости в этой легкой мазне? Ты бы глину ворочал, узнал бы, что значит труд».

Тот горлопан, Гарпаг, хохочет. Этак нагло, знаешь, злорадно. С тупым превосходством. Доволен. Допек, мол, неженку. Я обозлился.

«Изволь,- говорю.- Вот тебе краски, вот тебе кисть. Работай. А я пойду глину бить».

Показал ему наброски углем на стене, растолковал, какую краску где положить.

- И неужто пошел глину бить? - улыбнулся Сахр недоверчиво.

- Пошел! А что? Экая невидаль. Я - самоучка. Прежде чем стать живописцем, тоже когда-то, еще мальчишкой, глину месил, таскал кирпичи. Любой человек в конце концов может научиться глину месить, если, конечно, он не безногий. Трудно, конечно, пришлось сначала. Давно отвык. Ну, ничего, приоровился, освоился - и разошелся, не удержишь. Трудился весь день не хуже других. Видишь, мозоли на ладонях.

- А как этот, Гарпаг?

- Смехота! Сам весь обляпался краской - и росписи испоганил, запачкал. И меня же ругает, а? Избили глупца его же приятели: чтоб не сбивал с толку людей, не отлынивал от работы и другим не мешал. Бог с ним. Вот штукатурка подсохла - это похуже. Стены пришлось опять затирать, роспись заново делать. Ладно. Я не жалею, что так получилось. Я его понимаю, конечно: мало радости - глину месить, таскать ее, бить. Но всякий, кому легко смотреть со стороны, как трудится мастер-искусник, пусть попробует сам справиться с его работой.

- Всяк осел тащи свою поклажу, - жестко заключил Хурзад. - Ты, Бувайх, заменишь Сабри, мир его праху. А Манучехр... - Он угрюмо взглянул на Шауша. - Манучехр, Манучехр... Надоело мне слышать о нем. Вот что, други! Войско у нас теперь достаточно сильное. Есть оружие. И есть боевой задор. Левобережных «дехан» мы всех растрясли. Не пора ли правый берег проведать?

- Ох, поясница... Ой! Не трогайте меня. Я болен.

- Лечение Сахра не пошло тебе на пользу. Потому что ты лжец, подлец и негодяй. Вот я тебя сразу вылечу. - Шауш встряхнул в руке увесистый батог. - Сорок плетей ты хотел мне дать ни за что, ни про что? Я щедрее - четыреста горячих всыплю. Эй, разденьте его, подвесьте за руки к балке навеса. Насмерть забью! - взревел Шауш, сатанея.

- Фамарь, детка, - жалостно ласкалась изможденная мать к своей молчаливой дочке. - Улыбнись же! Ну, улыбнись, родная. Что с тобою? Я тебя не узнаю. Испугали насмерть бедняжку, проклятые...

Фамарь с безжизненным темным лицом равнодушно отстранилась от растерявшейся матери

и неуклюже отошла к Руслану и Сахру.

- Одичала, - заплакала мать. - Совсем одичала. Ой, горе мне! Горе... - Она упала, расцарапала худые щеки черными ногтями, вцепилась в жидкие волосы, принялась их рвать грязными клочьями.

Фамарь не глядела на нее, она смотрела в пустоту.

- А такой была веселой, резвой девочкой, - вздохнула, жалеючи, высокая женщина рядом с Русланом.

...После разговора в шатре Хурзада несколько крестьян из Манучехровой общины во главе с Шаушем незаметно перебрались на правый берег. Кого-то они отыскиали в предвратных лачугах, с кем-то о чем-то договорились, и когда трехтысячный отряд Хурзада в лодках и на плотках из надутых бараньих шкур переправился ночью через Окуз, жена Шауша, предупрежденная мужем, взбудоражив женщин, открыла с ними изнутри крепостные ворота. Первым делом повстанцы перебили самых рьяных защитников Манучехра. Затем связали его самого. И уже потом расхватили и растащили по темным углам женщин, девушек, девочек. Не без того, конечно. Бунт есть бунт. Хурзад только посмеивался. Никто ничего не смог бы с ними сделать. И зачем? Больше двух третей этих мужчин, включая безусых юнцов, никогда не знало женской ласки. Откуда берутся скотоложцы? И никогда не узнало бы, если б не восстание. Разве не входило в задачу мятежных крестьян вернуть женщин родным общинам? Причем, и женщины не думали возражать, устали они киснуть взаперти под надзором бледного евнуха.

Теперь, наутро, настал час расправы над Манучехром.

- Сахр, - дергался он, подвешенный к балке. - Ты обещал... замолвить словечко... перед Хурзадом.

- Но ты же обманул Шауша?

- Ох! Бес попутал...

- Бедный бес,- улыбнулся Шауш ядовито. - всю свою грязь люди льют ему на голову. Вот сейчас ты прямиком отправишься к нему, с ним и разбирайтесь, кто кого попутал.

- Бей!!! - грянуло над толпою, и первыми взметнули яростный крик женщины.

- На тебе! - Шауш обрушил на голую поясицу Манучехра толстый батог.

- Пощади-и-и-те! - завыл Манучехр.

- А ты щадил нас? На тебе!...

- Что будем делать с крепостью? - сказал Хурзаду Шауш, когда Манучехр затих. - Срыть ее к черту, спалить! - Руслан заметил: он сделался еще более желтым и страшным, чем тогда, на реке, когда ударил багром строптивного стражника, плюхавшегося в мутных волнах.

- Это зачем же? - с укоризной ответил Хурзад. - Она будет нашей опорой на правобережье. С нее и начнем помаленьку продвигаться к столице. И потом, вам же всей общиной в ней жить. Теперь здесь все ваше - и жилье, и хранилища, и то, что в хранилищах, и поля, и каналы. Зачем губить свое добро?

- Верно,- нехотя согласился Шауш, отирая потный лоб. - Но столько злобы накопилось...

- Приберегли ее для других «дехан». Их еще много. Завтра всей оравой двинутся на нас.

Над башней замка трепетал на осеннем ветру алый стяг хурремитов.

- Да, умный человек, хоть и царь,- отозвался Руслан о Хурзаде после всех минувших событий.

- Хе! «Хоть и царь...» Я, если хочешь знать, не делю людей на знатных и простых, - нахмурился лекарь. - Я их делю на умных и дураков. Это лишь в сказках: если знатен, богат - непременно урод, трус и глупый злодей; если беден - то честен, красив, храбр и умен. В жизни сложнее. Я полагаю, дурак - в любой одежде и на любом месте дурак, умный - в любых обличьях умен. В битве при Фермопилах (произошла когда-то такая в далекой Элладе) гнусным

предателем, показавшим за деньги врагу дорогу, оказался бедный пастух Эфиальт, а героем, отдавшим жизнь за свободу, - царь Леонид.

Долгая осень. Конца ей не видно! Руслан соскучился по снегу. На Руси, наверно, вьюги давно бушуют. А здесь уже листва с деревьев осыпалась, уже гуляет в голых садах и полях студеный ветер, и пыль на дорогах, что еще недавно обжигала ноги, лежит холодным тяжелым пластом, не то, что снегу, дождей нет до сих пор.

И бывают ли здесь дожди?

Аарон и Шауш смеются: бывают, и еще какие!

И, наконец, однажды, когда Руслан торчал в дозоре на бугре далеко за крепостью, с непривычно хмурого неба хлынул холодный дождь. И все вокруг преобразилось. Промытый воздух сделался свежим, влажно-прозрачным. За рощей темных и редких голых деревьев, похожих на растрепанные веники, заблестели светлосерые, почти белые, полосы луж вперемежку с грязно-серой, с прозеленью не совсем усохших трав, мокрой землей. Вдали, выше черных верхушек деревьев, смутно синели сквозь мглу чудовищно-громоздкие стены замка. Пыль, конечно, сразу раскисла, обратилась в жидкую грязь. Середины, похоже, здесь не бывает - или пыль, или грязь, Уж такая это земля.

Потом и снег упал, но какой? Мокрый, слабый, чуть прикрыл непролазную грязь и - тут же растаял, исчез. Только слякоти прибавилось. Уже после наступили и морозы, и снегопады обильные, и северный ветер понес по стылой земле сухо шуршащую снежную пыль...

Всю зиму Руслан находился в бывшем замке Манучехра, она выдалась трудной, тревожной.

С едою и дровами, правда, дело обстояло неплохо: в кладовых и сараях, клетях и амбарах покойного «дехкана» всего было вдоволь. Всему войску хватит на три года. Жутко подумать, сколько всяческой снеди собирал и копил чертов князь для себя одного, для верных слуг своих и двух-трех любимых жен! Издох, собачий сын, и поделом ему...

Трудность в ином.

Чуть ли не каждый день к замку подступало войско хорезмшаха, состоявшее из разрозненных княжеских дружин. С крепостью, конечно, оно не могло ничего поделывать, - здесь собралось чуть ли не все крестьянство правобережного Хорезма. Попробуй сломить этих скорых на подъем, злых и отважных людей. Недаром писали персы: «Если девы Хорезма прекрасны, как пери, то мужчины свирепы, как дэвы, то есть, недобрые духи пустынь».

Да и между княжескими дружинами не наблюдалось согласия: подчас, прекратив осаду замка, они принимались колотить друг друга. Тогда-то воины Хурзада, всегда спокойного, невозмутимого, делали быструю вылазку - и били, и гнали всех прочь. Разгром довершали крестьяне, затаившиеся в окрестных усадьбах. Над башней продолжало развеваться красное знамя хурремитов.

Точно вражьи отряды, набегали опасные слухи.

Говорили: еврейская община тоже взбунтовалась и прочит на царский престол вельможу Булана, перешедшего в иудейскую веру. И будто у этого Булана - много хорошо вооруженных людей.

Говорили: тюркский вождь Инэль-Каган подступил со всей своей ордой к рубежам Хорезма, и неизвестно кого он поддержит. Хурзад отправил к нему послов с дарами.

Говорили: в Ургенче заметили лазутчиков с низовьев Волги, - пришли, наверно, разведать, нельзя ли, пользуясь смутой, навязать Хорезму хазарскую власть. Хурзад велел отыскать их, поймать, - и отправил с ними кагану письмо с просьбой прислать хоть небольшой конный отряд знаменитых степных стрелков из лука. Он послал гонцов за помощью и на Южный Урал, к угорским храбрым племенам.

Говорили... много еще чего говорили! Только о «покорных богу» не поступало никаких

вестей. О них забыли. И никто, кроме Хурзада и Сахра, не предполагал, что именно Кутейба ибн Муслим внесет страшную поправку во внутренние дела Хорезма. Какая страна за свою долгую жизнь не страдала от «белых гуннов»?

- Жаль, историк Зуфар погиб. Он дал бы тебе много хороших советов. Я всего-навсего лекарь. Что я понимаю в государственных делах? И все же скажу: не забывай о шахе Каваде, Маздаке и эфталитах, - постоянно твердил Хурзаду лекарь.

Не потому ли угрюмый и зоркий Хурзад, навсегда оторвавшийся от своей ленивой вздорной касты, спешил заручиться поддержкой далеких и близких соседей?

И не напрасно.

К исходу зимы повстанцам довелось услышать «о покорных богу».

Случилось это так.

...Зима здесь, не в пример лету и осени, оказалась на диво короткой. Да и не было ее, настоящей. Такая зима на Руси зовется поздней осенью. Не успел оглянуться Руслан - солнце пригрело, дороги подсохли, на обочинах зазеленела веселая юная травка.

- Потеплело, - молвил Хурзад. - Проветримся, а? Прогуляемся в сторону столицы.

Войско двинулось на север, громя по дороге усадьбы и замки богатых «дежкан».

Где - то на середине пути в Кят разъезды донесли: навстречу идет небольшой вражеский отряд.

- Твои русы, - сказал Руслану озабоченный Хурзад. - Немного их - триста-четыреста пик, но я их знаю! Самые стойкие люди в бою - хунну, готы и русы. Нас много, мы твоих русов, конечно, можем в пыль стереть, да жаль. Ни за что пропадут. На кой бес им Аскаджавар? - Он почесал короткую курчавую бороду, поглядел в светлые глаза Руслана упорным долгим взглядом своих чудовищно умных глаз, иссиня-черных, как ночное осеннее южное небо. Этот вдумчивый взгляд - придиричивый, но доброжелательный - не раз ловил на себе русич. Он понимал: любит его Хурзад. Но за что? Этого он не понимал. - Может, ты поговоришь с земляками?

- Поговорю. Сам хотел тебе про это сказать. Руслан выехал один вперед, под копытами глухо

стучала уже сухая глина.

- Карась! Э-эй, Кара-а-сь!

- А, Еруслан!

Карась отделился от русской дружины, поскакал навстречу. Не слезая с коней, горячо обнялись.

- Живой, друже?

- Живой... паче чаяния. В наш век уцелеть - и то уже счастье.

- Верно! Эк, чертяка! - Карась восхищенно оглядел Руслана. - Разнесло в плечах. Не узнать.

Богатырь.

- А ты, не в обиду сказать, квелый какой-то. Усталый. И весь красный. Будто тебя на ветру подвесили - и так держали всю зиму.

- Угадил! Разве что не подвешивали. А ветру здешнего я вдосталь хлебнул. Хочешь знать, где я был, откуда вернулся? Аж в самый Мерв гоняли! Обходным путем через Бухару. Натерпелся, брат, лиха! Вот что, родной. Надобно мне с Курзадом вашим побалакать.

- С каким это Курзадом?

- Разве не Курзад его зовут?

- Хурзад, осел ты этакий! Что значит - Сын солнца. И не смей так о нем говорить. А то двину между глаз, и разойдемся на веки вечные.

- Ну, ладно! Курзад, Хурзад - мне все одно. Дело у нас есть к нему,

- Какое?

- Знаешь, родной, сказали вчера: пойдете Кур... Хурзада громить. Мы призадумались. Зачем? Скажем, встали бы смерды у нас на Руси на Ратибора... а какие-то, бог весть, полоняники - курезмийцы, будь у нас таковые, взяли бы нас громить. Хорошо ли? Собачье дело. Свинячье. У них свои заботы. Раз уж народ бунтует, значит, есть из-за чего. Не след нам ему мешать. А помочь - можно бы! Мы, чай, тоже смерды. Натерпелись от бояр, от князей. Обмозговали мы все - и порешили переметнуться на вашу сторону. Возьмет нас к себе Кур... тьфу! - Хурзад, мы ему тайну одну откроем. Жуткая тайна, друже! И надо ее поскорее ему открыть, а то будет поздно...

Хурзад, конечно, с большим удовольствием взял русичей в свое войско.

А тайна и впрямь оказалась жуткой: «священный царь» Аскаджавар отослал Кутейбе ибн Муслиму золотые ключи от хорезмийских городов и пообещал ему дань в десять тысяч голов скота, если хорасанский наместник халифа поспешит к нему на помощь.

- Вот почему шах так настойчиво расспрашивал нас, кто показывает врагу дорогу, - сказал Руслану бледный лекарь. - Видно, давно, уже тогда, он подумывал об измене. А я, глупый, рассусоливал перед ним с умным видом... Эх, жизнь! Выпьем ячменной водки?

Весть о предательстве Аскаджавара перевернула, казалось, Хорезм кверху дном: не осталось колеблющихся. Откинув боязнь и сомнения, все, до последнего, крестьяне, ремесленный люд, городская чернь, примкнули к восставшим.

Шаху - изменнику написали: «Ты проклят народом Хорезма на веки вечные. Будешь наказан смертью. Будь в твоём замке Фир не три стены, а тридцать, одна выше другой, все равно они тебя не спасут».

Весна у «покорных богу» в Туране - время набегов, зимою они отсиживаются в Мерве.

Итак, весной 90-го года хиджры, то есть, переселения пророка из Мекки и Медину, или 712-го года так называемого Рождества Христова, Кутейба ибн Муслим, вняв слезной мольбе хорезмшаха Аскаджавара Чагана Афригида, сделал, дабы обмануть бдительность Хурзада, ложный выпад в сторону Согда, уже не раз им разграбленного, и внезапно двинулся с огромным войском по левому берегу Джейхуна (Окуза) на далекий Хорезм.

Открыт был Кутейба: гонцы из столицы принесли хорошую весть - недавно, подкупив Юлиана, западные войска халифа в трехдневном бою разгромили вестготов на Пиренейском полуострове. Широко размахнулась держава «покорных богу»! Весь мир скоро ею будет покорен...

Как всегда в походе, далеко впереди всего войска, выслав бойкие разьезды, спешил навстречу битвам головной отряд из легкой конницы. За ним продвигалась тяжелая конница в прочных панцирях, с длинными копьями, мечами, боевыми палицами, топорами. Ее прикрывали с двух сторон подвижные толпы пеших стрелков из лука. За тяжелой конницей взметала пыль тяжелая же пехота, сопровождаемая верблюдами с едой, водой и снаряжением. Далее размашисто вышагивали верблюды с осадными орудиями. И в конце следовал замыкающий отряд.

Ночью, прежде чем позволить воинам спать, бывалые рубаки - начальники десятков, сотен, тысяч, обезопасив стоянку рвами и валами, собирали вокруг себя усталых запыленных людей и принимались определять остроту зрения подчиненных.

- Видите ковш Большой Медведицы? Задирали голову:

- Видим, конечно, видим!

- Найдите среднюю звезду в ручке ковша.

- Нашли!

- Это звезда Мицар. Что видите рядом с нею?

- Ничего!

- Я вижу!

- Что видишь!

- Еще одну звезду, крохотную, тусклую.

- Кто увидел?

- Я, Сулейман.

- Вот тебе золотой! У тебя хорошие глаза. Это Суха, - запомните! - двойник звезды Мицар. Пусть радуется тот, кто способен ее различить, - он может стрелять без промаха.

Нет, Кутейба не застал Хурзада врасплох. Предупрежденный русичами, вождь повстанцев сумел вовремя вывести свои войска на левый берег, к Хазараспу.

К нему явился во главе своих скуластых узкоглазых всадников тюркский начальник Инэль-Каган.

- Людей у меня немного, - степной народ откочевал на летовья к Уралу, - наберется всего пять-шесть сотен. Зато - отменные стрелки.

Тоже небольшое, но крепкое войско привел Булан, ставленник иудейской общины.

Затем из Кердера - северной, приморской, части Хорезма, прискакал Хангири (или - Хуфарн; никто толком не ведал, как его зовут, и он не старался разъяснить).

Угры запоздали: все-таки Урал далеко, и, наверное, они боялись остаться без летних кочевий, занимаемых тюрками, - а хазары, пожалуй, и не думали спешить: своих забот у них было хоть отбавляй.

Хурзад собрал вождей у себя в шатре, спросил их сурово:

- Чего здесь ищете? Отвечайте, положи руку на сердце. Дело предстоит нелегкое, я должен точно знать, зачем вы здесь и почему.

Плосколицы Инэль-Каган:

- Нам, тюркам, неплохо жилось по соседству с вами и среди вас. Алтай, откуда вышли деды, забыт, - так уж получилось, что ваш край сделался нашей новой родиной. Жили мы, считай, мирно, не очень-то задирали друг друга. Правда? Попадет Хорезм под власть «покорных богу» - и нам, пастухам, беды не миновать. Вот почему я хочу тебе помочь, Хурзад.

Хуфарн (Хангири?) - без обиняков:

- Я привел тысячу храбрых воинов. Хочешь их получить, - обещай: победив «покорных богу», ты сделаешь меня священным царем вместо Аскаджавара. Будем с тобою вдвоем Хорезмом править.

- Священным царем? - удивился Хурзад. - Что проку тебе от этого? Чем хуже - править Кердером? Богатый округ. Много рыбы, скота. Священный царь - ничто, красивая кукла. На молебнах торчит с важным видом, жертвы приносит огню. Честь велика, конечно, но что в ней?

- Я так хочу. Будь это место незавидным, цеплялся бы Аскаджавар за него, как ты думаешь?

- Что ж, ладно. Будешь. А ты, Булан?

Булан, отпустивший пейсы на еврейский лад, видя соперника и в Хурзаде, и в Хуфарне (Хангири?), задумчиво погладил роскошную бороду - и ничего не сказал.

- Да, - вздохнул Хурзад. Он остановил доброжелательный взгляд на Инэль-Кагане, единственном, чей ответ пришелся ему по душе. - Всякий, конечно, ищет свое. Но будьте хоть в одном единодушны, уясните себе: чтобы ваши чаяния исполнились, нужно любой ценой победить Кутейбу. Победить - или умереть.

- Иного выхода нет, - согласился Инэль-Каган.

- Рано о смерти заводите речь, - съезжился Хангири (Хуфарн?).

Скоро бой.

В середине пестрого хорезмийского войска расположился Хурзад с наиболее стойкими,

убежденными хурремитами. На правом крыле разместились ударные отряды тюрков и русичей, на левом - Булан и Хуфарн (Хангири?).

- Что же, други! - спокойно и громко крикнул Хурзад. - Попытаем счастья под нашим красным знаменем?

Со стороны «покорных богу» долетел тягучий пронзительный голос священника, взывающего к аллаху.

...Как светлый божий день делится на утро, полдень и вечер, так и войско «покорных богу» состояло из трех главных частей, носящих образно-иносказательные названия:

«утро псового лая» - рассыпной строй легких всадников, призванных с шумом и гвалтом, подобно собачьей стае, кидаться первыми навстречу неприятелю и начинать сражение;

«день помощи» - основная линия конных и пеших войск, обязанных, выстроившись в шахматном порядке, наносить противнику самый сокрушительный удар;

«вечер потрясения», - в чью задачу входило довершать разгром.

Позади этих трех линий под зеленым, с звездой и полумесяцем, знаменем пророка находились отборные запасные силы, кои пускались в дело в редких, крайних случаях.

Левое крыло именовалось Аль-Аджари, правое - Аль-Мугаджери.

И схлестнулись у стен Хазараспа два свирепых воинства!

Страшно смотреть, как насмерть, в кровь, дерутся двое мужчин. Всей кожей чуешь, глядя на них: человек не должен убивать человека! Это противно его естеству. А когда десятки тысяч окровавленных мужчин взметают копья, мечи, топоры с единственной целью - убить?

И еще страшнее видеть, что если одни умирают ради своей вековой мечты - спокойно работать, жить по-человечески, то другие их убивают всего-навсего ради паскудной добычи.

Поначалу, как водится, противники обменялись тучами стрел, - всегда над полем битвы вьются сперва стаи оперенных стрел, и уже после, когда сражение окончено, появляются стаи стервятников. Перья для стрел люди берут у хищных птиц. И можно подумать, потому так уверенно птицы слетаются к полю битвы, что полагают себя вправе возместить отнятое у них. Но берут они плату не платьем убитых - первым делом они выклевывают глаза. Затем рвут внутренности, И потом переходят к мясу.

...В самый разгар сумасшедшей перестрелки Руслан похолодел, нащупав в колчане вместо оперенных, с железными наконечниками, тростинок пустоту.

- Тьфу! Будь ты неладна...

Кто-то дернул его за полу. Фамарь? Она взглянула в разъяренные глаза руса своими темными, будто незрячими, глазами и протянула снизу вверх два колчана, набитых свежими стрелами.

- Ох ты, девчонка! - Он наклонился с седла, подхватил ее под мышки, поцеловал в губы, опустил, махнул рукой назад:

- Укройся! Убьют...

Фамарь послушно укрылась.

Чудовищный вой дерущихся отдавался острым эхом в башнях Хазараспа, - будто это они, глинобитные исполины, сами взвыли от страха.

«Покорные богу», одержимые своим учением, сулившим светлое загробное воздаяние тому, кто падет за веру, очертя голову лезли на вражьи пики; вместе с тем их одолевал простой человеческий страх перед смертью. Получалась, как дым гашиша, безумная смесь страха с отвагой. Она доводила их до одури, и, ошалев, ярясь на себя и других за этот дикий страх, они сокрушали все на пути.

Казалось, поле перед Хазараспом превратилось в гигантскую кузницу. Стук. Скрежет. Звон. Дымом горнов взлетала пыль. Мехами служили хрипящие легкие воинов. Огнем - ярость.

Кувалды секир обрушивались на наковальни голов и плеч, с треском распадались щиты и панцири, раскаленную сталь мечей люди студили в крови, не в ледяной воде.

Тюрки - копьями, кривыми мечами, русичи - секирами остановили левое крыло войска Кутейбы и стали теснить его; зато на левом крыле хорезмийского войска, где с бестолковым визгом металась всадники Булана и Хуфарна (Хангири?), «покорные богу» почувствовали слабинку - и навалились всей мощью.

- Нас, пожалуй, не меньше, чем их, - сказал Хурзад другу Сахру. - Но ополчение есть ополчение! Кроме служилой знати, тюркских стрелков и русов, нет у меня хорошо обученных, опытных воинов. Зато у Кутейбы все войско состоит из закаленных, испытанных витязей. Мы, друг мой, раньше много кричали о нашей силе и храбрости, но когда настала пора их проявить - оказалось, что все ушло на крики...

Первым увел с поля битвы свой отряд несостоявшийся хорезмшах Булан. Вторым ударился в бег другой охотник до царской тиары - Хуфарн (Хангири?). Но убежать ему не удалось - какой-то «покорный богу» заарканил неудачника, стащил с коня.

Бедный Хуфарн (Хангири?). Будто в насмешку дали ему имя Доброе счастье. Так и не пришлось несчастному покрасоваться священной куклой на хорезмийском престоле: вместо того он сделался забавной тряпичной куклой в руках Кутейбы.

И кричал же Хуфарн(Хангири?), когда, окружив и разгромив разношерстное войско Хурзада, «покорные богу» обрекли на казнь четыре тысячи пленных:

- Я здесь случайно, оставьте меня!

- Умолкни, трус! - рявкнул Хурзад. И с возмущением Шаушу: - Что за люди? Жил, как червь, хоть бы умер, как человек. Где Сахр?

- Не знаю. Не видно нигде. Наверно, убит.

Кутейба предложил пленным хорезмийцам, если хотят остаться в живых, принять его веру. И все отказались, даже Хуфарн, только подумайте. Ни один из четырех тысяч не согласился покориться учению ненавистных пришельцев, что так подло вмешались в чужие дела.

- Сорвалась наша затея,- проворчал Шауш. - Выходит, зря старались?

Хурзад - невозмутимо:

- Почему зря? Ничто в мире не проходит бесследно - ни плохое, ни, тем паче, хорошее. То, что было в прошлом, непременно отзовется в будущем. Кто-нибудь да подхватит наше красное знамя.

- Мне от этого мало радости, - приуныл Шауш.

- Радости, конечно, не ахти как много, - согласился Хурзад. - Зато - утешение. Не зря сражались. Другие порадуются за нас.

Ему первому отрубили голову.

Перед тем, как меч отсек ее, он задумчиво поглядел на Шауша, дернул правой щекой снизу вверх и щелкнул языком, будто желая подмигнуть соратнику. Но не успел...

Второму, несмотря на его завывания (а может, именно из-за них), снесли голову злополучному Хуфарну, или Хангири? - никто до сих пор точно не знает, как, собственно, его звали.

Третьему - Шаушу...

Большой курган получился из четырех тысяч голов.

Шах - изменник впустил Кутейбу в Кят - и эра «покорных богу» в Хорезме началась с того, что они, во имя аллаха, разгромили академию, сожгли книги, зарезали ученых.

«Утро псового лая»...

За ним наступит «День помощи» - век дикого мракобесия, век засилия тупых, невежественных вероучителей.

Но грянет когда-нибудь и на них самих «Вечер потрясения».

Тюркам и русским удалось, прорубившись сквозь гущу «покорных богу», вырваться из окружения. Они отступили далеко на северо-запад, к озеру Хиз-Тангизи. Здесь, с тревогой выжидая исхода битвы, уже приютилась снявшаяся с обжитых мест иудейская община. Сюда же приплелся и незадачливый Булан.

- Мы уходим в Итиль, - объявил Сахр, спасенному русичами, бледный Пинхас.

- Ступайте, - кивнул равнодушно лекарь. - И ты с нами, Аарон?

- Зачем? Здесь могилы моих родителей. Здесь могила моей сестры Иаили. Я остаюсь. А вы, - Пинхасу, - бегите. Если вы можете бросить в беде народ, чей ели хлеб, чью воду пили, то все равно, где б ни укрылись, всюду будете чужими.

- Несчастный! - вскричал Пинхас. - Тебя завтра убьют «покорные богу».

- Я их раньше сроду не видел, ничего плохого им не сделал.

- Станут они спрашивать, сделал, не сделал. Что плохого им сделал Хурзад?

- Будь что будет. Моя родина - здесь. Я сперва хорезмиец, а потом уж еврей. И, как один из многих хорезмийцев, я честно разделю их участь.

- Предатель!

- Знаешь... иди-ка подальше. А то нос оторву на прощание.

- Тьфу!

- А ты, дорогой? - Сахр просительно глянул в печальные Руслановы очи.

- Пойду домой. Теперь я иной Руслан. Неужто такой не пригожусь на Руси?

- Не всякий умный да знающий нужен на родине, - вздохнул Сахр. - Дураки иному правителю куда дороже! Смирные.

- Не одни на Руси князья да бояре.

- А она-то нужна тебе?

- Теперь еще нужнее, чем раньше была.

- Дойдешь ли? - Сахр с опаской покосился на Пинхаса.

- Ну, - вмешался Карась в разговор, - теперь уж нас голыми руками не возьмешь! Четыре сотни бывалых, битых мужей, на конях, с мечами да топорами - попробуй, тронь. Пробьемся на Русь.

Сахр - с жалкой улыбкой:

- Верю, пробьетесь. Во всяком случае, есть надежда. Прощай, друг Рустам! - И этот насмешник, чудака, любитель ячменной водки, вдруг прослезился, как женщина... - Учитель Кун Цзы говорил: «Три пути ведут к знанию: путь размышления - самый благородный, путь подражания - самый легкий и путь опыта - самый горький». Ты уже проделал третий путь. Ступай теперь первым. О втором - забудь. Приходи к нам. Ты видел нас. Мы видели тебя. Немало еще будет меж нами препон, много умников разных попытаются нас разъединить, отвратить друг от друга враждой, ложной проповедью. Может, даже, по их злой воле, придется столкнуться с оружием в руках. Но это все - накипь. По-человечески мы неразделимы, и чем, дальше, тем будем друг другу нужнее. Вот,- он бережно переложил в Русланову суму тугие свитки писаний, - труды врачей Гиппократ, Галена... Здесь Демокрит, Эпикур, Аристотель... Больше я не могу ничего тебе дать.

- А это - от меня. - Аарон вручил Руслану голубой изогнутый меч. - В бою подобрал. Редкая вещь. Прощай. Не забывай - меня... и ее...

- Возьми и мой дар. - Инэль-Каган повесил на плечо русича дорогой, в табун лошадей, степной дальнобойный лук. - Ты храбрый юноша. Прощай.

Услышав сбоку чье-то робкое сопение, Сахр оглянулся, увидел Фамарь, сказал Руслану серьезно:

- Слушай, может, ее увезешь?

- Не бери ее! Меня увези. Я молода, я красива. Ты обещал... ты сказал... Ах ты, тварь! - Свежевыбритая Фуа набросилась на Фамарь и принялась ее избивать тяжелыми, как гири, кулаками.

Но у Пинхаса кулак оказался потяжелее, - красный от стыда и гнева, он одним ударом опрокинул буйную супругу наземь.

Руслан и не взглянул на толстуху. Ни злобы, ни презрения он уже не испытывал к ней. Ни даже жалости. Только омерзение. Из-за нее погибла Иаиль. Но разве сама нелепая Фуа не жертва бездушной темной общины, где женщина шагу не может ступить по своему усмотрению, где ее каждое движение и каждое желание скованы цепью жестких предписаний? Одуреешь. Бог с нею.

Но Фамарь?...

- Куда ее мне? - смутился Руслан.- Найду уж себе на Руси... свою, белую.

- Ладно, дочка, - погладил ее Сахр по голове. - Будем пока вместе бедствовать. Сведем счеты с шахом-предателем, утрясутся дела в Хорезме, - выдам замуж тебя за хорошего человека.

Руслан поглядел ей в мокрые от слез глаза, - и только теперь, на прощание, ее душа открылась ему!

Сколько бы лет ни минуло - она его не забудет. Она вся наполнена им - на всю жизнь. Она может возненавидеть его, за то что он отказался от нее, может его поносить перед другими мужчинами, женщинами, смеяться над ним - был, мол, такой неуклюжий и рыжий, - но сердце будет всю жизнь томиться по Руслану. Даже выйдя замуж и обзаведясь детьми, она будет, особенно оставаясь наедине с собою, и даже лежа рядом с мужем, вздыхать о Руслане ночами, обливаясь горькими незримыми слезами. Всю жизнь. Он станет ее неизлечимой болезнью.

Что ж? Пусть. Тут ничего не поделаешь. У него своя болезнь на всю жизнь - прекрасная еврейка Иаиль.

Но превыше всего - родная Русь...

У Каспия беглецов настигла весть: едва «покорные богу», получив свои десять тысяч голов скота, убралась в Мерв, Хорезм вновь зашумел и восстал. Шах-предатель обезглавлен. Кутейбе пришлось поспешно вернуться. На престол возведен сын изменника Аскаджамук.

- Ну, и этому скоро шею свернут,- сказал уверенно Карась.- Такой народ не сломить. Все равно добьется своего.

...За тысячи верст зовет мать Русь своих детей, скитающихся по чужим дорогам,- и заблудших, сбившихся с пути, и тех, кто с чистым сердцем рвется к ней; зовет, не обещая дарового хлеба, скатертей-самобранок, печей, по щучьему велению бегущих в лес по дрова, безбедной праздной жизни под шапкой-невидимкой; зовет к трудам и новым заботам, и может - к новым невздам, к драке за добрую жизнь, о которой говорится в сказках, к выполнению сыновьего долга; зовет жалеючи их, горемычных:

- Чадо мое, Печаль!...